ДОВЛАТОВ

Валерий Попов

ЖЗЛ — МАЛАЯ СЕРИЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Литературная слава Сергея Довлатова имеет недлинную историю: много лет он не мог пробиться к читателю со своими смешными и грустными произведениями, нарушающими все законы соцреализма. Выход в России первых довлатовских книг совпал с безвременной смертью их автора в далеком Нью-Йорке.

Сегодня его творчество не только завоевало любовь миллионов читателей, но и привлекает внимание ученых-литературоведов, ценящих в нем отточенный стиль, лаконичность, глубину осмысления жизни при внешней простоте.

Первая биография Довлатова в серии "ЖЗЛ" написана его давним знакомым, известным петербургским писателем Валерием Поповым.

Соединяя личные впечатления с воспоминаниями родных и друзей Довлатова, он правдиво воссоздает непростой жизненный путь своего героя, историю создания его произведений, его отношения с современниками, многие из которых, изменившись до неузнаваемости, стали персонажами его книг.

- Довлатов
  - От редакции
  - Введение
  - Глава первая. Семья и школа
  - Глава вторая. Недурная компания
  - Глава третья. Первый брак
  - Глава четвертая «Писать, чтобы помнила вохра…»
  - Глава пятая. Прощай, солдатская любовь!
  - Глава шестая. Блистательные шестидесятые
  - Глава седьмая. Тайны «ремесла»
  - Глава восьмая. Почтовый роман
  - Глава девятая. Навязчивая реклама
  - Глава десятая. Проба весла
  - Глава одиннадцатая. Грустные семидесятые
  - Глава двенадцатая. Золотое клеймо неудачи
  - Глава тринадцатая. «Любимая, я в Пушкинских горах…»
  - Глава четырнадцатая. Подъемная сила
  - Глава пятнадцатая. Совсем другие берега
  - Глава шестнадцатая. Чеканный профиль командора
  - Глава семнадцатая. Новый компромисс
  - Глава восемнадцатая. Довлатов в «Эрмитаже»
  - Глава девятнадцатая «Смертью героя…»

- Эпилог. После смерти начинается история
- Основные даты жизни и творчества С.Д.Довлатова
- Краткая библиография

Довлатов

Истинное мужество состоит в том, чтобы любить жизнь, зная о ней всю правду.

Сергей Довлатов

От редакции

Книга, которую вы держите в руках, изначально была другой. В нее входило значительно большее количество фрагментов из сочинений и писем Сергея Довлатова, полнее раскрывающих особенности его личности и творчества. Кроме того, книгу, согласно канонам серии «Жизнь замечательных людей», должны были украсить фотографии, запечатлевшие весь жизненный путь героя, его родных, друзей и недругов.

Жизнь Довлатова была богата трагикомическими ситуациями, в полной мере отраженными на страницах его книг. Неудивительно, что выход книги о нем в серии «ЖЗЛ» тоже обернулся своего рода трагикомедией. Признаемся, что, заключая договор на биографию Довлатова с известным петербургским прозаиком Валерием Поповым, мы не были готовы к такому повороту событий. Однако уже на стадии работы над рукописью до нас дошли слухи о повышенном и достаточно ревнивом внимании к будущей книге со стороны знатоков и толкователей довлатовского наследия. Обычное дело для России — писатель, при жизни недополучивший внимания и добрых слов со стороны коллег, критиков, а порой и близких, посмертно становится «иконой», которую не позволяется не только критиковать, но и объективно исследовать.

Довлатов, изображенный Поповым — не икона. Это живой человек, не лишенный недостатков, совершающий ошибки, но неизменно вызывающий сочувствие и глубокую симпатию автора. Право на эти чувства Валерию Попову дает давняя дружба с героем его книги, прерванная на много лет вынужденной эмиграцией Довлатова, но оставившая неизменной их взаимный интерес друг к другу. Писательский дар Довлатова и Попова рождался, можно сказать, на соседних улицах «оттепельного» Ленинграда, среди бурного кипения других молодых талантов — Бродского и Кушнера, Горбовского и Рейна, Битова и Голявкина. Это «избирательное сродство» придает особую ценность как житейским наблюдениям автора, так и его мыслям о творчестве Довлатова и литературе вообще.

Однако эти аргументы не остановили упомянутых ревнителей, которые еще до знакомства с книгой Попова почему-то предположили, что она порочит образ Довлатова. Эту мысль они сумели внушить наследникам покойного писателя, которые через своего адвоката обратились к издательству «Молодая гвардия» с грозным письмом. Там со ссылкой на статьи Конституции РФ и Гражданского кодекса говорилось, что издание

книги о Довлатове в задуманном автором и издательством виде будет «грубым нарушением норм авторского права, а также охраняемых законом нематериальных благ». Прежде всего это касалось воспроизведения любых фотографий, на которых запечатлен Довлатов — согласно новым положениям российского законодательства, для любого правомерного использования фотографии нужно согласие не только ее автора, но и всех (!) изображенных на ней лиц. Запрет касался также использования многих писем Довлатова, в том числе его переписки с Игорем Ефимовым — ее публикация в свое время была признана незаконной решением суда. В случае несоблюдения этих требований с «Молодой гвардии» угрожали взыскать аж целых пять миллионов рублей.

В адвокатской претензии ничего не говорится о первопричине недовольства наследников Довлатова готовящейся книгой Попова. Этой причиной не может быть нарушение авторских прав — ведь издательство сразу выразило желание оплатить все запрошенные правообладателями суммы и учесть все их поправки, для чего выслало рукопись вдове писателя. Автор уже вносил в текст поправки по замечаниям Елены Довлатовой, но эту конструктивную работу внезапно прервал уже упомянутый категорический запрет. Повод был высказан наследниками в письме в издательство: «В своей книге Попов, странным образом перетолковывая материалы, искажает, а зачастую и порочит личность Довлатова. Это уже диффамация». Диффамация, согласно словарю русского языка — «оглашение в печати сведений, позорящих кого-либо». Быть может, диффамацией сочтены те факты из жизни писателя, которые «неудобны» для его родственников — но без которых невозможно понимание его личности и творчества? Или те письма, где Довлатов откровенно рассказывает, какой тяжелой ценой дался ему успех, где он кается в своих недостатках? Но письма эти давно уже всеми прочитаны, причем — с пониманием и уважением, как и другие строки Довлатова, без которых его образ не полон. Да и довлатовская семья в вопросе запрета писем не единодушна. К примеру, сводная сестра писателя Оксана Мечик-Бланк опубликовала письма Довлатова из армии с согласия его отца Доната Мечика, заявившего: «Я абсолютно убежден, что Сережа был сторонником открытости писем».

А в книге Валерия Попова абсолютно никакой диффамации нет. Любой, кто прочтет ее, увидит, что Попов ни в коем случае не позорит своего героя — напротив, восхищается его талантом, масштабом его личности, с азартом исследует путь Довлатова к совершенству, его гениальную способность перековывать неудачи

жизни в шедевры литературы — и вовлекает в это исследование читателя, выстраивая книгу чрезвычайно добрую и увлекательную.

Любому непредвзятому читателю ясно, что ничего, бросающего тень на образ Довлатова, книга Попова не содержит. Поэтому тем, кто недоволен ее выходом в свет, пришлось обвинять не только автора, но и издательство в других грехах — к примеру, в том, что в той же серии «Жизнь замечательных людей» недавно вышла книга о Сталине. «Молодая гвардия» уже не раз сталкивалась с упреками, что ее самая знаменитая серия «испортилась», включив в себя биографии Нерона и Чингисхана, Мазепы и Калигулы. Однако «ЖЗЛ» — не доска почета. Критерием включения в нее со времен основателей серии Ф.Павленкова и М.Горького является не моральная безупречность, а в первую очередь масштаб личности персонажа, его значение для отечественной и всемирной истории, науки и культуры. Старейшая в России книжная серия, отмечающая в текущем году свое 120-летие, вправе выбирать своих героев без чьей-либо подсказки — а также свободно судить о правомерности претензий родственников этих героев на монополизацию их образа и наследия.

Нетрудно понять, что доведение до логического финала (точнее сказать, до абсурда) права наследников запрещать любое неугодное им исследование жизни и творчества их знаменитых родственников поставит крест не только на создании объективных биографий, но и на изучении новейшей российской истории и культуры вообще. В этом случае опустевшая ниша качественной научно-биографической литературы неизбежно заполнится бульварными «толкователями» жизни великих людей — им-то, поднаторевшим в обходе всяческих запретов, не страшны никакие авторские права. Это, в свою очередь, приведет к дальнейшей деградации нашего общества и приблизит тот час, когда тот же Довлатов, вкупе с другими замечательными писателями XX века, перестанет вызывать сколько-нибудь широкий интерес у поглощенных телесериалами и «большими стирками» россиян.

Конечно, мы не думаем, что защитники авторских прав своих знаменитых мужей, отцов или дедов преследуют такую цель — или вообще думают о ней. По всей вероятности, ими двигает вполне понятное стремление защитить свои правовые и имущественные интересы (на которые, впрочем, «Молодая гвардия» и не думала покушаться). Уважая права наследников писателя, мы приняли решение — впервые за 120 лет выпустить книгу из серии «ЖЗЛ» без всяких иллюстраций, даже без

фотографии героя на переплете. Мы также исключили из книги многие письма Довлатова, в том числе его «запрещенную» переписку с И.Ефимовым. Надеемся, что даже с этими изъятиями книга В. Попова сделает то, ради чего она, собственно, и создавалась — расскажет правдивую историю жизни замечательного писателя, внушит читателям желание лучше узнать биографию Довлатова и, конечно, читать и перечитывать его произведения.

Может быть, все изложенное здесь кто-то сочтет ненужными подробностями. Но читатели наверняка заинтересуются как «новшествами» в оформлении биографии Довлатова, так и возникшими не по вине издательства пробелами в освещении его жизни. Мы считаем, что поклонники серии «ЖЗЛ», пронесшие верность ей через все экономические и идеологические потрясения недавних лет, могут и должны знать, почему это случилось.

Введение

Над названием «Введение» в начале одной книги (помните, какой?) Довлатов уже смеялся. Он смеялся много над чем. И это было правильно. Когда он взялся за перо, многое в нашей жизни могло служить поводом для смеха. Например — очередь за мебельным гарнитуром сроком на двадцать лет. И люди мечтали записаться — более того, занимали очередь с вечера для того, чтобы в жестокой борьбе урвать шанс стать через двадцать лет владельцем вожделенного гарнитура. Для людей пожилых — а таких в очереди было немало — это была борьба уже не за выживание, а почти за бессмертие. Во всяком случае, этим они как бы гарантировали себе двадцать лет активной жизни. Ведь человеческое сознание не может себе представить, что гарнитур, которому отдано столько времени и сил, так и не удастся увидеть. Образ коммунизма, твердо обещанного, но потом как-то рассосавшегося, уже перестал нас возбуждать — может, поэтому веру хотя бы в гарнитур отнимать у людей было бесчеловечно. Вера необходима, страсти должны быть — это понимали власти и жизнь такую поддерживали, как могли.

Помню, как однажды в Крыму всех нас выгнали из гостиницы, с криками: «Землетрясение, землетрясение!» Мы зажгли фары наших машин, врубили музыку и плясали всю ночь. Утром прошел слух, что несостоявшееся землетрясение выявило огромное количество недостатков в работе местных органов, оказавшихся в ту ночь как-то не на высоте, а также вскрыло полную недееспособность армии и флота. Да и само землетрясение оказалось фальшивым — просто кто-то, напившись, упал рядом с чутким сейсмографом.

Примерно в таком же «порядке» была и официальная наша литература. Помню веселое чтение на пляже романа многократного нашего лауреата. Сюжет такой: секретарь обкома из Сибири, оказавшись с неохотой в Италии (партия послала), встречает на приеме в посольстве итальянскую герцогиню-красавицу-миллиардершу, которая, тут же, потеряв голову, бросая многочисленные дворцы и замки, устремляется за ним в далекую Сибирь, в отчаянии предлагая себя и свои капиталы. После долгой, страстной ее мольбы он хмуро соглашается взять лишь капиталы — да и то, ясное дело, не для себя, а для подъема лесного хозяйства области. «Советская литература — мать гротеска», — помнится, я написал такую статью.

Что и говорить — наша жизнь и литература уже настойчиво требовали такого писателя, как Довлатов. Всё для него было уже

готово. Ну как тут не писать? Ужасно смешно, смешно до ужаса: золотое время для новой литературы. И самое поразительное — его произведения, осужденные начальниками всех рангов, оказались чуть спустя самым точным, если не единственным портретом того времени. Подобно тому, как из эпохи «великих сдвигов» двадцатых — тридцатых любимой книгой масс оказались «Двенадцать стульев», отодвинувшие в сторону все орденоносные тома. Гениально об этом сказал Марсель Пруст: «В веках от литературы остается лишь гротеск». «Золотой осел», «Дон Кихот», Швейк, Остап Бендер. И Довлатов с «нетипичными» его героями — в этом же ряду. Типичные как-то потускнели, забылись — как и обычная наша жизнь. А он — нет. Другое дело, что при такой жизни и его, лучшего писателя своего поколения, тоже «поставили в очередь» на двадцать лет.

Вот сиди теперь и думай: как же так? Жила целая страна — СССР. Сколько было бурных событий, особенно в последние годы, в которых участвовали миллионы людей… Перестройка. Еще, кажется, гласность. Ускорение было? Вроде бы да. Талоны были? Да… Но — до ускорения или в результате его? Были винные очереди. В каком году? Что-то уже и не вспомнить, как стоял в этих очередях… А зачем? Неужто так уж хотелось выпить? Да вроде бы нет. Так чего же стоял? Странное дело: ничего уже не помнишь, не ощущаешь… Что осталось-то в голове? Ответ — книги Довлатова! Лучше всего сохранившееся свидетельство нашей эпохи. Самое точное — и самое интересное. И если хотим вспомнить прожитую нами жизнь — берем его книги. Лучше ничего нет. Все остальное стремительно тает, как дым. Он — остается. Как же это он сделал так, вопреки известной догме, что побеждают всегда сильные? Ан нет! Побеждают такие, как мы! Довлатов сделал нас поколением.

Так как же было — ежели по порядку?

Глава первая. Семья и школа

Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе.

— Вот невезуха! — воскликнем мы. — Так далеко от культурных центров, да еще в начале войны!

Впрочем, сам бутуз вряд ли считал свой день рождения неудачным: родиться всегда хорошо. Наверно, и у родителей радость рождения сына не была особенно омрачена: все пока еще считали начавшуюся войну легкой и были уверены в скорой победе.

Из Уфы в Ленинград малыша привезли в 1944 году, когда кончилась блокада и у его отца-режиссера снова появилась возможность работы в ленинградских театрах. Так что родную Уфу Сережа вряд ли мог помнить. Но не такой Довлатов был человек, чтобы оставить хоть какой-то кусок своей жизни — даже самой ранней, — без легенды. И он выдает версию, будто его заметил еще в детской коляске и фактически благословил на писательский подвиг не кто иной, как великий Андрей Платонов, который как раз в эти годы был в Уфе — и выбрал, естественно, для благословения именно Сережу. А кого же еще? По всем данным, никаких других писателей в колясках в те годы в Уфе не находилось. И все это украшено неповторимой довлатовской дурашливой иронией… Да, рано начал наш герой!

Итак, в 1944 году он уже в Ленинграде.

Примерно тогда и я сюда вернулся и помню город той поры. Поначалу он имел даже какой-то сельский вид. Росли лопухи, бегали куры. Ходили простоволосые босые женщины. Но старый город стоял — и действовал на нас. После моей низкоэтажной Казани (и довлатовской Уфы) огромные каменные дома оставляли ощущение загадочных замков. Их архитектура — в основном эклектика, как мы понимаем сейчас, — с башнями, бойницами, восточными окнами будила фантазию, веяла ощущением тайны, в которой ты оказался. Мы чувствовали себя не на пустом месте — а в продолжении чего-то таинственного, начавшегося давно. Укутанные мамой, мы шли в гости и вдруг завороженно застывали перед каким-нибудь тускло светящимся витражом на лестнице: волшебные цветы, листья, таинственные эмблемы, непонятно откуда струящийся розовый свет. Мы не могли тогда это пересказать — но чувствовали, запоминали. Разрушенность, «забытость» Ленинграда после войны (старые жильцы сгинули, кто в блокаде, кто в ссылке, и никто уже не помнил, что значит этот витраж) — рождали в нас ощущение прекрасного, но забытого мира, который должны вспомнить и

воссоздать именно мы.

Помню, как еще в дошкольное лето мы ползали у руин Спаса на Крови и из кусков майолики, валявшихся в пыли, с упоением складывали свои узоры. Оказаться в раннем детстве в Ленинграде словно в затерянном таинственном городе — большая удача для будущего писателя. Не случайно именно из этих детей, появившихся здесь тогда, выросло целое поколение замечательных фантазеров. Началась тогда и работа по превращению пухлого и робкого мальчика Сережи Мечика в Сергея Довлатова, о котором все стали говорить, а потом и с восторгом читать его книги. Хотя никто, понятно, сначала не предполагал этого — мало ли было тогда в школах таких Сереж? Предполагал ли он?

Сам Довлатов преподнес свое детство так:

«Толстый застенчивый мальчик. Бедность. Мать самокритично бросила театр и работает корректором. Школа».

Его лучший школьный друг Дмитрий Дмитриев вспоминал:

«Помню, первого сентября делали перекличку. Каждый ученик должен был встать, назвать свою фамилию и имя, а так же национальность. И вдруг встает пухленький темненький мальчик и тихо говорит: “Сережа Мечик, еврей”. Конечно, по классу прошел смешок. Во-первых, слово “еврей” традиционно вызывало такую реакцию в школе. Во-вторых, фамилия у Сережи была смешная и очень забавно сочеталась с его кругленькой фигуркой: “Мечик” звучит как “мячик”».

«Толстый застенчивый мальчик». И тут Довлатов сразу за душу берет! И я — вдруг с волнением вспоминаю, — был такой же! Но, наверное, это неплохо. Гораздо лучше было быть таким, чем носиться в нищей, хулиганской толпе будущих урок, заполнявших тогда все дворы. «Толстый» — это значит все-таки немножко подкормленный мамой в отличие от прорвы послевоенных сирот, детдомовцев и детей забубенных родителей, махнувших на всё рукой. «Застенчивый», как я вспоминаю, значило в те времена — не впаянный в дворовую, уличную, полу-блатную шпану, которая диктовала тогда свои порядки и в школе и потом дружно ушла в тюрьму, уводя с собой тех, кто по слабоволию тянулся за ней еще в дворовых играх. Рассказ о первом появлении Довлатова в школе друг заканчивает так:

«…Из-за шума в классе учительница никак не могла расслышать Сережу, так что ему пришлось снова и снова повторять свою злочастную фамилию (которую он потом вовремя и удачно сменил). Ребята в классе, разумеется, развеселились еще пуще — а бедный Сережа совсем смутился».

Такое начало школьной жизни было и у меня — с отчаянием

и я вспоминаю те жестокие годы, когда в школе командовали хлопцы с фиксами, и жизнь «застенчивых мальчиков» состояла из ужаса и унижений. Начало очень горестное для бедного школьника — и тоже горестное, но очень плодотворное для будущего писателя. Сразу оказаться в центре обидной и смешной истории для будущего писателя — увы, самое то… О будущем писательстве он даже еще и не догадывается, а лишь мучается: почему все шишки на него? Потому! Будущие писатели уже с юных лет ловят на голову эти «шишки», будущие сюжеты. Судьба словно нарочно готовит им испытания. Толстой рано осиротел. На Гоголя его одноклассники смотрели с изумлением, и прозвище его было — Карла. Такая вот несчастливо-счастливая судьба!

Скромно вспомню и свое первое появление в первом классе. Учительница всем раздала серенькие, как предстоящая жизнь, листочки в клетку, и приказала:

— Нарисуйте каждый что хотите.

— А что, что? — послышались голоса.

— Что хотите!

Такой щедрый был подарок по случаю первого дня. Несомненно, то был, как бы сейчас сказали, тест: кто как себя покажет, так потом с ним и обращаться… Я показал себя хуже… нет — слабее всех! Когда дети подавали листы с уверенно изображенными зайцами и мишками (наверняка уже не раз отработанными с воспитателем в детском саду) я, почему-то в детский сад не ходивший, робко, почти не нажимая карандашом, изобразил едва различимую уточку — поместившуюся с клювом, ногами и хвостом… в одну клеточку тетради. Почти не различить! Учительница удивленно подняла бровь, потом презрительно усмехнулась. Мой статус определился сразу и надолго… Зато я это помню и могу об этом написать — в отличие от других, кто спокойно изобразил что-то общепринятое, всем понятное, и давно уже забыл. А я помню! Вот так.

Вспоминает соседка Довлатова:

«Сережа не был уличным мальчиком. Он никогда не гулял один, всегда с мамой или с бабушкой. Он вырос в жестких условиях женского воспитания… Не то чтобы он был скованным. Он был просто хорошо воспитанный мальчик. Я не помню чтобы Нора Сергеевна проявляла какую-то особую строгость, но в детстве Сережа слушался ее беспрекословно».

Домашнее воспитание, конечно же, самое лучшее — тут видят тебя и поддерживают лучшее, что в тебе есть. Такое детство — да и вся жизнь в этом ключе, — могло бы быть идеальным для будущего скрипача или математика, но не для писателя:

«Черные дворы. Зарождающаяся тяга к плебсу».

Без этого, видимо, будущему писателю никак… Но тяга к плебсу не означает слияние с ним. Даже саму фразу о тяге к плебсу мог придумать и сказать только несомненный аристократ, аристократ по происхождению и домашнему воспитанию. Настоящий плебс и слова такого не знает, для него окружение такого рода — «свои парни в доску», самое то! А Довлатов к плебсу не принадлежал никогда. Чтобы выговорить слово «плебс», надо стоять уже намного его выше… Но «рейды» в него делать приходится: будущему писателю нужна «вся жизнь», а не только домашняя. Но вначале тебя, вышедшего из домашней оранжереи, принимают в штыки или, хуже того, не замечают, не видят в упор — красуются совсем другие.

…«Почему я всегда один? Что же — так пройдет время, и никто не увидит меня, и уж тем более не поинтересуется — какой я?» Это, наверное, и есть первый эмоциональный толчок к писательству: быть хоть как-то замеченным, оставить свой след.

Вспоминаю, как в поисках зрителей (то бишь читателей) я однажды вышел в школьный двор и с тоской увидел спаянную своим уставом хулиганскую школьную «шоблу»: они заворачивали за угол школы расслабиться после уроков и покурить. «Иди» — «Но зачем?» — «Надо!» Через силу подошел, встреченный насмешками, развязно попросил закурить — и в результате от искры сгорел рукав моего нового ватного, перешитого бабушкой из отцовского, синего пальто! И тот горящий рукав — один из первых пережитых мной сюжетов. Не сгоришь — не напишешь!

«Я умнее и больше читал. Я знаю, как угодить взрослым…»

Это очень важный момент — на общем фоне вдруг увидеть себя, оценить, осознать: а ведь меня преследуют не потому, что я хуже, а наоборот — потому что лучше. Теперь надо, чтобы и учителя заметили это и оценили — но сделать это надо плавно, не настораживая злобный класс. Помню тот осторожный и тщательный подъем по ступеням самознания, самоутверждения: хулиганы, привычно ринувшись к тебе «подухариться», как говорили они, вдруг встречают твой спокойный, уверенный, насмешливый взгляд — и осекаются.

«Наша школа на Фонтанке, 62, — продолжает Дмитриев, — была расположена в квартале, ограниченном набережной Фонтанки, улицей Ломоносова, улицей Рубинштейна и переулком Щербакова. Это места сплошной застройки с внутренними дворами. Жилые дома примыкают друг к другу, и по крышам можно обойти весь квартал. Весной ребята из класса, и мы с Сергеем в том числе, выходили через чердачное окно на крышу

соседнего со школой дома на Фонтанке. Оттуда открывался прекрасный вид, и было приятно позагорать на теплом кровельном железе. По крышам мы шли от Фонтанки до самого Сережиного дома № 23 по улице Рубинштейна. Дополнительным развлечением было бросить в водосточную трубу камень или осколок кирпича, что вызывало грохот и переполох, после чего нужно было поспешно скрыться в чердачном окне».

Послевоенное ленинградское детство… Лучший трамплин для творческого взлета трудно изобрести. После Уфы или Казани, широко раскиданных, простоватых на вид, вдруг сразу оказаться в Ленинграде — всё равно что проснуться в огромном таинственном замке. Древние стены с башнями, восточные дворцы, извилистые реки улиц среди каменных берегов… лучших декораций для первых грез не сыскать.

Бесконечные темные подвалы, чердаки, крыши, с которых открывается безумный вид, и когда вылезаешь из слухового окна и распрямляешься — захватывает дух и кажется, что ты первый, кто это увидел. И это верно: с таким чувством, с таким волнением первый — ты. Помню: с ужасом и восторгом я стою на скате крыши, почти на самом краю, и гляжу на свою огромную тень на доме напротив. Неужели — приходит странная мысль, — если я осмелюсь и подниму руки — то он, этот великан, тоже поднимет? Собравшись с духом, поднимаю. Машу руками — и он в ответ машет мне! Невероятно! Этот гигант мне подчиняется! Завтра снова увижусь с ним. Для будущего писателя, начинающего мечтать и выдумывать, нет ничего лучше таких картин!

Душные чердаки под наклонными крышами, косые солнечные лучи, в которых беснуются пылинки. Дровяные сараи в дальнем сыром углу заднего двора. Оказаться в пахучей их полутьме — все равно что в пещере с сокровищами. Нам повезло с этим в детстве. Сейчас дети все больше резвятся в виртуальном пространстве — а мы, помнится, прыгали через пропасти с крыши на крышу!

«Мечты о силе и бесстрашии. Похороны дохлой кошки за сараями. Моя речь, вызвавшая слезы Жанны, дочери электромонтера».

Помню и я свою тягу к возвышенному, к сочинению какой-то яркой, небывалой жизни… лишь бы взлететь, воспарить над этой тягучей школьной унылостью! Помню свои стихи в седьмом, кажется, классе: «И в любых сраженьях ни за что и никогда я не сдамся… Женя!»

Какая еще такая Женя? Откуда взялась?.. Из стиха — откуда ж еще? Из рифмы! Потом уже, для подтверждения стиха, пришлось подгонять под него реальность. Девочка с этим именем была в нашем классе всего одна, и притом крайне мне не

нравилась. Но что делать — сперва мы сочиняем стихи, потом они диктуют нам жизнь. Скоро весь класс знал: он с ней «ходит» — и даже посвящает стихи! Первая сладкая слава, первое внимание публики!

Но какой ценой! Я вынужден был ее провожать, и мы долго напряженно целовались. Это стихи теперь уже командовали нами. Да, непростое это занятие, ответственное — смутно начинал понимать я. И чуть ли не выработал отношение к любви, как к суровой обязанности, неизбежной расплате за сладость творчества. К счастью, она с родителями-военными вскоре уехала на юг, и отношение это не успело во мне закрепиться. Отношения литературы и жизни не так просты… это ощущается уже в самом начале.

Что Довлатов решил принести себя в жертву искусству, было видно сразу Одноклассники рассказывают, как он однажды принес в школу фотографии знаменитого Раджа Капура с усиками из самого популярного тогда индийского фильма «Бродяга» — популярней тогда не было ничего! — и только тщательно приглядевшись, можно было понять, что это не Радж, а загримированый Сергей. Он уже жаждал сверхпопулярности! Тихий Сережа Мечик искал для себя достойный образ. И нашел — образ Сергея Довлатова. Фотографии те — первые из известных нам мистификаций, из которых были потом созданы как жизнь Довлатова, так и его литература.

В школе он пытался делать и литературный журнал — первый опыт будущих головокружительных проектов.

«1952 год. Посылаю в “Ленинские искры” четыре стиха. Одно, конечно, про Сталина. Три — про животных. Первые рассказы в журнале “Костер”, написанные на самом низком для среднего профессионала уровне».

Показательно, конечно, что он так сразу и так определенно взялся за перо и не мечтал стать летчиком или пограничником — считалось, что все мальчишки тогда только этим и грезили. Тем самым он проявил самостоятельность, обозначил путь, хотя, конечно, не обошлось без наследственнности — отец его писал, был автором скетчей, а тетя Мара занималась литературой активно, будучи одной из самых знаменитых в городе редакторш — редактировала самого Алексея Толстого. Так что дух этот жил в семье… И вообще, литература кажется самым быстрым (и простым) способом установить в мире не чью-то, а именно твою справедливость. Тяга к перу, уверенность в своем праве писать появляется, особенно у прозаиков, гораздо раньше жизненного опыта и мастерства, поэтому первые «успехи» на этом поприще лучше спрятать (и Довлатов, в конце концов, мудро спрятал три

четверти из написанного им…). Но без этих неудачных опытов не придешь и к удачам. Кашу надо мешать очень долго, время от времени пробуя, а потом вдруг — о радость! — вроде ничего. Но сразу во рту сладко не станет: сначала будет горько, потом кисло. И лишь на минуту… а потом снова — провал!

Почти во всех автобиографиях будущие литературные знаменитости подчеркивают свое жалкое, неудачное начало. Кроме того, что это часто бывает правдой, это и правильный литературный прием: тем ощутимее последующий взлет! Вообще замечено, что главный взлет у человека один. По краям его — ямы. Вундеркинды начинают хорошо, но, за редким исключением, плохо заканчивают — плохо, естественно, относительно времени взлета. Вот и выбирай время, когда взлететь. Не слишком рано… но и, конечно, не слишком поздно. Если бы Довлатов сразу писал для «Костра» хорошие рассказы — а там действительно были хорошие рассказы и хорошие авторы… так и лежал бы сейчас всеми забытый в пыльных подшивках этого «Костра»! Но он словно ждал — другого времени, другого, более заметного, места.

«Аттестат зрелости. Производственный стаж. Типография имени Володарского. Растущая тяга к плебсу (буквально ни одного интеллигентного приятеля)».

Конечно, вырасти лучше в благополучной среде… но динамичных сюжетов, неожиданных поступков, колоритных личностей там маловато, и провести всю жизнь среди мальчиков из хороших семей означает сделаться таким же… Но нельзя с этой компанией и порвать. Ведь в конечном счете оценивать литературу да и любой другой твой успех будет именно благополучная компания, и делать всё надо на ее вкус. И Довлатов такой «солидной» аудиторией обзавелся очень рано — интеллигентных приятелей у него было достаточно, начиная с Андрюши Черкасова… но и кинуться в «кипящий котел», как сделал это Иванушка-дурачок, тоже бывает необходимо. Только надо выбрать подходящий момент… да еще суметь потом вылезти и обо всем написать. Горький, который жизни хлебнул побольше других писателей, сказал, однако, что повар не должен сам вариться в своем супе. Дистанция необходима, но какая? Котел должен бурлить рядом, и горячие брызги должны лететь на лицо… иначе ты не повар, а убогий подмастерье. Как все рассчитать, обжечься, но не свариться? И тянет туда все сильнее, и если ты настоящий писатель, то сваришься непременно в конце концов — тем более если это «суп из тебя», а именно такой суп и варил Довлатов. И все это надо рассчитать быстро… даже еще не понимая, зачем!

Помню, в классе я дружил и общался только с отличниками

— Лакшиным, Амигудом, Шабесом, — и это было правильно (от компании зависит, как другие оценят тебя), но вне класса стремился на танцы в компании двоечника и пьянчуги Краснова. Вечером, после школы, нужнее был он. Мы ходили на знаменитые тогда «грязные танцы» в Мраморный клуб, а также в клуб «Лентрублит» и Дом культуры работников связи на улице Герцена (ныне Большой Морской). Так что к плебсу тянуло, особенно к той половине его, которая называется «прекрасной»… Прекрасными они были не всегда, но уж, конечно, по вечерам с ними было поинтересней, чем с нашими школьницами! Помню тягучие звуки джаза, прильнувшие друг к другу в полутьме пары и отчаянную решимость, не всегда оканчивающуюся успехом: «Вот эту — грудастую, с наглым взглядом приглашу!» Как же без плебса? А потом вдруг жесткая рука на плече: «Пойдем выйдем!» Без крови из носа не обойтись. Мужчина должен драться. С пай-мальчиками скучно. Жизнь пугает, но манит.

И все же, я думаю, не улица, не школа и тем более не общение с плебсом превратили робкого Сережу Мечика в того красивого, уверенного, эрудированного и ироничного Сергея Довлатова, которого теперь знают все. В школе довлатовская легенда не сложилась — да и не могла сложиться. Ему нужен был другой «полигон». В обычной советской школе, несмотря на фундаментальность образования, какой даже в помине нет сейчас, не было установки на развитие яркой, неповторимой и тем более фрондирующей личности. Героями становились или способные к учебе конформисты, становящиеся отличниками или комсомольскими вожаками (очень редко это удавалось совместить), или уж совсем забубенные хулиганы, чаще всего уходившие после школы в безвестность или в тюрьму.

Довлатов, к счастью, не вписался ни в одну из этих категорий. Впрочем, совсем рядом была так называемая английская школа, куда брали самых талантливых и поощряли творческое и личное своеобразие — эта школа на Фонтанке, совсем недалеко от довлатовской, по конкурсу — и по собственной инициативе, — действительно отбирала и выращивала лучших. Это не афишировалось, но было известно, что она готовит будущих дипломатов. В ней из моих знакомых учились Андрей Черкасов, Андрей Битов, Сергей Байбаков, Лев Ядрошников. Каждый из них добился многого, и все они дружно называют ту школу замечательной — там их действительно развивали и поощряли их индивидуальность. Там были замечательные учителя. Довлатов до той школы не дотянул. Был бы отличник, его, как других отличников, туда бы, может, и перевели — хотя в той элитной школе негласно действовал

знаменитый «пятый пункт» (графа «национальность»), но несколько учеников там были и с «пятым пунктом». Из той английской школы ребята выходили уже с большим самомнением, помогавшим им потом делать карьеру… Довлатов же оказался в обычной советской школе, которая вряд ли могла — да и не должна была, — оценить его выпирающую из всех рамок личность.

Однако к окончанию школы Сергей из закомплексованного толстяка превратился-таки в весьма уверенного и эрудированного юношу с явным чувством превосходства перед убогим окружающим миром, которое он чуть прикрывал самоуничижительной иронией. Смутно вспоминая школьные уроки биологии, скажу: «Яркая бабочка вылетела из невзрачного кокона». Что, кроме генетических данных, так благоприятно подействовало на него? Точно уж не стандартная советская школа. И не двор. И не улица. С окончанием послевоенной хулиганской эпохи уличными героями стали стиляги и фарцовщики. Довлатов с присущей ему любознательностью и это попробовал — но то была не его карьера, и он скоро к этому остыл.

И все-таки яркая личность появилась. Даже фамилию он сменил — не было уже робкого Мечика, появился Довлатов.

* * *

Конечно же, главной его «питательной средой» были не школа, не двор и не улица, а родной дом, семья.

Маму его, Нору Сергеевну, я хорошо помню, хотя в дом его попал значительно позже ранних его друзей, уже в эпоху литературной суеты. Но у моего лучшего друга была мать, чуть похожая на маму Довлатова, той же среды и закваски — это был тип весьма интеллигентных, знающих и воспитанных женщин, работающих, как правило, в библиотеках, издательствах или академических институтах, но изрядно огрубевших в коммуналках и очередях, а порой даже в лагерях и ссылках и слегка даже бравирующих, особенно с возрастом, этой грубоватостью (а некоторые — и весьма хриплым от «Беломора» голосом). Помню, меня очень взбадривал их стиль общения, уверенный и слегка агрессивный, их умение сочетать академические цитаты с непринужденным матом. Рождался смелый и обаятельный образ, которому хотелось подражать.

Известен случай, когда мама Довлатова, угощая завтраком Сергея с заночевавшей у него девицей, непринужденно спросила:

«А бляди твоей горошек тоже давать?» Сергей, оценив мамин стиль, расхохотался (о реакции девушки история умалчивает).

Подавая сыну пример уверенного обращения с окружающей действительностью, мама сумела направить его и в лучшее ленинградское общество. Она дружила с Ниной Николаевной, женой знаменитого актера Николая Черкасова. Он был не только великим актером, которого знали все, но и членом Верховного Совета, председателем всяческих комитетов, в том числе и международных… в общем, человеком всесильным и при этом порядочным, веселым и щедрым. Дружил, например, с гениальным, но опасным Евгением Шварцем, работавшим «на грани фола». На комаровской даче Черкасовых собиралась самая лучшая компания, которая могла быть тогда. Появлялись в Комарове у Черкасовых и Нора Сергеевна с сыном Сережей. Комаровские встречи той поры оказались потом весьма интересны и полезны для Довлатова… Молодец мама, всем бы такую! Но замечательные мамы почему-то чаще всего бывают у замечательных сыновей — и наоборот.

Близко знавшие Нору Сергеевну отмечают ее талантливость во всем — она была хорошей актрисой и могла бы играть еще долго, но из скромности ушла из театра. Она считала, что стариться на сцене имеют право лишь великие актрисы. Не зная нот, она на слух подбирала на рояле самые сложные вещи. Была великолепным рассказчиком, и ее бывший муж Донат говорил, что ей надо выступать на эстраде, как Ираклию Андронникову. По-кавказски вспыльчивая, она никогда ни на кого не повышала голоса. При этом была очень гордой. Будучи давней подругой Нины Николаевны, жены Черкасова, с которой они вместе начинали играть в театре, она никогда ни о чем — ни прямо, ни через жену, — не просила всемогущего народного артиста. Лишь однажды, когда у Довлатовых хотели отнять комнату и сделать из нее кладовку, Черкасов вмешался, но исключительно по инициативе Нины Николаевны — Нора Сергеевна была против.

Но главное, будучи талантливым корректором, она передала сыну безошибочный литературный слух. Один из друзей дома вспоминает: «Помню, я как-то зашел к Сереже домой и спросил: “Нора Сергеевна, что это у вас бардак такой? Шарфы какие-то валяются!” Она ужаснулась: “Леша! Как вы могли!" Я подумал, что и вправду сказал что-то лишнее: “Извините, пожалуйста, Нора Сергеевна. Я не хотел вас обидеть!” Она ответила: “Шарфы, Леша, шарфы! Ударение на “а”! Запомните это на всю жизнь”».

Сережа уроки мамы впитал и потом всю жизнь гордился знанием пунктуации и ударений, изводя этим знанием друзей и коллег. Корректурой занималась вначале и сестра Норы

Сергеевна Маргарита-Мара, ставшая потом, как уж говорилось, замечательным, уважаемым в Ленинграде литературным редактором. У них еще были брат Роман и сестра Анна (Анеля). Несмотря на обилие родственников, у Довлатова никогда не было ощущения клановости, защищенности родней — быть может, потому, что родня эта, как на подбор, была довольно неустроенной и весьма эксцентричной. Хотя не исключено, что она сделалась такой только в повести «Наши», где автор охотно прибегает к любимому своему приему — препарирует реальность, перенося из нее в произведение только то, что соответствует его замыслу.

В Довлатове соединились две крови — армянская от матери и еврейская от отца. Хотя сам он не был похож ни на отца, ни на мать. С чего вдруг появился на свет такой красавец и гигант? Впрочем, Нора Сергеевна была очень красива в молодости, а Донат, говорят, тоже был не плох, рост его был выше среднего, и только из-за болезненной худобы он казался не очень крупным. Но Довлатов больше стремился к мифам и легендам, и один из его мифов — о небывалых, легендарных его предках. А какие еще предки могли быть у него? Сергей писал, что ростом и силой выдался в своего еврейского деда Исаака Моисеевича Мечика, который перебрался из деревни во Владивосток, стал часовщиком, потом приобрел закусочную. Дед был высок и могуч. Когда он пошел на войну (первую империалистическую) то, как пишет Довлатов, «усы его достигали погон». На каком-то смотре его увидел государь и тут же перевел в гвардию…Что-то все это напоминает — например, рассказ Сергея о том, как его еще в люльке заметил и чуть ли не благословил великий Андрей Платонов. Впрочем, послушаем дальше: «Зачислили его в артиллерийскую батарею. Если лошади выбивались из сил, дед тащил по болоту орудие».

Дальше идет не хуже: «Он был единственным жителем Владивостока, противостоявшим революции». Сломал во время рекламной акции железную американскую раскладушку, когда лег на нее. Очень много ел: «Батоны разрезал не поперек, а вдоль. Прежде чем идти в гости, дед обедал… Вернувшись домой из гостей, с облегчением ужинал»… Все правильно — какой еще, по-вашему, дед мог быть у такого человека, как Довлатов? Только такой!

«Как-то раз в Щербаковском переулке ему нагрубил водитель грузовика. Вроде бы обозвал его жидовской мордой. Дед ухватился за борт. Остановил полуторку. Поднял грузовик за бампер. Развернул его поперек дороги».

Интересно, что за самим Сергеем тоже числится такой

подвиг! Кто из них, интересно, «поделился подвигом» — он или дед? С Довлатовым (если верить) произошло следующее. Однажды он, ревнуя, вышел из дома за Асей и поднял за бампер машину ее поклонника. Эта история считается достоверной — мне ее рассказывала сама Ася, не склонная преувеличивать достоинства бывшего мужа. Какое-то просто поразительное сходство подвигов деда и внука!

Сведения об армянских родственниках еще более легендарны. Особенно колоритным выглядит дед Сергей Довлатов (он же Саркис Довлатян), совладелец магазина готового платья в Тифлисе, — в его честь, как можно подумать, и назвали маленького Сережу:

«Дед по материнской линии отличался весьма суровым нравом. Даже на Кавказе считали его вспыльчивым. Жена и дети трепетали от его взгляда. Если что-то раздражало деда, он хмурил брови и низким голосом восклицал:

— АБАНАМАТ!

…И в доме наступала полнейшая тишина.

Значения этого слова мать так и не уяснила. Я тоже долго не понимал, что это слово означает. А когда поступил в университет, то неожиданно догадался. Матери же объяснять не стал. Зачем?»

Дальше Сергей рассказывает о том. как дед его вступил в столкновение со стихией, а именно с землетрясением…

И вот от таких предков и появился Сергей Довлатов! А какие еще, спрашивается, предки должны быть у человека, который и сам быстро сделался легендарным? Довлатов строит свой героический миф не со дня своего рождения, а с гораздо более древних времен — так и должны работать люди, целенаправленно создающие свой образ.

«У меня есть несколько фотографий деда. Мои внуки, листая альбом, будут нас путать…» Можно сказать — путаем уже и сейчас.

«У деда Исаака было три сына. Младший, Леопольд, юношей уехал в Китай. Оттуда — в Бельгию. Старшие — Михаил и Донат — тянулись к искусству. Покинули захолустный Владивосток. Обосновались в Ленинграде. Вслед за ними переехали и бабка с дедом. Сыновья женились. На фоне деда они казались щуплыми и беспомощными. Обе снохи были к деду неравнодушны…»

Из этого повествования вывод такой: зато Сергей вобрал и воплотил в себе мощь и красоту обоих этих дедов!

Папа Сережи, Донат Мечик, тоже был человеком весьма примечательным — и хотя в семье давно уже не жил, тоже дал сыну правильную закваску. Биография его пунктиром обозначена в рассказе об отце из сборника «Наши». Но поскольку в нем, как и

во всех произведениях Довлатова, достоверность отступает перед вымыслом, стоит обратиться к фактическим данным:

«Донат Исаакович Мечик (20.VI. 1909 — 22.X. 1995) родился во Владивостоке. Закончил Ленинградский театральный институт. По окончании был принят в созданный Л.С.Вивьеном Театр актерского мастерства. В тридцатые годы занимался театральной режиссурой, ставил спектакли в филиале Молодого театра С. Радлова, в Театре транспорта, был художественным руководителем Республиканского драматического театра Мордовской АССР и Ленинградского районного драматического театра. Начиная с 1928 года совместно с Вивьеном осуществлял постановку спектаклей в Ленинградском академическом театре драмы им. А.С.Пушкина… В период эвакуации заведовал в Новосибирске литературной частью Пушкинского театра.

После войны занимался эстрадной режиссурой (работал режиссером Концертного бюро Ленинградской филармонии, киностудии “Ленфильм”). Писал произведения для эстрады. Руководил производственно-творческой комиссией в профкоме драматургов. В Ленинграде вышла его книга “Искусство актера на эстраде” (1972) и ряд статей, посвященных театру и эстраде. С 1967 по 1980 год руководил эстрадным отделением Музыкального училища при Ленинградской консерватории, где преподавал актерское мастерство.

В 1980 году Д. Мечик эмигрировал в Соединенные Штаты, где вышли его книги “Выбитые из колеи” (1984), “Закулисные курьезы” (1986) и “Театральные записки” (1989). Его воспоминания печатались в русскоязычной эмигрантской прессе (сборник “Руссика-81”, журналы “Стрелец” и “Литературный курьер”, газеты “Новый американец”, “Новое русское слово”, “Панорама”, “Мир” и др.), а также во многих российских газетах и журналах».

Уже зная весьма эксцентричного молодого писателя Довлатова, я с интересом разглядывал и его отца. От кого происходят такие занятные личности, как Сережа?

Нужно сказать, что Донат Мечик был в те годы гораздо более авторитетен в городе, чем его непутевый и еще никак не определившийся сын. С интересом проникая на всяческие театральные просмотры и модные вернисажи (культурная жизнь города тогда била ключом), я то и дело видел Доната Мечика: он всегда что-то уверенно излагал в центре самой авторитетной компании, встряхивая жесткими седыми прядями на прямой пробор — и все, кивая, с ним соглашались. Безусловный и безупречный авторитет! При этом просачивались сведения (распространяемые, я думаю, и насмешливым сыном), что Донат

Исаакович всего лишь преподает эстрадное мастерство в каком-то училище и к высокому искусству причисляет себя несколько самонадеянно… Неважно! Главное — кем ощущает себя человек, а не кем он является по служебному расписанию. И он ставил себя весьма высоко, и все этому порядку подчинялись — или делали вид.

Помню встречу с ним лицом к лицу на углу улицы Рубинштейна и тогда Пролетарского, ныне Графского, переулка. Шел ли он по улице Рубинштейна, возвращаясь после задушевной беседы с сыном?.. Не уверен, но очень было похоже. Он шел, невысокий, поджарый, в вызывающе роскошном желтом пальто с острыми лацканами (таких польт в России не продавали), и с двух сторон шли две статные красавицы, каждая по меньшей мере на голову выше его, с почтением ему внимающие… видимо, ученицы.

Лицо его, слегка рябоватое, с глубокими складками по краям рта, с расчесанными на прямой пробор седыми прядями, было значительным и скорбным. Взгляд его небольших глаз был весьма надменный, значительный и слегка утомленный. Многие, даже незнакомые люди на него засматривались — с таким достоинством он нес себя.

Сын его, гигант и красавец, внешне вовсе был не похож на него — но что-то очень важное (помимо литературных способностей) он от него получил. Как говорят умные старые евреи, в жизни важней всего «выходка», умение войти так, чтобы все взгляды повернулись к тебе.

Помню, я ходил к одному парикмахеру, в самую обычную обшарпанную парикмахерскую… но каким достоинством, каким величием веяло от него! Знаменитейшие люди (помню, к примеру, Кирилла Лаврова) покорно ждали очереди к нему — хотя ничего особенного он не делал, да и что такого особенного можно сделать с растительностью на голове, да еще в строгое советское время? Но у него было главное — «выходка», умение преподнести себя как бесценный дар.

И Сергей, безусловно, перенял этот дар у папы — и где-то даже его превзошел. Его появление всегда обставлялось как событие…

Кроме этого бесценного дара, Донат Исаакович, давно будучи в разводе с семьей, тем не менее дал Сергею множество правильных советов — порой, правда, театрально-напыщенных, что позволило Довлатову потом блистательно посмеяться над папой в своих сочинениях. Похоже, отец был первой «моделью», на которой Сережа оттачивал свою наблюдательность и безжалостный юмор. «В жизни отца рыба занимает такое же

место, как в жизни Толстого религия» — вот одна из «звонких монет», которыми сын расплатился со своим родителем. Довлатов, помню, с усмешкой говорил мне: «Отец довольно часто бывает за рубежом, но когда я спрашиваю его о духовных ценностях — он почему-то рассказывает мне, какое замечательное было белье в номере и как прекрасно было вино!»

Эта ирония улетучилась, когда Сергей «загремел» в армию — тогда отец стал для него самым важным человеком. Не только творчески — их переписка бесценна, — но и чисто практически: именно Донат Исаакович в конце концов вытащил Сергея из самого пекла. «Повар» может вариться в своем супе — но должен вовремя выпрыгнуть из него.

Думаю, что многие из нас, выросшие тогда, должны благодарить жизнь за отличных родителей. Мои родители тоже разошлись — но позже, чем у Довлатова, уже когда я учился в институте. Но тем не менее до сих пор вспоминаю их дни рождения и другие праздники в доме как что-то замечательное. Красивый, обильный стол, но главное — большое количество красивых, солидных, явно успешных друзей в хороших костюмах, с орденами или планками, с прибаутками, анекдотами, песнями, а иногда и стихами собственного сочинения. Родители моих школьных друзей (я больше выбирал друзей успешных) вышли из самых разных сфер (мои были агрономы, селекционеры), но все они, как и мои родители, были людьми уверенными в себе и своем деле, сильными и независимыми, которых не так-то легко было сбить с толку или настолько запугать, чтобы они отказались от шумных застолий и острых анекдотов (многих из них «пугали» вплоть до ареста, но сути их это не изменило). Спасибо родителям — они нас не только родили, но и показали, как честно и доблестно жить «при любой погоде». И таких родителей, кстати, было много, кого ни спроси из моих друзей — все довольны. Нет, не было тогда, как многие считают, повального рабского страха — но не было и всеобщего бездумного энтузиазма. Родители наши трезво понимали, что Сталин — злодей, сгубивший множество невинных людей… Ну и что теперь — ложиться и помирать? Нет, лучше работать, и жить, и получать все возможные удовольствия… Думаю, для нас это было самое правильное воспитание. Отец мой не однажды ругался вдрызг с самыми главными академиками, секретарями обкомов по сельскому хозяйству, референтами ЦК… тогда его переводили в деревню, в самые захудалые селекционные хозяйства — и именно благодаря суровым условиям он выводил там самые лучшие, самые стойкие сорта.

— Куда они меня денут? Земля-то есть везде, значит, можно

сеять! — усмехался отец.

Так же «кидали» туда-сюда и отца Сергея, но дело всегда было при нем — и везде он приспосабливался, делал дело, находил друзей, полезных людей, поклонниц — и побеждал.

Стойкости, оптимизму, умению работать везде и всегда мы обязаны, конечно, нашим родителям. Сказать про них, что то было поколение запуганное, раболепное, бездеятельное может только полный дурак — ему, значит, досталось от родителей лишь слабоумие…

Так что заголовок «Семья и школа» самый подходящий для этой главы — семья на первом месте. Семья в жизни Довлатова, конечно, была важнее школы. И вспоминая его весьма неробкую семью, понимаешь, как к семнадцати годам из неловкого первоклашки образовался весьма эрудированный и самоуверенный красавец, ценивший свой неповторимый стиль речи и поведения уж, конечно, гораздо выше всех тех банальностей, что окружали его в школе, а потом и в университете. И эту незаурядную свою сущность Довлатов вскоре продемонстрировал во всей красе.

Глава вторая. Недурная компания

Сам Довлатов, с присущей ему желчностью, свое появление в университете откомментировал так:

«Университет имени А. Жданова. (Звучит не хуже, чем университет Аль-Капоне.)»

Университетский друг Слава Веселов вспоминает эту фразу, повторенную Сергеем не раз с некоторыми модуляциями: свои фразы-алмазы Довлатов «гранил» не спеша. Удачную фразу надо не только «обкатать», но еще, так сказать, выслужить. Чтобы иметь право столь высокомерно «оценить» Ленинградский университет, сначала надо было все-таки в него поступить. Так было не раз: презрительно-блистательные фразы требовали от него предварительных тяжких усилий, которые он тщательно маскировал мнимыми небрежностью и ленью. Надо все же забраться на вершину, чтобы потом пренебрежительно с нее плюнуть! И Довлатов это понимал: снизу сколько ни плюй, все равно всё упадет на тебя.

Поэтому к поступлению в университет он отнесся с тайной серьезностью и даже азартом. В первый год он заносчиво подал документы на факультет журналистики. Все понимали сладость этой профессии, конкурс был большой — и Сергея не приняли. Проработав год в типографии, Довлатов поступал в университет уже осторожнее — на филфак, на финское отделение, на которое шло тогда очень мало народа. В каком-то смысле то было святое время, и, не считая смольнинского блата, точнее даже не блата, а списка, всех остальных оценивали и принимали в университет согласно их знаниям и способностям. Теперь даже не верится, что такое могло быть! Но взяточничество и прочие несправедливости приема расцвели пышным цветом несколько позже, а в те годы хорошие ученики смело шли в университет и чаще всего судьба их складывалась сообразно их способностям и усердию. Самые подготовленные, набравшие необходимый высокий балл, поступали на самые престижные отделения — романское, немецкое, английское… финское считалось второразрядным. Уже многочисленные к тому времени фарцовщики, которым финский нужен был позарез, в университет почему-то не шли (слишком долго — дело горит!) и предпочитали изучать финскую речь на практике.

Впрочем, Игорь Смирнов, один из первых университетских друзей Сергея, вспоминает о неких курсах финского языка, что учредил ленивый, но предприимчивый Сергей для знакомых фарцовщиков… впрочем, это уже больше похоже не на

реальность, а на довлатовскую байку: мифологию свою он стал создавать практически сразу.

На третий, кажется, день все занятия отменили, и Довлатова вместе с другими первокурсниками (обычная тогда история, сегодня уже подзабытая) отправили в колхоз на уборку картошки.

По воспоминаниям его ближайшего друга этих и последующих лет Андрея Арьева, они оказались где-то под Сиверской. Задача — выкапывать и собирать на раскисшем от дождя поле сырую, полусгнившую картошку. Помню по себе, как угнетала эта постоянная бессмысленность нашей жизни: почему картошку надо убирать именно тогда, когда все уже залито дождем и картошка наполовину сгнила? Что за царство абсурда — в котором, по всему судя, нам предстоит мучиться до конца своих дней?

Но с другой стороны, где, как не здесь, когда круглые сутки вместе и все друг перед другом как на ладони, разглядеть и найти себе друзей на всю жизнь? В большинстве вузов так и происходило. Костры, песни, дружные выпивки, походы на танцы в соседнюю деревню, потом возвращение в темноте, когда цветы особенно сильно пахнут и загадочно сияют меж сосен реки и озера, — все это было. Но главное — друзья на всю жизнь определялись именно там.

Там и Довлатов нашел самых важных своих друзей. Первым их «подвигом», в котором каждый проявился и определился, был, как вспоминает Арьев, побег из этого «рая». Уже по желанию их — сделать так, как им хочется, невзирая на запрет, — видны люди непростые, самостоятельные, привыкшие к душевному комфорту и готовые за него бороться до конца… Ну, не совсем, наверное, до конца — рисковать студбилетом, наверное, все же не стоит, лучше достать какую-то медицинскую справку. И вот три новоиспеченных друга, три будущих литературных столпа, трое озябших до мурашек юношей явились в поселковую поликлинику. Далее история распорядилась удивительно точно: как пошло дело у каждого из них сразу — так же примерно и продолжалось всю жизнь.

Довлатов, юный талантливый боксер, смог усилиями мышц поднять у себя температуру до требуемой, и справку получил. Находчивый и целеустремленный Арьев продемонстрировал медсестре мучительный радикулит — и был «отпущен». Федя Чирсков, сын известного сценариста, с детства барственный и изнеженный, надрываться не стал, лишь высокомерно произнес: «Э-э-э… легкое недомогание!» — чем вызвал, ясное дело, лютую ненависть медицинского персонала и справку-индульгенцию не получил — пришлось ему остаться в колхозе.

А Довлатов и Арьев, опьяненные успехом их первого совместного — и сразу удачного! — деяния, рванули в город, после чего их сотрудничество и взаимная помощь лишь расцвели еще больше, достигнув в конце концов межконтинентальных масштабов.

Скоро, впрочем, явился и обиженный Федя, и началась университетская жизнь.

«Филфак. Прогулы. Студенческие литературные упражнения, бесконечные переэкзаменовки».

Итак, Довлатов — студент Ленинградского университета имени Аль-Капоне… простите, Жданова. Пожалуй, в те годы это был самый эффектный ход. С этим «знаком качества» можно было пускаться во все тяжкие — прогуливать, влюбляться, сдавать-пересдавать, вылетать… Все равно это чувство превосходства, высокомерие «белоподкладочника» (как называли в России студентов-аристократов) оставалось в тебе навсегда, даже если ты проучился в ЛГУ не слишком долго. Друзей, во всяком случае, Довлатов нашел здесь самых лучших, прослуживших ему до конца. Даже печальный для него финиш университетской эпопеи не разлучил их — во всяком случае, надолго.

А университет? Что — университет? Позиция тут проста: «Университет (считавшийся самым лучшим местом в городе) оказался недостоин меня! Скука невыносимая, уровень жалкий!» Самомнения поэтому поводу хватало порой на много лет. Если, конечно, ты не увлечешься вдруг той специальностью, на которую поступил… такое счастье тоже бывало. И многие из друзей Довлатова университет закончили и вполне преуспели, оставаясь при этом абсолютно свободными людьми, не кривившими душой и не желавшими, да и не умеющими пресмыкаться. Некоторые — Игорь Смирнов, Костя Азадовский, Саша Лавров, — стали большими учеными, оставаясь при этом близкими его друзьями и активно участвуя в общих гулянках. Абелев и Байбаков сделались преуспевающими международными журналистами… Это все были «большие корабли для большого плавания» — и Довлатова они приняли отнюдь не случайно, сразу высоко оценив его… Но они пока не спешили, плавно выворачивали на курс. А у Довлатова была своя «ускоренная» программа, и ему никак не хотелось пять лет зубрить общие для всех учебники.

Как вспоминает преподавательница сербского языка Марианна Бершадская, скитания Довлатова по факультету были хаотичны — то он был на финском, то на русском дневном, то на русском вечернем. При этом он сразу стал пользоваться в университете влиянием; его таинственное величие чувствовали все, кто сохранил еще чувства. По воспоминаниям Бершадской,

она, как и многие преподаватели, сразу же почему-то стала пытаться помочь совершенно, я бы сказал, — демонстративно, — неподготовленному Довлатову. Порой необъяснимое, но властное «поле влияния» он умел создавать уже тогда. В полной мере он продемонстрировал это в Нью-Йорке. А пока что благодаря этому он продержался в университете значительно дольше, чем заслуживал того своим прилежанием.

Что же там привлекало и удерживало его? Несомненно, в те годы университет был центром вольнодумства — это в значительно большей степени касалось студентов, нежели преподавателей, но и преподавателей тоже. И оказаться в такой среде было для Довлатова приятно и важно, именно там окреп его мятежный дух.

Университетская жизнь тогда была бурной. Именно тут закипали волнения, которые впоследствии перевернули нашу страну. Гениальный и веселый поэт Владимир Уфлянд, наш общий с Довлатовым друг, тоже, как и Сергей, ненадолго осчастлививший университет своим пребыванием, рассказывал, как они веселились. Однажды пришли на лекцию по Древнерусской литературе в расшитых рубахах с поясами, с расписными ложками и мисками, в перерыве налили в миску молока, накрошили хлеба и ели эту тюрю, время от времени почему-то ударяясь лбами. Казалось бы, что тут такого? «Древнерусскую литературу — в жизнь!» Но бдительные стражи сразу просекли враждебность этой акции. Хотя, казалось бы, в чем враждебность? Так — кураж, легкое издевательство… даже сразу не скажешь над чем. Но у нас все чувствуют даже то, что трудно или даже невозможно сформулировать… «В общем, это не наше!» — «Русские рубахи — не наше?» — «Молчать!.. Это типичная троцкистско-зиновьевская провокация!» — именно с такой алогичной, но вполне привычной формулировкой они были исключены из университета — что, впрочем, не помешало им потом стать хорошими поэтами. Веселье то и дело оказывалось опасным, и тем не менее вольный дух не иссякал.

В другой раз, по воспоминаниям того же Уфлянда, трое его друзей шли по Дворцовой площади с демонстрацией 7 ноября, и, когда «массовик-затейник» с трибуны выкрикивал очередную здравицу, а народ подхватывал, ребята кричали свое: «Да здравствует кровавая клика Тито — Ранковича! Ура!» Как раз тогда шла во всех газетах травля югославского маршала Тито, бывшего нашего друга, и его сторонников, в том числе министра внутренних дел Ранковича. Сначала крики ребят не очень различали — «акустически» они сливались с другими здравицами, — но потом все же расслышали те, кто получал за

это деньги, и при повороте демонстрации на Невский ребят схватили… а потом посадили на несколько лет.

Помню бурное обсуждение в большой университетской аудитории знаменитой тогда повести Дудинцева «Белые одежды», переросшее, как потом писали в доносах, «в политическую провокацию». Тогда никого не посадили и даже, кажется, не исключили — видимо, трудно было кого-то выбрать: весь университет бурлил из-за невинного по нынешним временам произведения!

Помню и свой приход — в поисках подходящей литературной компании, — на занятие университетского литобъединения. Маленький взъерошенный поэт закончил свое стихотворение строчкой — «Соленым огурцом — хрущу!» — и делал при этом метательное движение! «Так это же — соленым огурцом — хрущу! Хрущеву!» — с некоторым запозданием я понял, почему так ликует зал.

В общем, ясно, что не зря Довлатов здесь оказался — здешний дух был близок ему, укрепил его уверенность в себе, в своих силах и талантах. В этом, а вовсе не в учебе, было главное для него. Впрочем, нет никаких сведений о том, что Довлатов принимал какое-то участие в той бурной общественной жизни. Видимо, он и его ближайшие друзья были слишком снобами, чтобы примыкать к толпе в любой ее форме.

Главное — он нашел в университете друзей на всю жизнь, друзей, полностью разделяющих его вольные взгляды и притом достаточно сильных и успешных, на которых можно было опереться в жизни. И друзья не подвели. То была весьма недурная компания, почти «лицейское братство», отличавшееся образованностью, талантами, жизненной энергией и умением славно погулять — спрашивается, о чем еще в молодости можно мечтать, какое еще большее везение может быть? И эти друзья юности оставались с ним всегда, помогли состояться, а потом и прославиться.

Вспоминает Андрей Арьев:

«С Сережей было трудно не познакомиться, потому что он всегда выделялся. Мы вместе учились на филологическом отделении: он на финском отделении, я на русском. На первых курсах у нас было много общих лекций — как правило, самых занудных и никому не нужных, вроде политэкономии или истории КПСС. Как правило, мы на них не ходили, но из нашей тридцатой аудитории открывался прекрасный вид на Университетскую набережную и Неву, можно было наслаждаться им и ничего не слушать. Меня кто-то спросил, что такое для меня университет. Я ответил: “Конечно, это окно в Неву”. Во время

такой лекции Сережа мне как-то сунул три рассказика. В какой-то из них я ткнул пальцем и сказал: “А вот этот мне не понравился меньше”. С моей стороны это была высшая степень похвалы. Тогда мне просто не могло понравиться то, что написал мой приятель».

С момента их встречи прошло полвека — но Андрей Юрьевич Арьев, кажется, совсем не изменился. Все такой же мягкий, но непоколебимый, блистательный, но скромный, стойко перенесший все тяготы всех эпох и ставший, к общему восторгу, главным редактором замечательного питерского журнала «Звезда» — пожалуй, самого интеллигентного среди прочих. Достойная судьба!

Пожалуй, именно Андрей был и «главным редактором» довлатовской жизни, больше всех помогая ему. Разумеется, он не правил довлатовских текстов (тут Довлатов был вне досягаемости). Но Андрей на всех этапах жизни друга, даже когда они были надолго разлучены, как-то умудрялся быть с Сергеем рядом и очень вовремя помогать ему. Известно, что Довлатов страдал приступами неуверенности — и тут «стальной», спокойный, уверенный Арьев был незаменим. Встречи их порой носили характер тяжелых и продолжительных выпивок — но только так и создается полная доверительность, расширяется кругозор, появляются неожиданные смелые рещения. И конечно, великая заслуга Арьева — бурный, великолепный финиш Довлатова еще при жизни и особенно после смерти… В момент, когда нужно было поднимать «довлатовское знамя», умный, толковый и целеустремленный Арьев как раз оказался в самом правильном месте, в кресле главного редактора «Звезды» — оттуда и пошла по Руси Сережина слава!.. Но до финиша, до смерти и славы в годы их университетского знакомства было еще ой как далеко…

Слегка особняком от всех стоял Валера Грубин. Самый ближний, повседневный — и самый загадочный друг Довлатова. Необыкновенный умница и эрудит, за глубокое знание древнегреческой литературы заслуживший прозвище Тетя Хлоя — при знакомстве произвел на меня очень странное впечатление. Большая голова, объемистая, как колокол, грудь, мощные руки. Он был чемпионом, кажется, по метанию молота, а кроме того — одним из светил философского факультета университета. При этом говорил как-то мало, тихо и невнятно, как бы ленясь вести разговор. Все могучие его знания и способности сводились на нет какой-то чуть заметной примесью абсурда, которая была в этом вроде бы воспитанном, серьезном человеке, никогда не повышающем голоса. Но — забыть, опоздать, по совершенно

необъяснимым причинам не явиться вдруг на заседание кафедры, где решалась его судьба, и вылететь навсегда из списка перспективных кандидатов на то и на это… такое он проделывал постоянно, без малейшего напряжения и мук, ничуть не переживая и не изменяясь в лице, как говорят в народе — «за милую душу». Когда его с отчаянием спрашивали, как же так — он спокойно отвечал что-нибудь вроде «знаете, забыл», или «ничего страшного, сделаю позже». Наверное, именно он наиболее полно и честно выполнял модную тогда в нашей жизни программу: «Маразм — лучшая форма протеста». Когда я его увидел впервые, он, по-моему, уже растерял все, что могла бы ему дать наука, или спорт, или что-то еще, и работал на какой-то фантастической должности, не требующей никаких усилий и даже появления на рабочем месте… При этом он был ровен и спокоен в общении, вовсе не казался гулякой и разгильдяем, был серьезен и всегда сосредоточен на чем-то далеком, невидимом глазу.

Что так сближало их? Может, Довлатова привлекала в его друге абсолютная, невозмутимая душевная свобода? Думаю, это был первый настоящий довлатовский персонаж, существовавший в реальности, а не только в текстах, как многие другие. Грубин удостоверял своим существованием подлинность довлатовских героев, невозмутимо соединяя необычными своими выходками вымысел и реальность. Думаю, реальное существование Грубина придавало Довлатову уверенности при создании его знаменитой полуфантастической галереи питерских чудаков.

Вторым столь же роскошным персонажем довлатовской летописи был его легендарный двоюродный брат Борис — внебрачный сын тети Мары, знаменитой литературной редакторши. Борис с таким же спокойствием и невозмутимостью разрушал все, чего с блеском достигал. В этой компании, думаю, и начал вырисовываться перед Довлатовым его будущий литературный герой, теперь почти столь же любимый и популярный, как попадающий из одной передряги в другую и при этом всегда невозмутимый солдат Швейк.

Не думаю, что Довлатов хотел находиться в этом состоянии всегда — «повар не должен вариться в супе». Писатель должен хорошо знать своих героев, но не должен с ними погибать — иначе кто же напишет эту трагедию? И писатель Довлатов отнюдь не так прост, как его непутевые герои.

В длинном и светлом коридоре главного корпуса можно увидеть много бюстов, преимущественно бородатых. Если ставить в университете довлатовский бюст, то вряд ли стоит помещать его в этот чинный ряд. Лучше уж водрузить его в курилке на

самом верху лестницы; оттуда славная компания часто взирала на жизнь свысока, и их речи в курилке — вот настоящие довлатовские университеты. Встретив тут то главное, чего он искал, компанию веселых единомышленников, он не так уж стремился теперь сдавать зачеты.

Самый первый по времени университетский его друг, Игорь Смирнов, университет закончил довольно успешно, поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую и лишь на стадии работы над докторской не выдержал серых будней советского ученого и уехал в Германию. Он вспоминает, как они сидели в курилке над лестницей и состязались — кто из них отыщет самого нелепого человека в толпе студентов и преподавателей, проходивших по лестнице. Занятие вполне довлатовское, развивающее и укрепляющее его издевательскую наблюдательность. По воспоминаниям Смирнова, Довлатов, не слишком усердный в учебе, в этой игре побеждал почти всегда — «герои», замеченные им, были всегда самыми странными и смешными, что всегда почти вызывало вспышку яростного несогласия у главного его соперника — Феди Чирскова.

Вспыльчивый Федя происходил из высшей литературной аристократии того времени — его отец был знаменитым сценаристом; сейчас мы, наверное, вспомним, поднатужившись, лишь картину «Два билета на дневной сеанс», но вообще-то Чирсков был автором сценариев многих фильмов, составивших славу советского кино. У них была квартира на Марсовом поле и большая и красивая дача в Комарове — месте жительства самых успешных и популярных деятелей науки и искусства той поры… Нынче там совершенно другие хозяева жизни. Но тогда Федя, как и положено элитному подростку, учился в университете, играл в теннис… и боже, как печально кончилась его жизнь! Но тогда Федя считался не просто аристократом, а еще и талантливым прозаиком (в отличие от ничем еще себя не проявившего Сергея), и наглые выходки и насмешки этого «Далметова» (так Федя презрительно называл Сергея всю жизнь), бесили его. Однажды он даже вызвал Сергея на поединок. Сергей, на голову выше Феди, был настроен насмешливо-добродушно, но Федя с ходу ударил его, и папироска в Серегиных зубах разлетелась искрами. Их стали разнимать — и тогда Федя потребовал пойти и продолжить бой у него дома, в квартире на Марсовом поле, где им никто не будет мешать. И там сразу же двумя мощными «теннисными» ударами сбил огромного Довлатова с ног и пошел молотить, и Сереже пришлось бы туго — но друзья прекратили побоище, с трудом оттащив разъяренного Чирскова… Учитывая его дальнейшую трагическую судьбу (может быть, эти вспышки уже

были предвестниками будущего помешательства), Федю не хочется осуждать. И тем не менее — таков был накал литературного соперничества.

Потом к этому еще добавилось соперничество из-за прекрасной Аси, ставшей женой Довлатова, но часто на словах (а потом и в своих воспоминаниях) упоминавшей Федю с гораздо большим почтением, чем Сергея, что вполне соответствовало ее характеру… но об Асе речь еще впереди.

Дружеская компания высокомерных снобов, спевшаяся в стенах университета, была, наверное, одной из самых ярких в те годы — но совсем не однородной. Долгое время в ней несомненно лидировал яркий, замечательно образованный, уже закаленный жизнью провинциал из Кургана — Слава Веселов. Он успел уже побывать летчиком-штурманом и привык «рулить», подавляя друзей эрудицией и силой характера. Другие друзья, вспоминая те годы, в один голос утверждают, что Веселов, побывавший в боях и еще не расставшийся с гимнастеркой, оказывал огромное влияние на Довлатова, изображая из себя супермена, которому положено подражать. Сергей на его фоне смотрелся робким и неумелым учеником. Впрочем, умение прикинуться в трудные минуты «валенком» и неумехой — гениальная находка Довлатова, главный его «сюжетный ход», который он и изобрел, может быть, под давлением того же Веселова. Потом он стал уже подсмеиваться над старшим товарищем: «Сейчас Слава Веселов переписывает “Анну Каренину”. У него с этим произведением особые счеты». Затем Веселов как-то «сошел с дистанции» — слишком уж бурно начал. Началась «ломка голоса», «ведущий» стал как-то комплексовать перед своими «ведомыми», чуя в них нутром что-то такое, чего не было у него. Потом он «щегольнул» каким-то странно размашистым, «Достоевским» поступком — ушел из-под венца, отменил брак с дочерью крупного ленинградского начальника (к тому же очень симпатичной девушкой), сломал предстоящую успешную карьеру и вернулся в свой Курган. Потом он еще раз активно проявился в судьбе Довлатова… но в «святцы» самых близких друзей не попал, и в объемистом томе воспоминаний «Малоизвестный Довлатов» Веселова нет. Как говорится, «с глаз долой — из сердца вон».

Но в Кургане, как и в других местах, где побывал Довлатов (как, впрочем, и в тех, где он никогда не бывал), живут страстные почитатели Довлатова — они же и справедливые ценители и хранители памяти Веселова. Одна из них, Анна Вержблович, прислала мне местную газету, где в рубрике «КИК» («Курган и курганцы») от 16 сентября 1995 года напечатаны весьма

примечательные воспоминания Веселова о первых шагах Довлатова-писателя:

«Он отличался смелостью и безоглядностью, касалось ли это литературы или друзей. Суждения его казались размашистыми, они были не в традициях питерского воспитания с его сухим политесом. Впрочем, часто он бывал сдержан, подчеркнуто вежлив, с некоторыми старыми знакомыми так и не перешел на “ты”. С людьми незнакомыми был неизменно доброжелателен. Но вот он сталкивался с неискренностью, хамством, пошлостью и взрывался. Пошлость во всех ее видах он не переносил. С глупостью, скажем, Сергей легко мирился, порой находил ее очаровательной. Но пошлость его убивала, он кривил рот, менялся в лине. Потухал. Он страдал. Не от этого ли ощутимый привкус горечи во многих его вещах? Случалось, этот большой и шумный человек выглядел беззащитным — слабая, виноватая улыбка, гуляющий, растерянный взгляд… Гардеробный его облик студенческой поры я помню плохо: какая-то вязаная вроде бы фуфайка, "вольные брюки типа штаны”, стоптанные, но явно иностранные башмаки… Словом, одет он был небрежно, хотя толк в одежде знал. Как-то в полдень он поймал меня на Невском, глаза его горели: в комиссионном продавался арабский свитер (его размер!) красивый, чистая шерсть!»

Далее Веселов рассказывает драматическую историю… Сюжеты уже вязались к Довлатову — или он, с его бурным темпераментом, сам их создавал? В тот день он вдруг страстно захотел купить свитер в комиссионном. Они пришли занимать деньги к знакомому фарцовщику — и тот, зевая, небрежно вытащил из кармана халата комок денег: «Сколько тебе?» Довлатов деньги взял — но, уже выйдя, возмутился. Бывает так называемое «остроумие на лестнице», но в данном случае была продемонстрирована «лестничная совестливость».

«…Мы сбежали по лестнице. Сергей держал деньги в руке. Казалось, они жгут ему руку.

— У него халат набит деньгами, понимаешь? — спросил он свистящим шепотом — Моя мать слепнет за такие деньги. На… видел я этот свитер!

Минут через двадцать мы уже сидели в шашлычной на Садовой, и радушный официант нес нам графинчик и дымящийся чанахи».

Весьма характерная для Довлатова (и его героев) развязка мучительных моральных проблем. Не просто очередная острая ситуация, перешедшая, по нашему обычаю, в спасительно-губительный загул, а еще и модель будущих рассказов. Мол, моральных проблем мы не отрицаем, но решаем их по-нашему,

по-довлатовски. «Компромиссом». Деньги в лицо негодяю не бросим, но зато — возмущенно пропьем. Правильно говорят, что в моральной снисходительности — главное обаяние довлатовской прозы.

Но тогда высокомерный Веселов относился к довлатовским опытам весьма снисходительно. Еще бы — в те годы на нас обрушились все шедевры мировой литературы, от Кафки до Булгакова, а тут просто приятель, с которым вместе пьешь!

«В ту пору Сергей писал так: “Прошлой зимой, будучи холодно и не располагая вигоньевых кальсон и ушанки, я отморозил пальцы ног и уши головы”.

Баловался Сергей и стихами. Один из его шедевров мне запомнился:

Хоть она и неказистая.
Зато ходит на танцы
В клуб имени Козицкого.

Я встречал Сергея и уже знал, что обречен смеяться. Дело даже не в его остротах, многие из которых вошли в студенческий фольклор. Этот симпатичный двухметровый верзила провоцировал жизнь, и будничная или даже тягостная ситуация внезапно разрешалась смехом.

Наша жизнь была молодой, пестрой, веселой, трагичной, живой — всякой. Но всепоглощающей любовью Сергея, всепоглощающей страстью его была литература. Не презрительная разборчивость эстета, не снисходительность академического всезнайки, а именно страсть, цепкость мастерового, все лучшее пускающего в дело.

Тогда мы с молодым снобизмом отвергали недавно изданные книги, читали труды ОПОЯЗа, книжки давно исчезнувших издательств на оберточной бумаге. У меня была "Виза времени” Илья Эренбурга 1931 года.

— Эренбург? — удивился Сергей. — Прочти что-нибудь.

— “Копенгаген — последний аванпост того Севера, который начинается с мхов и лопарей и для которого благородство так же естественно, как длинные ноги и голубые глаза”.

Всё. Об Эренбурге мы больше не говорили. Вообще ни разу за два десятка лет знакомства.

И вот через тридцать лет в довлатовском “ Ремесле” я с изумлением читаю: “Без труда и усилий далась Ленинграду осанка столицы. Вода и камень определили его горизонтальную помпезную стилистику. Благородство здесь так же обычно, как нездоровый цвет лица, долги и вечная самоирония”. Сергей

помнил все прочитанное или услышанное.

…Следуя рекомендациям Хемингуэя, мы прочитали лучшие рассказы Стивена Крейна. Начало “Голубого отеля” Сергей знал наизусть. “Отель “Палас” в форте Ромпер был светло-голубой окраски, точь-в-точь как ноги у голубой цапли, которые выдают ее всюду, где бы она ни пряталась”.

Много лет спустя читаю в "Филиале”: “Затем мы побывали в форте Ромпер… ” Не исключено, что так оно было. Но Довлатов вполне мог сочинить это посещение, вспоминая “Ромпер” своей юности.

Он хранил все, как рачительный хозяин, знающий, что в хозяйстве все сгодится. В творчестве, я думаю, такая скаредность простительна.

…Есть хорошие литераторы, равнодушные к живописи или безразличные к музыке. Но это скорее исключение, чем правило. О таких всегда говорят с изумлением, как об отступниках, нарушителях закона».

В самом деле, талантливый человек талантлив во всем. Литературная одаренность Довлатова была проявлением его общей широкой одаренности. Как-то при очередном расставании он достал из портфеля и тут же подписал мне свою детскую акварель. Она не была детской — автор знал секреты размывки, игры пятен и чистой бумаги. Я видел его рисунки — легкая, точная рука. Неожиданно он занялся резьбой, и отнюдь не как любитель. Сергей знал цену своим поделкам, берег их. В шкафу за стеклом стояли портреты его друзей, первой жены, его самого. Порой он начинал насвистывать джазовую тему, перевирая ее, но тут же украшая собственными вариациями.

Он любил джаз, любил в нем то, что составляет сокровенную его сущность — творчество в открытую. Он и в общении был джазистом: слушал застолье, видел в нем собеседника, соперника… Если он ощущал в компании или в человеке эту энергетику, он заводился. Вспыхивал. Если этого “манка”, как говорят актеры, не было, он мгновенно замыкался, скучнел… О чем говорить?

…Я долго не понимал, почему его оставляют равнодушным замечательные пейзажи, зрелища или рассказы о невероятных событиях. Почему он мрачнеет, замыкается в себе? Это была досада художника: все сделано, добавить нечего.

…Он и шага бы не сделал, чтобы увидеть нечто диковинное. Был равнодушен к затейливым историям, которые уже не нуждались в рассказчике. Он писал о прозе жизни. Повседневность предстает в довлатовских книгах как что-то захватывающее, веселое и трагичное одновременно. Это и есть

любовь к жизни, а не вера в ее посулы и жадность до утех».

…Вы, конечно, помните, начало «Конька-Горбунка»:

У старинушки три сына:
Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак.

Вот как раз о среднем, то есть нормальном сыне, и рассказывал Довлатов. В его книгах нет героических персонажей, «положительно прекрасной личности», но нет и отъявленных мерзавцев. «Только пошляки боятся середины, — писал Довлатов в «Ремесле». — Чаще всего именно на этой территории происходит самое главное».

Никаких там тебе полетов в космос и марш-бросков на целину — хотя такие варианты тогда всячески приветствовались… Но это не про нас. Дело, безусловно, великое… но — не наш жанр! Не то, что мы были яростно против завоевания космоса и целины, успехи нашей страны нас радовали, но писать об этом… Никак! Не наше это. И нестыковка тут более всего стилистическая. Как правильно говорил Бродский — «у меня расхождения с советской властью лишь эстетические». То, что значится великим, навязывает соответствующий, незаблемый, «неколебаемый» стиль. А мы чувствовали себя успешными творцами лишь в рамках своего собственного стиля, который усиленно тогда создавали. Не лезло в наши ворота и многое другое: расхожее напыщенное «интеллигенство», восхищение общеизвестными «художественными ценностями». И вообще все то, что называли вечным и прекрасным, вызывало у нас легкую тошноту. Я вспоминаю лишь мою студенческую компанию… но именно такой взгляд был весьма распространен. Помню, я тогда как заклинание повторял любимое изречение Оскара Уайльда: «То, что общеизвестно, — неверно». И особенно — все так называемое «великое и прекрасное», о чем так охотно и напыщенно говорят так называемые «культурные люди». Табу! То, что великолепно само по себе, — в дело не годится. Особо наглядно я почувствовал это на примере голландских натюрмортов. Великолепная золотая ваза на картине не трогает совсем! Но когда художник передает прелести и оттенки потертого горшка — дух захватывает. Художник обязан создавать свою красоту, а не пользоваться уже открытой и существующей. Роскошь изображаемого убивает роскошь изображения. Помню, как моя смущенная редакторша заметила мне, что я выпустил уже три книги, но ни в одной из них ни разу не встречаются ни

Ленинград, ни белые ночи, ни Эрмитаж… И не потому что мне не нравилось слово «Ленинград» из-за имени Ленина в нем, но главное — это название как-то сразу же разворачивалось в ряд чудесных открыточных пейзажей. Долой! Свое рисуй!

Нелегко придерживаться своей тропки, когда и государственные, и романтические трубы зовут на «широкие дороги», там и шумно, и красиво. Но «подвигами», выходящими за рамки обычной повседневности, Довлатов не занимался. «Он бы и шага не сделал, чтобы увидеть что-то диковинное», — еще раз повторим Веселова. Он сразу сам надел на себя эту узду. «Определиться — значит, сузиться». Значит — найти свою работу. Работа Довлатова в том, чтобы показать диковинность текучей, массовой жизни, замысловатость вроде бы ничем не примечательного «среднего сына». А кидаться «к вершинам духа» — стоит ли? Может оказаться, что все известные вершины уже заняты.

Придирчивый, хоть и дружественный критик Довлатова Андрей Арьев писал: «В крайности Сергей впадал постоянно — но безусловную содержательность признавал лишь за расхожими (то есть обычными) прелестями бытия». Никаких тебе Данко, вырывающих из груди сердце и освещающих людям путь! Такой жест в годы молодости Довлатова вызвал бы у большинства лишь усмешку — не тот был настрой. По Довлатову, только обычная жизнь обыкновенного городского горемыки представляется заслуживающей писательского внимания. Лишь самые заурядные типы присутствуют в рассказах Довлатова — и под его рукой переливаются алмазными гранями. «Определиться — значит, сузиться». И Довлатов сделал это более дисциплинированно, чем остальные.

Он избегал культурных мероприятий, активно не любил театр и, даже принимая Арьева в Нью-Йорке, водил его всюду, но отказывался ходить в музеи и театры. Общеизвестные гениальные творения оставляли его равнодушными (если не раздражали). Зачем тратить на это время и силы, когда столько работы своей, той, которую можешь сделать только ты? И не надо представлять его универсальным гением, щедро распыляющим свой талант во все стороны. Четкий отбор, железная дисциплина вкуса. По-настоящему его интересовало лишь то, из чего можно сделать литературу, причем не абы какую, а исключительно довлатовскую. Ко всему остальному он был, в общем-то, равнодушен. И это внушает огромное уважение: в столь юные годы так четко ограничить и прочертить свой путь!

«Недурная компания» Довлатова тем временем успешно и, я бы сказал, расчетливо пополнялась:

«Знакомство с молодыми ленинградскими поэтами Рейном, Найманом, Бродским».

Вспоминает Евгений Рейн:

«Мы жили по соседству, через дом. Мой 19, его 23 по улице Рубинштейна. Сережа приходил ко мне почти ежеутренне, он выходил гулять с фокстерьером Глашей, добывал две-три бутылки пива и появлялся в моей комнате. При этом Глашу он неизменно нес под мышкой. Через тетку — Мару Довлатову, одного из лучших литературных редакторов Ленинграда, — Сережина семья была связана с литературой очень основательно. Я сразу же обратил внимание на очень высокий профессиональный уровень его рассказов. Сюжет проводился изобретательно и расчетливо. Характеры обозначались ясно и ярко, реплики стояли на точных местах, были доведены до афоризма, гротеска, пародии».

Для юного автора оказаться в компании Рейна, Наймана, Бродского — все равно что начинающему экономисту задружиться сразу с Марксом, Энгельсом и Рокфеллером. Удачнее и быть не могло.

Громогласный, величественный, уже тогда похожий на памятник себе Женя Рейн! Оказаться рядом с ним значило (не говоря уже об уроках литературы) научиться держать себя гордо, весомо, выделяться в толпе. Урокам величия, преподаваемым Рейном, внимал и я. Помню, как я впервые оказался в его доме — на читке, как передавалось из уст в уста, новой его поэмы. Почти никого из присутствующих там я еще не знал, а если слышал о ком, то только как о небожителе. И глаза поднимать боялся: если вдруг встречусь взглядом с кем-то из великих, как вести себя, что говорить? Опозорюсь навеки! Поэтому больше всего мне запомнился из того вечера паркет — старинный, фигурный, ярко начищенный, блестящий — им в основном я и любовался. Иногда в поле моего зрения попадали ярко начищенные черные ботинки Рейна, восседающего посреди комнаты. но, увидев их, я тут же испуганно отводил взгляд: достоин ли?

И вот — гости собрались, и началось чтение поэмы. Строки ее были весомы и значительны — но вникать в смысл я боялся так же, как смотреть на ботинки Рейна: куда уж мне? Помню лишь, что речь шла о съезде гостей на какую-то дачу, в сочельник. Слово это, как и остальные, было из другой, несоветской жизни, и я точно еще не знал его значения — похоже, оно из жизни дореволюционной? Смело! Подругам деталям поэмы — больше смахивало на нынешнюю жизнь… но все же необыкновенную. Вот какая, оказывается, сохранилась еще у нас аристократия на отдельных дачах! — это и был главный смысл поэмы, как я понял ее. Это все усвоили сразу и понимающе кивали. Притом стихи

Рейна, когда я смог в спокойной обстановке прочесть их, оказались действительно замечательны — но в те минуты я напряженно думал о главном: как себя держать, как реагировать, чтобы не опозориться. Один раз, осмелев, я даже поднял голову и встретился с взглядом одного из слушателей (слушательниц?). Я восхищенно прикрыл глаза (мол, потрясающе!) — и после этого смотрел только на паркет: все же я как-то обозначил свое присутствие, хватит для начала. И тут, потеряв бдительность, я чуть не опозорился… что бы тогда было с моей литературной судьбой, да и вообще с жизнью?

Рейн, повышая напряг, гудел: «Он ее аукнул… и башмак! С его ноги спадая, стукнул!»

Тишина. Никто не смел не то чтобы сказать… стулом скрипнуть. И тут вдруг раздался стук — в наступившей тишине этот лист именно «стукнул». Я увидел листок роскошной белой бумаги (видимо, прочитанный Рейном), который выпал из его рук и, будучи согнут вдвое, стукнул по паркету и так шалашиком и встал. Мастер уронил лист! В первом страстном порыве я чуть было не рухнул со стула на колени, чтобы поднять выпавший из обессилевших рук мастера лист великолепной этой рукописи и вернуть хозяину. Уже совсем свесился со стула вперед головой, собираясь грохнуться, но все же что-то мелькнуло в моем мозгу, тем более боковым зрением я уловил, что кроме меня никто нырять за этим листом не собирается… Тут что-то не то! Крутанув головой, я как-то умудрился выйти из штопора и на стуле усидеть. Что меня и спасло, и вскоре я вздохнул с облегчением — Рейн, снова поднимая голос к концу страницы, вдруг резко смолк — и второй лист грохнулся рядом с первым. Вот оно что! Это же он специально кидает! Точней — отдав всего себя художественной выразительности, бессильно роняет лист из рук. И хорош был бы я, бросившись поднимать: пафос сменился бы хохотом, чего Рейн никогда бы мне не простил. Испортил бы песню, дурак!

К концу поэмы Рейн весь пол закидал этими жесткими, стоящими коробом белыми листами и, не дождавшись бурных аплодисментов, которые грохнули чуть позже, скрипя прекрасными своими ботинками (он всегда великолепно разбирался в обуви), вышел из комнаты, не глядя ни на кого. И даже наступая на некоторые листы и давя их — в духе своей жестокой поэмы. Да, школу Рейна необходимо было пройти.

Кроме того, Рейн был известен как мастер псевдоисторических, невероятных, гомерически смешных, а порой ужасных историй из жизни знаменитостей — Горького, Толстого. Евтушенко… Вспоминаю знаменитую байку Рейна о Горьком.

Откуда он взял эти факты? Неужели все сочинил?

«В голодные двадцатые годы два нищих петербургских поэта, кажется, Пяст и Чулков, пошли к великому Горькому (тогда он жил в Петрограде, на Кронверкском проспекте). Горький встретил их сурово — дальше двери не пустил:

— НичегО нет! Сам От гОлОда Опухаю! — за-окал Горький. — ЖОна Опухает!

— Побойтесь бога! — воскликнул Чулков — Вы же получаете спецпаек!

— Бога нету! — мрачно изрек Горький и закрыл дверь.

Покачиваясь от голода, они шли обратно через парк. Шумели деревья, каркали вороны. И вдруг с неба упал на поэтов целый круг пахучей колбасы! Они рухнули на колени и стали восхвалять милость Творца.

Съев колбасу и слегка обнаглев, поэты вернулись к Горькому, позвонили в дверь.

— Вот вы говорите, что Бога нет. А он только что совершил великую милость — накормил нас. Сбросил с неба колбасу.

Горький помрачнел:

— ПрОклятые вОрОны! Всю кОлбасу с балкОна растащили!»

Попасть под прищуренный взгляд Рейна, создателя современных мифов, было очень важно. И Сергей попал, сумел войти в этот пантеон — на память осталась книга Рейна «Мне скучно без Довлатова»… Ему, видите ли, скучно! Великолепная гримаса, великолепная поза!.. Где Рейн — там величие. И даже — рядом с ним.

Так же блистателен, хотя и более язвителен, Анатолий Найман. Хотя они тогда еще и крепко дружили с Рейном, но внешне были решительно противоположны. Рейн огромный, сутулый, губастый, с вечно растрепанными бровями и чувствами. Найман — маленький, изящный, очень красивый, с насмешливыми бархатными глазами, всегда собранный и готовый нанести короткий, но чувствительный укол.

Помню, когда меня приняли в замечательное литературное объединение при издательстве «Советский писатель» (лучше этого объединения в жизни не помню ничего: в одной комнате сидели Конецкий, Голявкин, Битов), там зачем-то на одно мгновение (мгновение укола) появился блистательный Найман, поздоровался с Битовым, потом глянул на меня — мы еще не были тогда знакомы, — и спросил Битова (но так, чтобы слышал я): «Андрей! А зачем тебе двойник?» И вышел. Тогда мы действительно внешне были похожи с Битовым — издалека.

Найман язвительно прочил Довлатову статус «прогрессивного молодого писателя» — тот с уже разработанной системой

несчастий и провалов сумел этого избежать. Устоять под острым взглядом Наймана, уцелеть после укола его было непросто… но через это надо было пройти. Так же, как через «школу Рейна». Тот, кто не попал им на глаза и не получил их оценки (пускай даже язвительной), потом «в списках не значились». Отбор был строгий, но правильный. Все, кто тогда его прошли, — в литературе остались. Найман и Рейн жестоки не были и, полюбив тебя, делились своими щедростями, дружили и помогали, как считали нужным.

Найман тоже был автором литературной жизни, как и Рейн, — даже больше автором жизни, чем литературы. Знамениты его блистательные истории из жизни богемы… Тогда все ведущие «кандидаты в гении» имели шикарный «ход» — высшие литературные курсы в Москве: прорыв в привластные круги, в журналы, при желании возможность остаться в столице. Эти курсы, как великолепный трамплин, использовали и Найман, и Рейн, и Битов — и потом остались в Москве…

Так вот — анекдот! В начале занятий на курсах Найман жил в общежитии, кажется, с нанайцем.

Тот куда-то собирается. Толя спрашивает: «Ты куда?» — «В булочную — хочу батон купить!» — «Слушай — купи и мне, пожалуйста, батон». Вскоре тот возвращается. Один батон грязный. Он протягивает его Толе и говорит: «Слушай! Твой батон в грязь упал!»

И таких истории были десятки — наша тогдашняя жизнь была полна веселья и игры. И престижней литературной карьеры ничего не было — вот почему в нее ринулось столько блистательного народа и был такой блестящий результат!

В шестидесятые годы вдруг как-то все, кто пытался создавать новую литературу, оказались в одной компании, поскольку и жили все неподалеку. Довлатов от Бродского — пять минут по Литейному, Уфлянд от Бродского — две минуты от улицы Петра Лаврова до дома Мурузи на Пестеля, причем Уфлянд учился в школе 182, как раз напротив окон Бродского. В этой же школе учился до седьмого класса и я. Довлатов и Рейн жили на одной улице. Глеб Горбовский жил у самого Невского, на Пушкинской улице. Созвониться и встретиться — десять минут. Счастливое время и счастливое место. Мне кажется, такой компании в Питере дол го не было ни до, ни после.

Много говорить о Бродском здесь бессмысленно — о нем написана уже целая гора литературы, в частности прекрасная книга Льва Лосева в серии ЖЗЛ. Могу лишь добавить некоторые впечатления о Бродском тех лет. Судьба свела нас на некоторое время в одной школе на Моховой улице, как раз напротив

журнала «Звезда». Конечно, я бы не вспомнил его — школьника, если бы в шестидесятые годы он не стал так известен и знаменит. И я вдруг вспомнил — солнечный угол школьного коридора, и рыжий веснушчатый мальчик что-то весело, слегка картаво, кричит, бурно жестикулируя.

Потом я увидел его уже в славе. Бродский был тогда слегка невнятен, читал стихи громко, нараспев, и притом как бы смущенно-неразборчиво. Его веснушчатые щеки часто покрывались румянцем смущения, которое тут же вытеснялось высокомерием и агрессией. В его стихах (мне попалась копия на полупрозрачной оберточной бумаге) явно шевелилось что-то могучее, но обращенное не к тебе, а куда-то мимо, в какие-то горние выси. Он и сам уже пребывал там. Образ нобелевского лауреата был уже, в общем, готов. Свое место на вершине Олимпа он подчеркивал постоянно и определенно (хотя совсем уж безусловных доказательств его будущей победы пока не было). Но стоит лишь вспомнить его манеру разговаривать! Например, он хотел что-то сказать о ком-то, но при этом ну никак не мог вспомнить имя этого бедолаги! «Этот… — он мучительно морщился, щелкал пальцами. — Он еще так смешно одет… Ну?» Предполагалось, что все, кто сейчас рядом, должны услужливо кинуться к нему, стараясь угадать, о ком речь, подряд называя фамилии. Так и выходило. «Да нет же!» — Бродский отмахивался. Что за бестолковый народ — ну ни в чем нельзя положиться! «Ну этот… человек!» Когда он говорил о ком-то «человек», это было, конечно, слегка унизительно, но не совсем еще безнадежно. Чаще он говорил: «Этот… господин!», что звучало уже вполне уничижительно. А порой он произносил: «Этот… товарищ!» И тут уже было абсолютно ясно, что ниже этого «товарища» уже нет никого.

Потом те бывшие ленинградские знакомые, кто оказался с Бродским в Америке и в той или иной степени зависел от него, порой с иронией, а чаще с отчаянием отмечали его гениальность еще и в карьерных делах, его умение рассаживать людей у себя за столом «сверху вниз», по признаку их знаменитости и полезности. Рядом с ним непременно сидел бывший нобелевский лауреат, чуть ниже — будущий нобелевский лауреат, далее, по степени убывания, прочие знаменитости и влиятельные люди. Наши, считавшие себя ленинградскими корешами «Оси», вдруг неожиданно обнаруживали себя в самом дальнем конце стола, если не за его пределами. Известно, как «осадил» Ося поначалу гораздо более знаменитого, чем он, всеобщего любимца Василия Аксенова, представив его в мировых литературных кругах как второсортного писателя. Аксенов от этого удара так и не

оправился — и единственное место, выделенное на западном Олимпе для пришельца из России, прочно и навсегда занял Бродский.

Порой он похваливал кого-то, но к серьезной помощи это обычно не приводило. Я знаю лишь двух людей из ленинградской литературной компании, кого он любил нежно и постоянно, и всеми силами старался им помочь. И надо отметить, он не ошибся, выбор его был абсолютно снайперским. Первым его закадычным другом и любимым поэтом был замечательный питерец Владимир Уфлянд. Поэт абсолютно уникальный, не заунывно-трагический, как большинство знаменитостей, а жизнерадостно абсурдный, добрый и ласковый, что как бы не признается «высоколобой поэзией». Уфлянда приятно и радостно читать — такое же чувство возникало и при общении с ним. Он, безусловно, в ранге Хармса, раннего Заболоцкого, Олейникова. Веселая, принципиальная бестолковость привела его к полной безвестности. Но Бродский ценил его выше многих, искренне любил — и то и дело упоминал и старался помочь.

Вторым, кого всегда поддержи вала «длань» Бродского, — был Сережа Довлатов. Бродский отличал действительно лучших. И то, что они тогда встретились и подружились на обшарпанных ленинградских улицах, в забитых бутылками, окурками и будущими гениями богемных квартирах, сыграло в судьбе Довлатова решающую роль. Бродский помогал ему с самого начала до самого конца — и лучшей поддержки в литературном мире просто быть не могло. Так что Довлатов еще в ранней молодости выбрал себе неплохих друзей — и, главное, оказался достоин их.

Да — недурная была компания! Далеко не всем посчастливилось входить в литературную жизнь в составе столь блистательной «литературной банды»! Другое дело — быстро реализовать свои таланты не получалось никак. «Банк», который им предстояло «взять», существовал пока только в их воображении. Конечно, существовал тогда могучий Союз писателей со своими кумирами, связями, поликлиниками и неплохими издательствами… Но Довлатову туда не к кому было идти, да кстати, по большому счету, и не с чем. И самое главное — незачем! Теперь все это величие бесследно растаяло, а довлатовская компания до сих пор на самом виду. Да — компания сбилась гениальная. Теперь им оставалось совсем немного — прославиться.

«1960 год, — фиксирует Довлатов. — Новый творческий подъем. Рассказы, пошлые до крайности. Тема — одиночество. Неизменный антураж — вечеринка. Выпирающие ребра

подтекста. Несчастная любовь, окончившаяся женитьбой…»

Глава третья. Первый брак

Женитьба — это, конечно, сильный сюжет, хотя и не всегда удачный. Но надежда маячит — может быть, женитьба все прояснит, поставит на ноги, даст хоть какое-то развитие этой жизни, наполнит ее событиями? Теперь хоть что-то определенное можно будет сказать о себе: «Женился!» Потому что прежняя форма существования («учусь вроде») — тает на глазах. Может быть, женитьба — спасение? Ведь был же знаменитый литературный герой, сказавший: «Не хочу учиться — а хочу жениться!» — и этим прославившийся.

Конечно, тут я уже сочиняю за Довлатова. Но что первый его брак был насквозь литературный, сочиненный, искусственный — в этом я, хорошо зная обоих супругов, абсолютно уверен. И в том и в другом начисто отсутствовали качества, необходимые для обычной семейной жизни. Ни разу у них не мелькнуло желания обзавестись детьми или хотя бы каким-то хозяйством. Была ли страсть? Тоже почему-то сомневаюсь. Познакомившись с Асей Пекуровской в полутемных пучинах модного тогда кафе «Север», я сразу был поражен ее южной красотой, нежной матовостью кожи, сиянием огромных, умных, веселых глаз, роскошными ее формами под красным дорогим платьем. Но главное, что восхитило меня, — умная, насмешливая, дружеская, сразу как-то сближающая речь. Впрочем, я тогда тоже был неплох и уже маячил в литературных неофициальных кругах — перед кем попало Ася свое обаяние не расточала.

Довлатова рядом с ней не было (не помню — «еще» или «уже»), и мы стали с ней пересекаться, состязаясь в остроумии, в самых знаменитых тогда местах — в «Восточном», «Европейской», «Астории». Несколько раз компания вокруг нас вдруг рассеивалась, и я ее провожал до родительского дома — на Четвертой, кажется, Советской… и ни разу рядом с этой роскошной и известной женщиной не возникло у меня желания как-то приласкаться, прильнуть (хотя вообще-то такие наклонности у меня были)… или даже что-то такое нежное сказать. Понимал — сразу напорешься на насмешку. И дружески простившись с ней, бежал, помню, к одной знакомой портнихе, с которой, надо признаться, никогда не бывал в обществе, но она замечательно годилась в темноте… а для показухи — была Ася.

Мне кажется, для того же она была нужна и Довлатову.

… Были действительно судьбоносные женитьбы — к примеру, Достоевский и Анна Григорьевна, столько сделавшая для него. Но Достоевский уже был гигант — и жена подобралась вровень. И в

тюрьме он, кстати, уже посидел. А мы по молодости женились поспешно. «Побудем теперь вот под этой крышей, пока… пока не напишем что-то настоящее. Хоть к какому-то берегу притулимся». Но «берега», как правило, выбирали крутые.

Послушаем саму Асю — отрывок из мемуаров с насквозь литературным, как водится, заглавием «Когда случалось петь С.Д. и мне»:

«Будучи человеком застенчивым, с оттенком заносчивости, к концу третьего семестра в Ленинградском университете, то есть к декабрю 1959 года, я не завела ни одного знакомства, исключая, пожалуй, некий визуальный образ гиганта, идущего вверх по лестнице вестибюля университета… Вероятно, картина так засела в моем воображении, что когда я услышала вопрос, адресованный явно мне: “Девушка, вам не нужен фокстерьер честных кровей?” — и увидела Сережино участливое лицо, я охотно и поспешно откликнулась:

— Фокстерьер у меня уже есть, а вот в трех рублях сильно нуждаюсь».

Так и вижу их сейчас, какими они были тогда: красивыми, умными, азартными, самоуверенными, с неясными еще мечтами о непременно яркой судьбе. И у них — сбылось. Но у каждого по отдельности. Начался их поединок — на всю жизнь. И вы, наверное, сразу почувствовали, что фокстерьер и три рубля тут абсолютно ни при чем, главное — выигрышная поза и блестяще построенная фраза. Это «фехтование» и было их основным занятием, упражнением в совершенстве, доказательством своего превосходства перед другим. Но хорошая ли это основа для женитьбы?

«Моментально мы почувствовали себя, — пишет Ася, — уже давно знакомыми людьми, и Сережа пригласил меня к себе домой: покормить и познакомить с мамой… Как закрепить новое знакомство, уже построенное на обоюдном желании покинуть университет и в то же время сдать зачет, требующий, наоборот, присутствия в университете?»

Тут же, используя Асино знание языка, Сергей получает перевод немецкого текста и за десять минут сдает зачет, отсутствие которого могло его погубить. Так что кто из них кого больше в их жизни использовал — большой вопрос. В своей книге Ася обвиняет Сергея в корыстном использовании людей и происшествий — и ее доказательства достаточно убедительны. История их брака мучительна, противоестественна. Каждый его участник стремился к победе, самоутверждению — и значит, к поражению и унижению другого. Более неподходящих для семейного испытания людей, чем Ася с Сережей, трудно было

найти — но, несомненно, этап этот был важен и даже необходим, причем для каждого из них. При этом два таких ярких лидера уступить другому лидерство не соглашались никак. Ася была уже избалована поклонением ленинградского «бомонда» (помню постоянного ее спутника, шикарного адвоката Фиму Койсмана), а Довлатова явно не устраивала роль «пажа». Он был измучен комплексами и тщеславием (как показала жизнь, вполне обоснованным), терпеть Асино высокомерие и постоянное унижение не хотел и все, что мог делать в таком положении, — пытался унизить ее в ответ.

В изощренной борьбе друг против друга они виртуозно пользовались тем, чем сильнее всего были одарены, — талантом сочинительства, язвительно сочиняя историю их отношений так, как каждому из них было интересней.

И получается убедительно у каждого из них! Только что мы ознакомились с вполне убедительной и весьма обаятельной версией их знакомства в изложении Аси. Но по свидетельству Игоря Смирнова, самого первого университетского друга Довлатова, все происходило совершенно не так. Сергей пришел в университет, уже влюбленный в Милу Пазюк, «чьи светлые глаза и тонкие укоризненно поджатые губы (как сказано в уничижительной версии Аси) робко выглядывали из-под гигантового локтя». На самом деле они вместе учились в школе, и любовь их расцвела еще там. Вряд ли при этом он стал бы так сразу подкатываться к Асе. Впервые он как следует заметил ее на знаменитом университетском балу в Павловском дворце. Бал этот, похоже, действительно был замечательный — судя по тому, что потом он встречается в воспоминаниях сразу нескольких его участников, в том числе в повести Феди Чирскова, коллеги Довлатова и тоже замечательного прозаика, — но с еще более драматической судьбой. Все друзья уверяют, что роман Довлатова и Аси начался на этом балу — а фокстерьера и три рубля сочинила блистательная Ася, которую эта версия устроила почему-то больше.

Незаинтересованность и даже случайность их союза с Довлатовым Ася, конечно, тоже придумала. Свои действия и их последствия она прекрасно контролировала. Просто тогда не было на факультете человека, который был бы уже так любим всеми и знаменит, как Довлатов. Вспоминает преподавательница Марианна Бершадская:

«Я поднимаю голову и вижу странного человека огромного роста. Он идет мне навстречу, а перед ним все расступаются, и вокруг слышен шепот: “Довлатов! Это Довлатов!” Это “явление Довлатова народу” было зрелищем потрясающим. Ведь сколько

раз мы могли видеть: идут профессора, декан с заместителем, наконец — ректор университета — и никто не расступается. А тут! Подобное я еще раз наблюдала, пожалуй, лишь однажды: когда к нам на факультет зашел приехавший в Советский Союз Жерар Филип».

Так что случайный их союз был отнюдь не случайным. Теперь было бы хорошо, чтобы вокруг собралось «лучшее общество»:

«Как истый кавказец и жрец анклава… Сережа любил кормить гостей с избытком и по обычаю российского хлебосольства умел делиться последним куском. Раздел пищи происходил в Сережиной хореографии и при негласном (? — В. П.) участии Норы Сергеевны. Ее стараниями на плите коммунальной кухни вырастала порция солянки на сковороде, которая могла бы составить дневной рацион небольшого стрелкового подразделения, хотя и поедалась без остатка всего лишь узким кругом… чаще всего не превышающим четырех едоков. Круг Сережиных друзей стал пополняться “генералами от литературы” и продолжателями чеховской традиции: “Хорошо после обеда выпить рюмку водки и сразу другую”. Так на арену вышли Андрюша Арьев, Слава Веселов, Валера Грубин».

Уже из этого маленького отрывка из книги Аси видно, как она грациозно перетягивает центр событий к себе — мол, только тогда, когда она появилась в доме Довлатова и стала «хозяйкой салона», круг Сережиных друзей стал пополняться «генералами от литературы». Меньше чем на «генералов» Ася не соглашалась. Думаю, что свою гвардию Довлатов все же собрал сам и несколько раньше. Другое дело, что никто из них отнюдь не отказывался общаться с очаровательной Асей, с веселым добродушным взором, трогательно стриженной под мальчика… Вела она себя действительно очень просто, весело, симпатично, остроумно шутила, талантливо каламбурила.

Сам Бродский, по его воспоминаниям, тоже сыграл роль в их сближении, которое в его версии происходило так:

«Мы познакомились в квартире на пятом этаже около Финляндского вокзала. Хозяин был студентом филологического факультета ЛГУ (это мой будущий лучший друг Игорь Смирнов. — В. П.). Ныне он профессор того же факультета в маленьком немецком городке. Квартира была небольшая, но алкоголя в ней было много. Это была зима то ли 1959, то ли 1960 года, и мы осаждали тогда одну и ту же коротко стриженую, миловидную крепость, расположенную где-то на Песках. По причинам слишком диковинным, чтобы их тут перечислять, осаду эту мне пришлось скоро снять и уехать в Среднюю Азию. Вернувшись два месяца спустя, я обнаружил, что крепость пала».

* * *

Ну просто залюбуешься мемуарами великих! Как бы вскользь Иосиф сообщает, что не уехал бы он в Среднюю Азию — крепость, безусловно, была бы его. А так… Ну ладно уж! Но мало кто из писателей так гениально подготовил книгу-исследование о себе, как Довлатов. Буквально каждый этап его жизни тщательно зафиксирован им самим, «засвечен» колоритными его поступками, незабываемыми впечатлениями очевидцев, письмами самого Довлатова и письмами к нему… Мало у кого из писателей столь подробный архив. Смущает даже некоторое чрезмерное его изобилие — каждое событие вспомянуто разными свидетелями и с разных сторон.

Кроме бесценных сведений, полученных из Асиных мемуаров, впечатляет, конечно, их тон, который говорит об авторше гораздо больше, чем даже факты… Тон несколько высокомерный и как бы лишь «для посвященных», равных по рангу. Даже на компанию вокруг Довлатова она смотрит снисходительно: первой, на голову выше всех прочих, должна быть она.

Ася сообщает, например, о публичном провале Бродского, который случился, конечно же, из-за ревности Довлатова:

«Соотнесясь с той же памятью, могу продолжить, что Сережа впервые встретился с Осей в собственном доме на Рубинштейна, куда Ося был приглашен на свое первое и, как мне кажется, единственное в Сережином доме авторское чтение стихов. Их встреча закончилась обоюдной неприязнью, хотя у каждого были на то особые причины. Ося, тогда немного в меня влюбленный, усмотрел в Сереже недостойного соперника, особенно после того, как опознал в нем типа, ранее примеченного в моем обществе в состоянии, как он тогда выразился, “склещенности". Сережа же занял снобистскую позицию, разделенную всеми другими участниками этого вечера, включая меня, согласно которой Осе было отказано в поэтическом даровании.

Дело было так. К приходу гостей были выставлены угощения, увенчанные горой из грецких орехов, которая и оказалась тем даром данайцев, роковым образом сказавшимся на памяти Оси и Сережи. Когда Ося, встав у рояля, готовился озвучить комнату (?! — В. П.) раскатами будущего громовержца, аудитория уже направляла осторожные взоры в том запретном направлении, где возвышался ореховый контур. Когда пространство комнаты оказалось до удушья заполненным переносными рифмами, извергаемыми самим создателем, аудитория, оставив ему будущие лавры нобелевского лауреата, сплотилась вокруг стола, приобщившись к орехам сначала робко, а затем со все

возрастающей сноровкой. Закончив “Шествие”, только что написанное им вдогонку цветаевскому “Крысолову”, и не взглянув на угощение, от которого к тому моменту осталось жалкое подобие (?! — В. П.), Ося направился к двери, предварительно сделав заявление представшей перед ним книжной полке: “Прошу всех запомнить, что сегодня вы освистали гения!” Не исключено, что если бы это первое знакомство не началось так бесславно для освистанного Иосифа и так неосмотрительно для освиставшего Иосифа Сережи, их версии первого знакомства могли бы совпасть, разумеется, если исключить такую возможность, что их обоих могла подвести память».

Высокомерие Аси изумляет. Мол, да — мелковатый вокруг собрался народец! Лучший поэт нашего поколения, и, пожалуй, лучший прозаик, но сказать о них интересного абсолютно нечего — разве только вспомнить историю их столкновения из-за нее.

Известно, что отношения Бродского и Довлатова были весьма уважительны и плодотворны. Но, по версии Аси, главное в этих отношениях — борьба за нее.

Трудно, конечно, построить здоровую семью с таким характером, как у Аси. Впрочем — любовь, говорят, бывает зла. Единственное, что можно точно сказать, — что Довлатов, всю жизнь стремившийся к ясности и чистоте стиля, не смог бы долго терпеть рядом с собой женщину, пишущую так топорно-витиевато:

«С едой и вокруг нее был связан разговор, который тек то в ключе футуристическом… то на фасон Хармса… то к Кафке и Прусту, которых то возносили на Олимп, то сбрасывали с Олимпа, при этом следуя главным образом колебаниям маятника Фуко или просто измерителей степени алкогольного погружения…»

Стиль тяжеловатый и довольно нескладный для «законодательницы высокого вкуса». Сперва снисходительно похвалив довлатовскую компанию, она тут же, через несколько страниц, вдруг резко «опускает» ее: мол, с утра до вечера бессмысленно сотрясают воздух, перемывают кости классикам, ничего толком не делая. Но, конечно же, в этих бесконечных разговорах и варилась новая литература. Как же было можно тогда не обсуждать свалившихся на нас как будто с неба, до этого почти неизвестных Пруста и Кафку, Бабеля и Платонова, Олешу и Булгакова? Разумеется, без этой роскоши, без этого счастья не расцвела бы и литература шестидесятых. Открылся прежде тайный мир — и было теперь кому подражать и с кем пытаться соревноваться! Нашему поколению необыкновенно повезло —

другим судьба не делала уже таких щедрых подарков. Прежнее литературное поколение практически не знало этих гениев, «объявленных небывшими» советской властью, а следующее за нами уже относилось ко всему, как к данности, а не как к открытию — и это касалось не только литературы, но и других восторгов жизни, которые щедро открылись нам, а потом потускнели и выцвели.

А мы, конечно же, чуть выпив, говорили не о политике (чего о ней говорить-то, хоть тогда, хоть сейчас?) и даже не о девушках (чего тут говорить — надо действовать) — мы с утра до вечера говорили о литературе. И когда сейчас высокое начальство мается — куда же вдруг задевалась культура? — ответ прост: перестали говорить о главном, то есть о книгах… важнее этого для духовности общества нет ничего, и никакой рекламой это не заменишь.

Не были студенты той поры и учеными сухарями, глотавшими книжную пыль… Глотали мы и кое-что еще. На долю нашего поколения выпало первое цветение жизни после сталинской зимы. Появилось вдруг огромное количество элегантных, интеллигентных, небедных людей, возникло вдруг светское общество. Помню роскошные залы лучших городских ресторанов, в которых тогда мы сразу стали своими… Взгляд движется по столикам, и почти за каждым кто-то знакомый машет тебе рукой, а если не знакомый, то симпатичный, близкий, наш!

Мы с обычной стипендией в кошельке могли посещать лучшие городские кабаки — и официанты нас любили, почитали и давали в долг. В этих «храмах роскоши» были вполне приемлемые для нас цены. Очень важно для дальнейшего успеха жизни — в самом начале почувствовать себя принадлежащим к высшему свету, который тогда, несомненно, был. В эти неповторимые годы уже пробудившаяся свобода духа счастливо сочеталась с благоприятной для нас тоталитарной жесткостью иен, и мы могли свободу не только почувствовать, но и отпраздновать. Может быть, потому наше поколение и выросло таким уверенным и даже нахальным, что привычки наши складывались не в подворотнях, как у тех, кто постарше, и не в подвалах, как у последующего за нами «андеграунда», а в лучших местах города, где мы чувствовали себя вполне уверенно.

«Астория» и «Европейская», не говоря уже о более скромных заведениях — «Крыше» и «Восточном», — были постоянным местом наших встреч, как задуманных, так и случайных.

Ася вспоминает:

«В круг друзей, связанных встречами в "Восточном", входили Сережа Вольф, Андрей Битов, Володя Марамзин. Володя

Герасимов, Миша Беломлинский, его жена Вика, Ковенчуки, Глеб Горбовский, а также всегда элегантный, всегда женатый на ком-то новом и загадочном, любимец прекрасного пола и его же покоритель, ученый-физик Миша Петров».

До сих пор стоит перед глазами тот зал, чуть затуманенный сладким дымом от шашлыков, проникающим с кухни. С той поры я не видел более красивых, элегантных людей. Сейчас, в эпоху торжества рынка и прорыва к нам лучших мировых брендов, все одеты как-то кургузо и потерто (хитрости моды, втюхивающей задорого дешевку) — а элегантно одевались только тогда. Какие костюмы, галстуки, пиджаки! Сейчас все это заменено мешковатыми свитерами и джинсами. А тогда! Радостно было смотреть на элегантного кудрявого, румяного, беззаботного — и уже знаменитого Мишу Беломлинского. Их постоянные веселые перешучивания с другом и тоже знаменитым художником Гагой Ковенчуком, составляли радость всей компании: «Послушай, ты, говорящая ветчина!» И то были вовсе не светские бездельники. Их талантливые, и главное, сразу узнаваемые рисунки (не то что нынешние безликие компьютерные поделки!) занимали все, что тогда печаталось — детские и взрослые книги, газеты, журналы, — и как это было талантливо, весело, как поднимало дух! И притом все это делалось как-то легко, беззаботно, играючи. Рядом были их жены, роскошные, красивые и тоже талантливые: Жанна Ковенчук, совершенство в слегка азиатском стиле, и Вика Беломлинская — южная красавица с уклоном на Кавказ.

За соседним столом — тоже мощные, красивые, уверенные и тоже, разумеется, с красавицами — знаменитые режиссеры Венгеров, Шредель и Менакер, вкусно выпивая и закусывая, беседовали о своих киношных (тогда весьма успешных) делах. А чуть дальше — богатый художник Желобинский в неизменном белом жилете, с известной «светской львицей» Ирой Бергункер… Тогда были не просто красавицы — каждая была «в единственном экземпляре». Это не нынешний «конвейер звезд»; каждая знаменитая красавица была знаменита не просто красотой, но умом и характером. То было «штучное» время. И чувствовать себя здесь своим… или хотя бы участвующим, причастным к этой жизни — нет лучшего старта для молодого человека!

Над блюдом роскошного сациви, за бутылкой сухого и разговоры велись роскошные — о Бабеле, Олеше, Платонове, Вагинове, Замятине! Не было лучше тех лет. И Довлатов успел вкусить этого счастья, получил нужную закваску.

Вспоминая Довлатова той поры. Ася демонстрирует немалую проницательность: четко отмечает хищные склонности Довлатова, его умение завербовать в свои сторонники даже

классиков (Достоевский — местами очень смешной писатель, читай — почти как Довлатов!), его постоянную «охоту за пользой», умение повернуть любое событие выигрышной для него стороной, через некоторое время пересказать чужую историю, как свою, с мгновенной ловкостью «наперсточника» переместить «шарик», то есть — самое ценное слово, эпизод и даже сам смысл рассказа в нужную плоскость.

При всей негативности Асиных оценок нужно сказать, что это, пожалуй, одно из самых первых и точных наблюдений постоянной, тайной и скрупулезной довлатовской работы. В книге своей она живописует возмутительные истории, с помощью которых Довлатов пытался «соорудить сюжет», «выбить» из своей «прекрасной дамы» хотя бы каплю обычных человеческих чувств — сочувствия, сострадания, не говоря уже о любви! Ася рассказывает, как ее заманили в пригород, где лежал якобы избитый Сергей, но бинты его оказались декорацией, а синяки — гримом.

История эта, если она хотя бы отчасти подлинная, рисует Довлатова весьма невыигрышно. Но при его темпераменте, амбициях и комплексах историю эту можно объяснить как отчаянную попытку внести что-то человеческое в их отношения. Действительно — вытащить из Аси доброе, а уж тем более сочувственное слово было невозможно никакими клещами. Ася придерживалась другой стилистики. Целый ворох блистательных насмешек — пожалуйста, но человеческое слово… ни за что!

Довлатов, конечно, тоже поэкспериментировал с ней, отрабатывая свои сюжеты, не всегда удачные, исследуя реакции на различные стрессы и непредвиденные ситуации.

Ася тоже была не железная, хотя старалась такой казаться, и жаловалась своей университетской подруге на то, что Довлатов ведет себя непредсказуемо, а порой и возмутительно — например, вдруг оставляет ее со своими весьма сомнительными собутыльниками где-то в тьмутаракани, а сам исчезает… или вдруг приходит на ночь глядя с красоткой, вроде бы иностранной переводчицей, и они чуть ли не собираются ложиться спать. Может быть, такой «встряской» он пытался-таки выбить из Аси эмоциональную реакцию и, чем черт не шутит, даже светлую женскую слезу? Не на такую напал!

Все, что они, как высокоинтеллектуальные люди, могли позволить себе — это выяснение стилистических тонкостей: «Скажи, пожалуйста, вот ты сказала вчера… объясни, пожалуйста — это следует понимать в смысле таком — или противоположном?» Ответ должен был изощрен и язвителен, и рассматривать, как минимум, две версии, и каждая потом

разбивалась на три альтернативных… и все шесть виртуозно опровергались! И не дай бог — мелькнет что-то простое и грубое! Фи! Не семейная жизнь — а непрестанная «работа над текстом» — что, конечно, было чрезвычайно важно для обоих. Прямо-таки гимназия с литературным уклоном! Притом Ася явно считала себя первой ученицей, а Довлатова двоечником. Поглядим хотя бы, как выспренно она назвала одну из глав своих мемуаров: «Апокалипсическое пустынножительство»! Да — это была школа. Но не семья.

Кстати, именно в этой главе со столь трудным названием Ася как раз рассказывает об их ни с чем несравнимой попытке создать семью… хотя, конечно, и здесь не столько делится переживаниями (хотя, наверно, они были), сколько демонстрирует совершенства своего стиля — и облика:

«Сережа сделал две попытки на мне жениться…»

Дальше, увы, идут две страницы изысканных словесных упражнений с легкими стилистическими погрешностями, которые, увы, придется опустить (как упражнения, так и погрешности). Вот — суть. История их запоздалой (когда и смысла-то уже не было) женитьбы излагается Асей в крайне невыигрышной для Довлатова версии — да и для нее выигрышной не слишком. Характерная их особенность — и Сережи, и Аси, — ради красного словца не жалеть не только близких, но и себя. Ася согласна была даже себя выставить в невыигрышном свете, лишь бы еще глубже утопить соперника в интеллектуальном поединке.

Она рассказывает о серии каких то таинственных свиданий с друзьями Довлатова, которые требовали от нее выйти за Сергея замуж, угрожая его самоубийством или даже уходом в армию. Довлатов тоже был не железный, и может, надеялся хотя бы после женитьбы зажить по-человечески, с нормальными отношениями. Может быть, он в отчаянии думал, что Ася держится так независимо и дерзко лишь потому, что не оформлен их брак? Или это для изощренного Довлатова выглядело слишком просто, и он проводил очередной сюжетный эксперимент?

Совсем уже невероятным (но таков уж был накал их отношений) выглядит история с винтовкой, когда Довлатов закрыл Асю в комнате и произнес, видимо, заранее заготовленную и отточенную фразу: «Самоубийства от тебя не дождешься — но в эпизоде убийства ты незаменима», и выстрелил — правда, мимо.

Ася скрупулезно, мастерски и как бы с абсолютным профессиональным хладнокровием прослеживает расчетливое и циничное использование всех этих «безумств» Довлатова в

дальнейшей его работе над «Филиалом» и даже «Зоной». Мысль ее прихотливо-изысканна, но понятна: все главное и ценное, что сделал Довлатов, зарождалось при ней, при ее участии и даже под ее «художественным руководством».

Но кроме литературного соперничества было, увы, и другое. Вспоминает близкая Асина подруга Лариса Кондратьева:

«Мне кажется, Сережа не был ее единственной любовью. Я наблюдала и хорошие ее отношения и к другим молодым людям. К Алику Римскому-Корсакову, например. Может быть, после долгой жизни с родителями в коммунальной квартире ей очень уж хотелось узнать что-то другое, из темного коридора выйти на свет. Возможно, красивым женщинам вообще присуще желание новых побед. Я не знаю, в чем было дело».

А я знаю. Кроме плеяды будущих гениев литературы, выглядевших тогда весьма обшарпанно и неказисто (вспомним хоть заикание Бродского, а заодно и вспыхивавший то и дело на его щеках мучительный румянец), были тогда в Ленинграде юноши, глядевшиеся гораздо более выигрышно. И речь идет не об успешных адвокатах и уж тем более «комиссионщиках» — Ася не ставила их в первый ряд. Фима Койсман, преуспевающий, богатый и дерзкий, робел перед Асей и был, в сущности, ее пажом.

Элитой общества тогда, несомненно, были физики. И главное — какие! Все блистательные медалисты, спортсмены и красавцы, не колеблясь, несли свои медали в Политех или, в крайнем случае, в ЛЭТИ — Ленинградский электротехнический институт. Университет тогда отнюдь не сулил успеха в жизни. В почете, как верно заметил поэт Слуцкий, были физики. И какая блистательная плеяда умников, красавцев, пижонов образовалась из лучших выпускников лучших вузов в лучшем научном институте города — Физтехе имени академика Иоффе. Печать успеха лежала на них — и в науке, и в спорте, и в светском обществе. Вспоминаю их, блиставших на научных семинарах знаниями и талантами, а в остальных местах — остроумием, элегантностью, непринужденностью. Альпинисты, гитаристы, ловеласы, эрудиты — Леха Романков, Гуля Березин, Радик Тихомиров. Помимо исключительной мужской красоты (даже во ВГИКе я таких не встречал) они уже светились успехом, признанием, высокими должностями и шикарной одеждой, купленной не преступным путем у коварных фарцовщиков, а в успешных международных командировках. При этом к советской власти они относились так же, как и большинство успешных людей, снисходительно-на-смешливо. Тут уж тщеславным девушкам, ясное дело, не приходилось долго думать, куда

обращать свой взор.

В том же ряду, если даже не чуть выше, стоял тоже физтеховец, Алик Римский-Корсаков, сделавший, пожалуй, самую успешную карьеру и ставший впоследствии директором Института радия… Ко всему прочему, это был человек великосветский, прямой наследник великого композитора да и всей этой фамилии, давшей столько знаменитых людей.

«…Я попала в квартиру на улицу Маклина, где жил Алик Римский-Корсаков. Большеротый человек, темноволосый, очень тонкий, высокий, с громадными руками, в одной из которых…»

Думаю, прочитав этот оборот — «в одной из которых» — Довлатов наверняка бы подумал: правильно мы с ней разошлись!

«…В одной из которых, согнутой в локте, дымилась сигарета, описывающая кругообразный рисунок, обрамлявший (?! — В. П.) его подвижное лицо, в то время как вторая рука, тоже согнутая в локте, легко охватывала первую в районе спины и плеча…»

Какой-то просто акробатический этюд в стиле Пикассо!

«Когда мы вошли в комнату, он что-то рассказывал, говоря (?! — В. П.) оживленно…»

Все остальное, значит, было подмечено до того, как вошли?

«…Но без аффектации, произнося “р” несколько картаво, почти как воспитанный на французской культуре русский аристократ…»

Да, куда ж денешься от такого?

«…Каким он, вероятно, и являлся, но все же на свой лад. Держа голову на отлете, со слегка прищуренными глазами, он источал энергию человека, который только что открыл закон всемирного тяготения, но еще не успел его описать и соотнести с уже известными законами…»

После такого пассажа хочется перевести дух и слегка все осмыслить… Вряд ли открыватель великого закона «источал» такую энергию по направлению к красивой гостье: одно как-то не вяжется с другим. Но шутки шутками, а Ася, похоже, впервые влюбилась по-настоящему. Ее появление в элитарном кругу физиков-теоретиков произвело, как и всюду, фурор. Ее привычка быть ровной и приветливой со всеми привела к смуте и среди физиков — сразу нескольким стало казаться, что она влюблена именно в него.

В моей памяти эти события отражены одним эпизодом — мой друг, тоже замечательный физик и светский человек Миша Петров однажды, после посещения нами «Восточного», вдруг спросил, не могу ли я быть его секундантом — он хочет вызвать на дуэль Римского-Корсакова. Мы приехали с ним в дом на углу улиц Маклина (ныне Английской проспект) и Декабристов

(бывшей Офицерской) и поднялись по узкой, глухой, кажется, винтовой лестнице.

Помню их бой на рапирах (нашлись у Римского-Корсакова) на узкой лестнице. Бесстрашный Миша, оказавшийся несколькими ступенями ниже противника, разулся, чтобы не скользила нога. Старая дружба и профессиональная солидарность удержала двух физиков от кровопролития, и мы с Мишей вернулись в «Восточный». Да, умела Ася, не теряя благожелательной мины, заварить кашу! Но и Серега умел! Далее Ася рассказывает (все-таки ее витиеватый стиль лучше пересказывать простым языком), как Довлатов, мучась унижением и комплексами, призывает на помощь своих друзей Абелев и Смирнова, чтобы уговорить ее выйти, наконец, за него замуж, поскольку он уходит из университета в войска НКВД, чтобы быть там «убитым чеченской пулей».

«На нашей свадьбе, — пишет Ася — сыгранной в ключе патриархально-поминальном и состоявшейся в марте 1962 года, присутствовало несколько кем-то (?! — В. Я.) оповещенных гостей. В ритуал свадьбы был включен променад по Невскому… При встрече с первым же вступившим с ним в контакт знакомым Сережа театрально вскинул руки в направлении моей персоны и, улыбаясь своей чарующей улыбкой, произнес заготовленный для этого случая афоризм: “Знакомьтесь, моя первая жена Ася”».

Да, на брак по любви это мало похоже. Описывая этот жалкий довлатовский реванш, достигнутый к тому же столь унизительным образом, Ася, без сомнения, торжествует. Да, конец действительно нелепый: эта бессмысленная свадьба после уже полного разрыва! Но свидетельства Аси мы игнорировать не можем… Несомненно, именно с ней Довлатов прошел очень важную подготовку, отделку, закалку, штурмуя не столько «миловидную крепость где-то на Песках», сколько скалистые утесы самоутверждения, мужской состоятельности, успеха в обществе. «Штурм» был отбит.

«“Я был женат дважды, и оба раза счастливо”, — говорил юный трагик Довлатов юному трагику Горбовскому, в упоении человека (странный, но не исключительный ляпсус изысканной стилистки. — В. Я.), готового заплатить жизнью за удачный афоризм».

Вот последняя часть фразы действительно замечательно точна! Довлатов действительно заплатил жизнью — правда, не за один афоризм, а за всю свою гениальную прозу. А пока у нас на дворе — свадьба, на обычный взгляд весьма странная, свадьба не только «по-довлатовски», но и «по-пекуровски».

В последний раз на моей памяти Ася появилась в Петербурге

лет через тридцать после своего отъезда, совсем недавно — притом внешне почти не изменившись: тот же бодрый ежик на голове, замечательная матовая кожа, ясный веселый взгляд. При этом — профессиональный филолог, автор книг, по слухам, богатый человек и даже специалист по недвижимости. Мы тоже постарались не ударить в грязь лицом. Андрей Арьев, друг Сергея и главный «продолжатель» его дел, — главный редактор весьма уважаемого журнала «Звезда». Игорь Смирнов — известный немецкий профессор, звезда международных конгрессов… Я, написавший к тому времени тридцать книг и сотни всяких других публикаций, в том числе и о Довлатове. Мы, как в молодости, непрерывно острили, но говорили и по делу, вспоминали с Асей старые времена. Утром, смеясь, мне позвонила издательница Асиной книги о Довлатове, которая и привела Асю к Андрею в гости. «Знаете, что сказала Ася, когда мы вышли?… “Господи! Какие бездельники!”» Да уж, ее оценка нашей компании не шибко повысилась за эти десятилетия — хотя казалось бы, мы чего-то достигли… Ан нет! Да и характер Асин, похоже, совсем не изменился.

Ее сражение с Довлатовым не закончилось, хотя прошло столько лет. Не угомонилась! Да и трудно угомониться после Довлатова — тем более он уже «достал» ее своим «Филиалом», где расквитался с ней по полной: «Я полюбил ее. Я был ей абсолютно предан. Она же пренебрегла моими чувствами. По-видимому, изменяла мне. Чуть не вынудила меня к самоубийству. Я был наивен, чист и полон всяческого идеализма. Она — жестока, эгоцентрична и невнимательна». Напомним, что в повести по довлатовскому обыкновению соединены реальная поездка автора на эмигрантскую конференции в Лос-Анджелес и мифическая встреча его там с давней возлюбленной Асей-Тасей — неустроенной, раздерганной, жалкой. Эта героиня мало похожа на реальную Пекуровскую, но миллионы читателей поверили автору — и поставили между двумя женщинами знак равенства.

Но Ася все еще пытается ответить и победить. Похоже, главная задача их брака — влезть на плечи другому, чтобы сделаться заметней. Их дуэль, не закончившаяся с кончиной Сергея, конечно, уже выиграна. Выиграна Довлатовым. У него те мучения превратились в шедевры, у Аси — в интересную книгу о том, как они создавались.

А у меня перед глазами яркая картина. Я ехал на троллейбусе, просвеченным вечерним теплым солнцем, по Суворовскому проспекту и вдруг увидел их прекрасную пару. Они пересекали Суворовский у Четвертой Советской (бывшей Рождественской) улицы, где жила с родителями Ася, — шли

царственно и не спеша, не сомневаясь, что транспорт просто обязан восхищенно перед ними застыть — и он действительно тормозил, вот только не знаю, восхищенно ли. Довлатов — красивый, огромный, но слегка сутулый, нахохленный, выражал явное недовольство окружающим: что за жалкую реальность тут ему предъявляют? Притом сам был в домашних шлепанцах, что только усиливало ощущение его барственной небрежности. Ася шла чуть сзади его и сияла. Впрочем, она сияла почти всегда, что не мешало ей довольно часто с лучезарной улыбкой произносить фразы самые убийственные.

Что могу добавить еще к той оставшейся в памяти навсегда ослепительной картине? Помню, магазин тот на углу Суворовского и Советской считался тогда одним из лучших в городе, туда ездили специально издалека… бывали в советские времена непонятные взлеты отдельных магазинов, вызванные какими-то высшими, неизвестными нам причинами, — мы лишь радостно этим пользовались. Сейчас магазин тот вряд ли сам помнит о своей мимолетной славе — но тогда и это еще добавило красоты той вечерней картине… Ребята знают, куда идут!

«Да, сильная пара! — подумал я — Умеют себя подать!.. Но двигаются по жизни как-то отдельно». Что и подтвердилось. Назвать любовь Довлатова к Асе Пекуровской несчастной можно, но уж неудачной — никак нельзя. Ася уже тогда была «светской львицей», и оказаться ней рядом — значило с ходу попасть в бомонд. И как бы после этого ни относились к Сереге, никто уже не мог сказать: «Не знаю такого». И при всех их мучениях так, как они друг на друга, на них больше никто не повлиял.

…Что интересно — подобным воспоминанием может поделиться чуть ли не каждый уважающий себя питерец, тем более считающий себя причастным к искусствам. «Да, помню, встретил Серегу! Огромный! Небритый! В халате и тапочках шел! Здорово, — говорю. — Может, выпьем? Я как раз с Севера приехал — денег навалом».

Эти воспоминания и до сих пор — «наше знамя боевое», наш код, наш девиз, объединяющий нас, теперь уже столь разных, богатых и бедных, успешных и провальных… Но стоит кому-то произнести: «Вот, помню, мы с Серегой», — и лица светлеют, тут мы все удачливы и равны. Как он так сумел — объединить и поднять нас? Мол, и мы жили в веселые времена, когда знаменитые писатели запросто гуляли по улицам, и мы с нами запросто выпивали, и уважали друг друга. Кому это не приятно? Серега, еще ничего толком не написав — и уж тем более ничего не напечатав, ничего не представив широкой публике, — был уже знаменит, представал фигурой, с которой лестно запечатлеться

на память, для вечности!.. и авансов не обманул. Для многих тот «снимок» — лучший кадр их жизни, и за это они Довлатову дополнительно благодарны. Более заметного гения, демонстративно пренебрегающего условностями, в поле зрения жаждущей публики тогда не наблюдалось. Место это сразу занял Довлатов — и остался на нем. Обычно знаменитые писатели фотографируются с поклонниками в зените славы… но тогда уже у них мало времени и сил. Довлатов разумно «сфотографировался» до. Его первым удачным сочинением был «Довлатов», может, и не полностью совпадающий с реальным человеком, но зато врезавшийся в сознание нашего поколения навеки… Хотя тогда все самое трудное было еще впереди.

«Безделье. Повестка из военкомата. Затри месяца до этого я покинул университет. В дальнейшем я говорил о причинах отчисления туманно. Загадочно касался неких политических мотивов. И я попал в конвойную команду. Очевидно, мне суждено было побывать в аду…»

Глава четвертая «Писать, чтобы помнила вохра…»

Энциклопедический словарь 1962 года:

> «Коми АССР расположена на северо-востоке РСФСР. Площадь 404,6 тысячи кв. километров. Население 319 тысяч человек, в том числе 9 % городского населения. В республике 4 города — Сыктывкар (столица), Воркута, Ухта, Печора, 22 рабочих поселка. Расположена в зоне хвойных лесов, на севере — лесотундра и тундра. Основные отрасли хозяйства республики — лесозаготовки, добыча угля, нефти. Республика населена народом коми. Советская власть создала письменность коми. Достигнута поголовная грамотность населения. Из советских писателей Коми выделяются М.Н.Лебедев, В.В.Юхнин, Н.М.Дьяконов, Г А.Федоров и др.»

Кто из нас не помнит казарму? Они, в сущности, везде были почти одинаковы — от Воркуты до Кушки. Ровный ряд аккуратно застеленных постелей. В уставе отлично сказано — «постели должны быть однообразно застелены». Такими же однообразными должны быть и дни — дежурства, занятия, боевая и политическая подготовка. Чистый коридор. «Боевой листок» на стене. Ленинская комната, с огромным бюстом вождя, вымпелы на стенах, выданные части за ее успехи, подшивки газет, но далеко не всех — только «Правда» и «Красная звезда». Какие тут могут быть сюжеты — тем более прихотливо-довлатовские? Довлатов пишет отцу, что перестал отвечать на письма Грубина и Веселова, которые завидуют романтике его новой жизни. Какая там романтика?

> Тайга! Я представлял ее иной…
> Здесь оказалось мусорно и грязно,
> И тесно, как на Лиговке в пивной.

Озирая армейский период жизни Довлатова, надо отметить, что и ад он сотворил очень последовательно, и на свой лад. Проза Довлатова убедительна — намного убедительней самой жизни. Поэтому с трудом, а порой и с неохотой разбираешься, как все было на самом деле. Но это надо понять, чтобы лучше оценить великолепную его работу по сотворению замечательной

литературы из обычной кондовой жизни.

«— Ты парень образованный, — сказал комиссар, — мог бы на сержанта выучиться. В ракетные части попасть… А в охрану идут, кому уж терять нечего!

— Мне как раз нечего терять.

Комиссар взглянул на меня с подозрением:

— В каком это смысле?

— Из университета выгнали, с женой развелся.

— …Слушай, парень! Я тебе по-дружески скажу, ВОХРА — это ад».

Это уже «художественность», а не реальность. Хотя нам уже хочется, чтобы все было так, как он написал — но в жизни было иначе. Хотя бы потому, что в действительности он перед армией как раз женился на Асе, а не развелся. Так драматичней. Дальше — он как бы сам выбрал «ад». Но в письмах он все же проговорился, что просто в пункте сбора, где распределяли солдат, решил попробовать себя в «единоборствах» — и его способности в этом деле и решили его судьбу: охранник будет крепкий!

Служба его в армии вроде как самая закрытая часть его жизни — военная тайна! Никому из его биографов не пришлось посетить затерянное в тайге селение Чинья-Вырок близ поселка Иоссер, где он служил. И тем не менее эта часть его жизни — самая открытая. Оказавшись вдалеке от родных и друзей, Сергей начал писать замечательные письма и стихи, в которых раскрыл свою душу и мысли гораздо более трогательно и откровенно, чем до — и после.

Вот письмо отцу конца июля 1962-го:

«Дорогой Донат!

У меня все в порядке. Живем мы в очень глухом месте, хоть и относимся к Ленинградскому военному округу.

Может быть, можно что-нибудь сделать, чтобы меня переслали поближе к Ленинграду? Может, Соловьев мог бы помочь, хотя не думаю (Соловьев — друг семьи, начальник ленинградской милиции. — В. П.). А нельзя, так тоже ничего. Перетерпим как-нибудь. Но, по правде говоря, надоело изрядно. Я, конечно, свалял дурака. <…>

Жду писем от тебя».

30 июля 1962-го:

«Дорогой Донат, до сих пор тянется дело с распределением и адрес выяснится дня через два. У меня все в порядке. Совершенно ни в чем не нуждаюсь. Через два дня напишу еще и буду ждать от тебя многочисленных писем. Теперь — стихотворение:

Асе

Я почтальона часто вижу,
Он ходит письма выдавать.
Я почтальона ненавижу,
А почтальон не виноват.

Кому напишут — он приносит,
Кому не пишут — не несет,
И иногда прошенья просит
У тех, кто долго писем ждет.

Он обещает, что напишут,
И сгорбившись, уходит прочь.
Я от него теперь завишу,
А он не может мне помочь.

Он, если мог бы, то охотно
Помог бы горю моему.
Да, невеселая работа
Досталась, кажется, ему.

Я почтальона вижу снова.
Спокойно в сторону гляжу,
Не говорю ему ни слова
И быстро мимо прохожу.

Теперь насчет посылки. Я почувствовал, что ты все равно пошлешь, и, поразмыслив, решил, что мне бы нужно вот что. Мне нужен обыкновенный банальный перочинный нож, из дещевеньких, попроще.

Чтоб было там шило и минимум одно лезвие. Не следует посылать портящихся продуктов, т. к. посылка лежит обычно на почте дней 5, а то и больше. Хочу добавить, что я абсолютно сыт, причем питаюсь небезынтересно. Было бы здорово, если б ты прислал 2 банки гуталина и какую-нибудь жидкость или порошок для чистки медной бляхи. У нас почему-то этих вещей нет, и приходится тянуть друг у друга.

Десять штук безопасных лезвий свели бы меня с ума. И еще вот что. Пришли какие-нибудь витаминные горошки в баночке, а то старослужащие солдаты пугают цингой. Вот и все, а то я что-то разошелся. Спасибо! <…>

Кстати сказать, к моему удивлению, солдат из меня получается неплохой. Я выбился в комсорги и редакторы ротной газеты. Начальство меня хвалит и балует, и даже раз, когда я

уснул на занятиях, сержант меня не стал будить и я спал полтора часа. Случай этот совершенно для армии феноменальный. Вот как.

Будь здоров, Донат. Крепко тебя обнимаю. Колоссальный привет мачехе и сестричке. Я к ним очень привык. Напиши какие-нибудь подробности про Ксанку. Еще раз привет Люсе и спасибо ей за все. Жду писем».

В письмах Довлатов понемногу «выстраивает» события, которые превратятся потом в его прозу: «…Должность ротного писаря была неслыханной удачей… Думаю, я был самым образованным человеком здесь. Рано утром я подметал штабное крыльцо. Я выходил на дорогу и там поджидал капитана. Завидев его, я ускорял шаги, резко подносил ладонь к фуражке и бездумным механическим голосом восклицал:

— Здравия желаю!

Затем, роняя ладонь, как будто вконец обессилев, почтительно — фамильярным тоном спрашивал:

— Как спали, дядя Леня?

И немедленно замолкал, как будто стесняясь охватившей меня душевной теплоты».

Хорошо быть писателем. Даже унижаясь, он все отрабатывает до совершенства, тайно ликуя от предчувствия — как блистательно он это опишет!

Да, смышлен был Довлатов-солдат! Это же, кстати, отмечали и у солдата Достоевского те, кто его тогда видел.

И в то же время было ясно, что без критических, опасных моментов той жизни не обойтись… но их никогда не напечатают в советской прессе. Да еще и посадят! И тем не менее — записывает:

«…Можно спастись от ножа. Можно блокировать топор. Можно отобрать пистолет. Но если можно убежать — беги!

В моем кармане инструкция. “Если надзиратель в безвыходном положении, он дает команду часовому — “Стреляйте в направлении меня”».

Сентябрь 1962 года, Коми АССР — Ленинград:

«Дорогой Донат!

Я получил от тебя прекрасное, назидательное письмо, вызвавшее общую зависть своей толщиной. У нас тех людей, которым приходят толстые письма, уважают гораздо больше и считают их более солидными.

Кроме того, я получил извещение насчет полупудовой посылки. Тебе за все спасибо.

Теперь с нетерпением буду ждать твоего отзыва о стихах. Когда я удостоверюсь, что письмо с ними дошло, я пошлю тебе

еще штук 5.

Должен сообщить тебе одно удивившее меня наблюдение над собой. Дело в том, что я значительно больше скучаю здесь без вас с мамой и без моих товарищей, чем без дам. Я никак этого не ожидал.

И еще я понял, как я люблю Ленинград. Я никогда больше не уеду из этого города. Нас здесь много, ленинградцев. Иногда мы собираемся вместе и говорим о Ленинграде. Просто припоминаем разные места, магазины, кино и рестораны. Кроме того, ленинградцев очень легко отличить от других людей.

ЛЕНИНГРАДЦЫ В КОМИ

(Донат! Этот стишок вызывает рев у 20 процентов присутствующих. Это ленинградские ребята.)

И эту зиму перетерпим, охры,
И будем драться.
Мы с переулка Шкапина,
Мы с Охты.
Мы — ленинградцы.

Мы так и не научимся носить
Военной формы.
Мы быстро отморозили носы,
Отъели морды.

Я помню воздух наших зим
И нашу сырость.
И профиль твой, что так красив,
И платья вырез.

Мне б только выбраться живым.
Мне б только выжить.
Мне б под ударом ножевым
Себя не выдать».

Задерганный и ироничный в городе, в армии Довлатов загрустил, расчувствовался, оказался добрей, мудрее, чем раньше, думал о себе сам. И наверное, надо благодарить судьбу за такой прилив душевности — без сильных эмоций, хоть и часто скрываемых, сочинения Довлатова не обрели бы того успеха, который их постиг.

«Мама мне пишет толстые, уморительно смешные письма, и я без нее скучаю».

Хорошо для писателя — иметь таких талантливых, добрых,

все понимающих родителей!

«Кстати, Ася работает. Ее точно восстанавливают в ЛГУ. Она пишет, что серьезно занимается. Если это так, то я с ужасом убеждаюсь, что во всем виноват я…»

Впрочем, если вглядеться тщательней в жизнь Аси, особенно в те годы, когда он служил, можно прийти к выводу, что и она кое в чем виновата.

«…Шлю еще стихи:

СОЛДАТЫ НА ТАНЦАХ В КЛУБЕ

Девушки солдат не любят,
Девушки с гражданскими танцуют.
А солдаты тоже люди
И они от этого тоскуют.

У стены стоят отдельной группой
Молодые хмурые мужчины,
А потом идут пешком из клуба
Или едут в кузове машины.

И молчат, как под тяжелой ношей,
И молчат, как после пораженья,
А потом в казарме ночью
Очень грязно говорят про женщин.

Я не раз бывал на танцах в клубе,
Но меня не так легко обидеть,
Девушки солдат не любят,
Девушек солдаты ненавидят.

Крепко обнимаю. Жду писем».

Сентябрь 1962 года. Коми АССР — Ленинград:

«Дорогой Донат!

Чтоб загладить впечатление от предыдущего стихотворения, посылаю два стишка. Может быть, тебе будет затруднительно их читать, т. к. много специфических слов. Но, надеюсь, разберешься. Первое, про контролера.

Я — контролер, звучит не по-военному.
Гражданская работа — контролер.
Я в караулке дожидался сменного
И был я в караулке королем.

Топилась печь, часы на стенке тикали,

Тепло в тридцатиградусный мороз,
А ночь была в ту ночь такая тихая,
А небо было белое от звезд.
Мы пили чай из самовара медного,
А сменный мой чего-то все не шел.
Мы дожидались три часа, а сменного
Убили бесконвойники ножом.

Я — контролер, гражданская профессия.
Бухгалтер с пистолетом на боку.
Порой бывает мне совсем не весело,
И я уснуть подолгу не могу».

Осень 1962 года, Коми АССР — Ленинград:

«Дорогой Донат!

Большое спасибо за подробный и очень дружеский отзыв о стихах. Я почти со всем согласен, кроме мелочей. Но не буду этим загромождать письмо. Дело втом, что все, что здесь написано, чистая правда, ко всему, что написано, причастны люди, окружающие меня, и я сам. Для нас — это наша работа. Я скажу не хвастая, что стихи очень нравятся моим товарищам.

Раньше я тоже очень любил стихи и изредка писал, но только теперь я понимаю, насколько не о чем было мне писать. Теперь я не успеваю за материалом. И я понял, что стихи должны быть абсолютно простыми, иначе даже такие гении, как Пастернак или Мандельштам, в конечном счете, остаются беспомощны и бесполезны, конечно, по сравнению с их даром и возможностями, а Слуцкий или Евтушенко становятся нужными и любимыми писателями, хотя Евтушенко рядом с Пастернаком, как Борис Брунов с Мейерхольдом.

Я пишу по 1-му стиху в два дня. Я понимаю, что это слишком много, но я довольно нагло решил смотреть вперед, и буду впоследствии (через 3 года) отбирать, переделывать и знакомить с теми, что получше, мирных штатских людей.

Но тем не менее я продолжаю мечтать о том, чтоб написать хорошую повесть, куда, впрочем, могут войти кое-какие стихи.

Ты обратил внимание на то, что о разных страшных вещах говорится спокойно и весело. Я рад, что ты это заметил. Это очень характерная для нас вещь. Стихи очень спасают меня, Донат. Я не знаю, что бы я делал без них. Посылаю тебе еще парочку. Это будет уже четвертая партия. Жду отзывов с громадным нетерпением. Очень прошу в Ленинграде из знакомых никому не рассказывать и не показывать стишков. Ладно?

Дальше, Донат. Мама, Аня и супружина часто пишут мне утешительные письма о том, что, мол, мы все тебя любим и понимаем, как тебе тяжело, ты, мол, среди нас жив и т. д. Я бы не хотел таких писем от тебя. Дело в том, что я доволен. Здесь, как никогда, я четко “ощущаю”, “чувствую” себя. Мне трудно объяснить. Я постигаю здесь границы и пределы моих сил, знаю свою натуру, вижу пробелы и нехватки, могу точно определить, когда мне недостает мужества и храбрости. Меня очень радует, что среди очень простых людей, иногда кулачья или шпаны, я пользуюсь явным авторитетом.

Я правду говорю. Мне приходилось одним словом разрешать споры, грозящие бог знает чем. Иногда мне случалось быть очень беспомощным и смешным, но, кроме добродушной насмешки и совета, я ничего не слышал от этих людей. Я знаю, что это потому, что я стараюсь быть всегда искренним. Кстати сказать, это, кажется, главное.

Логика и закономерность есть во всякой вещи. Мол, жизнь наверняка должна была быть затронута чем-то вроде того, что сейчас происходит. Иначе быть не могло.

Донат! Извини. Я писал пьяный маленько».

…Хоть и у «пьяного маленько», у него всегда одна и та же цель — литература. Мысли не только о том, как писать, но и для кого? В какой тональности? Где та «веселая компания», для которой он станет любимым и своим?

«…Написал я 4 рассказа. До этого несколько раз начинал повесть, да все рвал. ЕЩЕ РАНО… Помоги Асе с устройством на работу. Ее точно восстанавливают в ЛГУ… Надеюсь в связи с ухудшением маминого здоровья побывать в Ленинграде… в письмо вложи пустой целлофановый мешочек. Из них мы делаем вечные подворотнички, чтобы не менять их каждый день. Не уверен только, что эти мешочки можно найти в Л-де.

Три года готовь организм к грандиозной пьянке по случаю моего приезда. Все веселье трачу на письма маме… Одно письмо даже написал по-армянски…

МИГУНЬ

“Скорей бы в драку, а то комары закусали”.

Это наша пословица.

Мигунь. Мигунь. опасный городишко.
Пойдешь один — не соберешь костей,
На танцы надо брать с собой кастет
Да острый нож совать за голенище.

А я был храбр, мне было все равно,

Меня за это уважала охра.
Мне от рожденья было суждено,
Не от ножа, а от любви подохнуть.

Пойми, Донат. Я совершенно искренне говорю, что я не только не считаю себя поэтом, но даже не думаю, что это дело будет со мной всю жизнь. Просто сейчас стихи меня выручают, и еще они нравятся ребятам.

И вот еще что. Я ручаюсь за то, что даже в самых плохих стихах нет ни капли неправды, неискренности или неправдивых чувств. Если что-то тебе покажется жестоким — так мы имеем на это право. Если тебе не понравится, что я не так пишу (“некто, без интеллекта”, “лычки-кавычки” и т. д.), то не торопись судить. Подумай, может быть, я прав. Ведь правда в этих стишках проверена не одним мной, многими людьми, из Вологодской области, из Пскова, из Архангельска, в основном с 4-классным образованием».

С этим Довлатову тут повезло. Если считать, что писатель должен писать для народа, то тут-то он и был, этот самый народ. Главное — у него завелся отличный друг, веселый, талантливый и легкий, «бывший лабух» Виктор Додулат. Додулат с его замечательным характером сразу снял всю надменность, весь трагизм, который вроде бы обязан испытывать интеллигент в таком месте, — скорбеть о тяготах народной жизни, при этом брезгливо к народу не приближаясь. Додулат показал, как на самом деле все обстоит: люди приспосабливаются, везде находят своих, пишут и поют свои песни.

«За избиение ротного писаря мне дали 3 дня ареста. Начальство понимало, что я должен был его избить, но трое суток дали. Додулат тут же намеренно нагрубил начальству, и был направлен туда же».

И при этом поддерживал дух друга-узника. Кто, интересно, из гражданских друзей Сергея был бы способен на столь быстрое и, главное, столь беззаботное, легкомысленное самопожертвование? Додулат — мог! И тут же радостно оказался «на губе» с Довлатовым. Рядом был кабинет лейтенанта Найденова, и неугомонный, неунывающий Додулат, наигрывая на гитаре (и гитару сумел на «губу» пронести!), напевал на популярный в то время мотив: «Найденов буги! Найденов рок! Найденов съел второй сапог!»

Народное творчество широко и неуправляемо, и создает свои мифы, порой дурашливо или даже издевательски «перепевая» мифы официальные. В тот год официозом был запущен миф о

героях-солдатах, которые почему-то удивительно долго дрейфовали без пиши и воды на барже, внезапно оторвавшейся от причала и уплывшей в бескрайний Тихий океан — несомненно, по их же халатности… но надо же делать из кого-то героев! Почему огромную баржу не могли найти так долго? Солдаты даже съели свои сапоги — об этом с пафосом сообщила пресса. Народ тут же отозвался насмешливой песней на мотив популярнейшего тогда рок-н-ролла «Рок эраунд зе клок»… Главным на барже был сержант Зиганшин, и по всем дворам тогда пели под гитару, как Додулат: «Зиганшин буги! Зиганшин рок! Зиганшин съел один сапог!» Только у Додулата вместо Зиганшина фигурировал близлежащий лейтенант Найденов — искусство должно быть актуальным. Солдаты выражали полное одобрение героям-узникам, совали под дверь гауптвахты сигареты и печенье. Вот оно, народное признание! Самых правильных, искренних и бескорыстных слушателей-читателей жизнь предъявила Довлатову именно здесь. Именно здесь он усвоил секреты успеха у широкой публики, сделавшие его впоследствии знаменитым. Среди ленинградских друзей-снобов в Ленинграде, бормочущих о Кафке и Прусте, он это вряд ли бы постиг. Довлатов с восторгом пишет отцу о своем новом друге, сделавшим его пребывание в «зоне» не только сносным, но еще и веселым и полезным:

«…Додулат говорит: “Ты настолько высокий, что тебе, чтобы побриться, надо влезть на табурет”. Про худенькую Светлану сказал: “Не все то золото, что без тить”. После политучебы Додулат утверждал, что я заснул во время собственного выступления. Про знакомого офицера сказал: “У него денег курвы не клюют”.

Нас с ним знают на подкомандировках, даже там, где мы не пели и не читали. Из-за того, что у нас похожие фамилии, нас знают как одно лицо — Додулатов… И повсюду под гитару с Додулатом мы на пару!

Мне аплодировала ОХРА.
Зимой, на станции Юкарка,
Под потолком портянки сохли,
Топилась печь и было жарко.
Они мне хлопали, а после,
Пожав мне руку напоследок,
Они со мною вместе мерзли,
Через тайгу бредя по снегу».

Вот она, настоящая близость писателя и читателя! «Писать надо так, чтобы помнила вохра!» — чеканно, как всегда,

сформулировал Довлатов. Вы уже поняли, наверно, что вохра — это вооруженная охрана. То есть — самые чуткие и лучшие читатели, люди простые и искренние, далекие от литературной тусовки с ее искусственными и корыстными критериями. Мысль про вохру Довлатов выстрадал здесь, тут он постиг законы народной любви и популярности.

«Мое положение заведующего батальонной библиотекой — это лучшее, что можно найти в армии. К тому же — в моем распоряжении машинка “Москва”».

Что еще нужно для писателя? Машинка — и какое-то время для работы. И рядом — герои, они же читатели. А писатель, если он этого действительно хочет, всегда найдет возможность писать. Да еще рядом с таким жизненным материалом, который другому молодому писателю вряд ли добыть.

«Ты знаешь, отец, тут заключенные в зоне ООР (особо опасные рецидивисты) вылепили огромную снежную бабу — и не просто бабу, а старушку в платочке и в очках».

В лагере Довлатов заметно поднимается в оценке себя как личности и как литератора. Уже нет и тени преклонения перед модной, столь популярной тогда «молодежной» и «прогрессивной» литературой — перед успешностью и популярностью которой Довлатов должен бы, казалось, заискивать. Отнюдь!

«Прочитал 21 октября в центральной “Правде” стихи Евтушенко про Сталина. Стихи редкой мерзостности. Я читал все повести Аксенова и Гладилина и повесть Балтера “До свидания, мальчики!" Мне все это не понравилось. Дружно взялись описывать городских мальчиков из хороших семей, которые разыскивают свое место в жизни».

В письмах к отцу он уже отзывался весьма пренебрежительно о «мальчиках из хороших семей». Конечно, когда надо, они свои диссертации спишут у кого надо и свои степени и кафедры получат… Но для настоящего писателя — это тупик. И хорошо, что Довлатов вовремя это почувствовал. Отцу он пишет, что слишком затянувшийся (что было модно тогда) поиск «своего места в жизни» приводит к моральной деградации, губительной и для самого искателя, и для его близких.

Он уже разделался с модными кумирами «прогрессивных журналов» той поры… но пройдет еще много лет, когда открытый им здесь принцип — «писать надо так, чтобы помнила вохра» — оценят и в «культурных кругах» (да и оценят ли?). А пока что это — победа лишь над собой, над прежними модными глупостями. И сделать то, что он решил сделать, получится далеко не сразу. На то, чтобы найти единственно правильную форму для правильного

содержания, уйдет много лет.

«Года через 3 я попробую написать повесть.

Я уже, кажется, писал тебе, что не рассчитываю стать настоящим писателем, потому что слишком велика разница между имеющимися образцами и тем, что я могу накатать. Ноя хочу усердием и кропотливым трудом добиться того, чтобы за мои рассказы и стихи платили деньги, необходимые на покупку колбасы и перцовки.

Можно писать не слишком много и не слишком гениально, но о важных вещах и с толком».

Тут прочитывается демонстративное противопоставление своей писательской судьбы похождениям современных кумиров с их легкой жизнью и такой же легкой прозой.

Наступает новый, 1963 год. Пора подбить некоторые итоги. В красивой столичной жизни — бурные события. Перечисляя их, не будем ограничиваться только 1962–1963 годами, вспомним весь тот «оттепельный» бум… Смелый Евтушенко, приглашенный на съезд комсомола, читает со сцены дерзкие стихи. «Когда р-румяный комсомольский бог! Нас учит!!» — и поворачивается к ложе, где сидит круглолицый и цветущий секретарь ЦК комсомола Павлов. Вся Москва только и говорит об этом.

Второй смельчак — Вознесенский — смело защищает Ленина от Сталина, сравнивает профиль Сталина с тенью затмения, наползающего на светлый лик Ильича.

— Убер-рите Ленина с денег! — еще один прозвеневший на всю Россию стих.

Начинаются первые «заморозки» — Хрущев, собрав самых знаменитых из блистательной плеяды шестидесятых, кричал на них, брызгал слюной, топал и грозил.

К Довлатову это пока непосредственного отношения не имеет. Он еще не настолько расцвел, чтобы бояться «заморозков». К тому же к суровым заморозкам, в смысле прямом и переносном, он тут привык. Свое суровое отношение к «цветам оттепели» он уже высказал. Не надо ходить за лаской в Кремль — можно напороться! Нужно вырасти писателем более «морозоустойчивым», не реагирующим так уж сильно на прихоти власти. Тут у него свои заботы… Солдаты нарядили елочку к Новому году — а приглашенные девушки не пришли… Ай-яй-яй!

«Самое трудное — первую зиму я пережил!.. Стал абсолютным чемпионом по рукопашному бою…

(А как же миф о Довлатове-увальне, которого все бьют? — В. П.)

Я научился печатать на машинке со скоростью машинистки, находящейся на грани увольнения.

Я занимался штангой и боксом. У меня накопилось 6 благодарностей за отличную стрельбу. Кроме того, побывав в разных передрягах, я привык вести себя спокойно в затруднительных случаях. И еще я знаю, что человек, который хотя бы один-единственный раз узнал большой страх, уже никогда не будет пижоном и трепачом».

Кого он считает «пижонами и трепачами», мы уже знаем… но победа над ними еще ох как далека Пока разобраться бы как-нибудь в своем хозяйстве. Крепким ударом для него стал негативный отзыв с его стихах «тетки Мары». К ее замечаниям внимательно относились многие знаменитости, включая маститого и самоуверенного Алексея Толстого. Кроме того, она вела самое известное в городе литературное объединение, в котором, кстати, занимался Виктор Конецкий и потом очень ее благодарил. И вот — разгромный ее отзыв о стихах племянника Сергея. Не оценила ни его образов, ни юмора, ни рифм. Так куда ж податься бедному Сергею, если родная тетка, к тому же прямо причастная к созданию литературной жизни в родном городе, не слышит его?

Действительно — «золотое клеймо неудачи», как сформулировала это Ахматова. Но клеймо — золотое, из-за него мучаются, зато потом, после мучений, сияют ярче других. Да, долго еще Довлатову искать свое, неповторимое! И одновременно с этим надо рулить своей жизнью. Это тоже необходимое качество для писателя. Конечно, здешний опыт был остро необходим… но кто сказал, что он должен продолжаться целых три года? Может быть, хватит уже? Вспомним опять Горького: «Повар вовсе не обязан свариться в своем супе». Хотя сам Горький, казалось, варился долго. Но ведь не сварился же! Вовремя выпрыгнул. И Довлатов все яснее осознает: здесь — хватит! Надо быть там! Он внимательно оглядывает свою нынешнюю «лагерную жизнь»… «Сдавать на шоферский класс запретили в штабе части… Машинку отобрал все тот же Найденов». Назвать путь Довлатова пассивным, подчиненным обстоятельствам никак нельзя — это лишь в книгах жизнь лупит его почем зря! Он внимательно и скрупулезно рассматривает проблему больной ноги — возможность комиссоваться? В письмах его к отцу сначала с некоторым недоумением читаешь призывы к Донату побеспокоиться о Боре, знаменитом брате Сергея — нельзя ли перевести брата в другое место? Брат, кажется, в это время сидит за свои «художества»… Но не о нем так беспокоится Сергей (хотя брата любит, прежде всего как безотказного персонажа). Но хлопочет не о нем! Читаешь воспоминания близких ему людей, и выясняется тайна! Шифр! Под именем брата он проводит самого

себя — одна из рискованных, может быть даже аморальных, довлатовских мистификаций. Как бы заботясь о брате, он на самом деле просит Доната похлопотать за себя — и отец-молодец действует энергично, используя немалые свои питерские связи. Что делать? Плыть по течению нельзя — во всяком случае плыть до водопада… Какие у Довлатова появились соблазны в сыктывкарской жизни — об этом мы расскажем в следующей главе.

«…Письмо Торопыгина я получил, оно меня порадовало.

(Владимира Торопыгина помню — толстый, веселый, был главным редактором «Авроры», довольно но осторожным, но, как и многие тогда, погорел на нехватке бдительности — напечатал стихотворение Нины Королевой, вскользь задевающее тему расстрела царской семьи: «…в тот год, когда пламя плескалось на знамени тонком — в том городе не улыбалась царица с ребенком»… но это, кажется, случилось чуть позже. — В. П.)

…Кстати, писал ли я тебе, что являюсь автором весьма популярного здесь стихотворения о стрельбах: “Выбей, мать твою ети, двадцать пять из тридцати!”

Настроение у меня приподнятое. Горю желанием расторгнуть мой дегенеративный брак».

Значит — уже обдумывает и готовит «аэродром» в Питере. Но прослужил-то еще меньше года! Сколько еще служить!.. Но служить тоже можно по-разному — можно и ближе к Ленинграду. Задача, стоящая теперь перед Довлатовым, проста, но трудна. Сформулировать ее можно так: чтобы написать «Зону» — надо покинуть ее. Оторвать липкие щупальца реальности — и воспарить. Здесь — не напишешь! Здесь писать то, что нужно для успеха вещи (и чего на самом деле порой в реальности нет), тяжело и даже как-то совестно. Это все равно что, работая на заводе и, естественно, заботясь о нормальном ходе дел вечерами грезить об авариях с человеческими жертвами. Нереально, неловко и даже где-то стыдно Литература не совпадает с реальностью — тем хуже для реальности!

Способность Довлатова на решительные шаги порой несовместимые с общепринятыми принципами, и сделала его личностью. Не каждый способен на такой прыжок: «А что скажут вокруг, те, с которыми так связан общими переживаниями, общей жизнью?»… Перебьются! Труба зовет. Другой бы так и «изучал жизнь» всю жизнь и выше бы не поднялся. И что бы имели мы, читатели? Трогательные письма и юношеские стихи, которые сам Довлатов не включил ни в один свой сборник? Еще одно описание реальной жизни Коми АССР, объективное и где-то даже смелое, поскольку время уже требовало смелости в описании

реальности? Проще говоря — мы имели бы еще одного уважаемого сыктывкарского писателя (я вовсе не говорю — плохого). Но Довлатов хочет другого. Он должен создать супертекст, который сразу поставит его выше всех!.. А уж как пострадает при этом реальность — дело десятое. Он должен быть там, где делается литература, разобраться и победить.

«Донат, как бы сделать, чтобы кто-нибудь, Володин или Торопыгин, прочел “Голубой паспорт”. Я думаю, что если когда-нибудь буду писать серьезно, то в прозе.

Написал я длинный рассказ 23 страницы “Стоит только захотеть”, но я его порвал.

Может быть, я и мог бы написать занятную повесть, ведь я знаю жизнь всех лагерей, знаю множество историй и легенд преступного мира, то есть как говорится по-лагерному, по фене — волоку в этом деле.

НО ТУТ НАДО ОЧЕНЬ ХИТРО НАПИСАТЬ, ИНАЧЕ САМОГО ПОСАДИТЬ МОГУТ.

Накопилось две тетрадки. Рассказывать могу, как Шехерезада, три года подряд.

Пишу повесть “Завтра будет обычный день”, детектив, с погоней и стрельбой, суть в том, что кто-то должен делать черную работу».

А где же «Зона»? Довлатов все яснее начинает понимать — хватит набираться впечатлений, такая «активная пассивность» никуда не приведет. Надо садиться за работу по-настоящему, а для этого покончить со службой. Заскочим чуть вперед — посмотрим окончательный вариант «Зоны»:

«…Я вспомнил, какие огромные пространства у меня за спиной. А впереди — один шестой барак, где мечутся люди. Я подумал, что надо уйти… Но в эту секунду я уже распахивал дверь барака. Онучин был избит. Борода его стала красной, а пятна на телогрейке — черными. Он размахивал табуреткой и все повторял:

— За что вы меня убиваете? Ни за что вы меня убиваете! Гадом быть, ни за что!

Когда я вошел… Когда я вбежал, заключенные повернулись и тотчас же снова окружили его. Кто-то из задних рядов, может быть — Чалый, с ножом пробивался вперед. Узкое белое лезвие я увидел сразу. Но эту крошечную железку падал весь свет барака.

— Назад! — крикнул я, хватая Чалого за рукав.

— От греха, начальник, — сдавленно выговорил зэк.

Я ухватил Чалого за телогрейку и сдернул ее до локтей. Потом ударил его сапогом в живот. Через секунду я был возле Онучина. Помню, расстегнул манжеты гимнастерки.

Заключенные, окружив нас, ждали сигнала или хотя бы резкого движения. Что-то безликое и страшное двигалось на меня».

Великолепная, жуткая сцена. Но насколько она характерна или, скажем, типична для реальной жизни?

Конечно же, любое советское предприятие, что зона, что завод, стремилось работать так, чтобы свести возможные ЧП к минимуму. И это им большей частью удавалось — иначе меняли руководство. В нормальной зоне количество бунтов, драк, убийств и побегов было весьма невелико — и задача образцового солдата Довлатова была как раз в том, чтобы этого не было вообще. Довлатов-солдат душил Довлатова* писателя: задачи их были диаметрально противоположны. Значит, пора уже сказать солдату «гуд бай!» В письмах отцу Довлатов клянется, что играть «на местной экзотике» он не намерен. И это правильно — слишком бурные, шокирующие события в сочинении «тянут одеяло на себя» и, как правило, отодвигают качество на второе, если не на третье место. Этот сорт литературы не привлекает его. Но и писать о «нормальной» жизни охраны — рядовых дежурствах, политзанятиях и спортивных состязаниях (что на самом деле и представляет собой главное содержание жизни охранника) — значит заранее проиграть свою литературную судьбу. «Зону», которая его прославила, еще предстоит сочинить — никакие «моментальные снимки действительности» литературу не создадут. Ее предстоит выстроить самому, выбирая из увиденного нужное и безжалостно отбрасывая остальное. Так что же описывать? Суровый климат, строгую природу Севера? Стыдно, наверно, читателям подносить такую «джеклондовщину». Что же он вынес отсюда? Шесть почетных грамот за отличную стрельбу? Все предстоит сочинить, а потом перенести на бумагу. Поэтому «Зону» он написал уже намного позже того, как вырвался из лагеря, а вырваться было необходимо быстро, пока эта жизнь не стала привычной, рутинной, а может, даже родной и самой важной для него. Но литература — важней. Нужна была долгая мучительная работа, которую в лагере не сделаешь.

«Я остановился, посмотрел на Фиделя. Вздрогнул, увидев его лицо. Затем что-то крикнул и пошел ему навстречу. Фидель бросил автомат и заплакал. Стаскивая зачем-то полушубок, обрывая пуговицы на гимнастерке.

Я подошел к нему и встал рядом.

— Ладно, — говорю, — пошли».

Вы, конечно же, помните сцену конвоирования обезумевшего от отчаяния и пьянки героя «Зоны» Алиханова его страшноватым сослуживцем Фиделем, мало в чем уступающим уголовникам… Если бы все служебные командировки выполнялись как эта,

изображенная Довлатовым, — жить и служить в «зоне» было бы просто невозможно. Жизнь охраны. конечно же, была нелегка. При этом безумные попойки и пьяные разборки между солдатами случались крайне редко; в письмах Довлатов сам пишет, что вино поблизости не продают, а тащиться за ним на «большую землю» — далеко и небезопасно. В повести создан совсем другой образ «зоны», поистине адский: «Мир, в который я попал, был ужасен. В этом мире дрались заточенными рашпилями, ели собак, покрывали лица татуировкой и насиловали коз. В этом мире убивали за пачку чая. В этом мире я увидел людей с кошмарным прошлым, отталкивающим настоящим и трагическим будущим». Этот мир был создан Довлатовым с одной целью — противопоставить его автору, который мучительно пытается в этом аду сохранить в себе человека. И для того же вместо веселого и доброго Додулата, который был ему верным другом и по-настоящему помогал, Довлатов делает «главным лицом» охраны алкаша и выродка Фиделя.

Подобные «метаморфозы» мучают, отнимают силы писателя, доводят до отчаяния — но если это кажется необходимым, то надо это делать, пускай из последних сил! И нести ответственность перед реальностью, которая потом оскорбляется и обвиняет тебя в злом умысле. Такие «дела» преследовали Довлатова постоянно. Но он находил в себе силы (которые, в конце концов, иссякли) писать, как считал нужным. Правда литературы для писателя важней правды жизни. Но чтобы создать литературу, надо для начала отстранить от себя жизнь и глянуть на нее не сочувственным взглядом добросовестного ее участника, а хищным взглядом писателя. Жить правильно и по уставу (а иначе в армии жить тяжело) — а писать нечто другое и выдавать это «нечто» за главное как-то неловко и даже слегка стыдно… Живешь нормально — а пишешь ужасы? Но делать нечего — надо «оторваться»!

Наконец, преодолев все затруднения в «Бориных делах», о которых он не раз писал отцу, подразумевая себя, он вырывается из «зоны». Усилиями знаменитого актера Александра Борисова, прежнего сослуживца Доната по Александринскому театру, удается выхлопотать перевод Сергея в Ленинградскую область. На проводах его поет знаменитый исполнитель тюремных песен… прощание по высшему разряду!

В конце апреля 1963-го Довлатов покидает Коми АССР и переводится в Ленинградскую область — откуда уже и до дома рукой подать.

Теперь главная проблема: что делать с тем богатством, которое он скопил в армии? Как написать? И ответ уже готов —

писать надо так, чтобы помнила вохра!

Глава пятая. Прощай, солдатская любовь!

…А как же боевые друзья, к которым он так прикипел душой? Как же отцы-командиры, которые, честно говоря, вовсе не были уж такими монстрами, как он их после изобразил, — наоборот, относились к нему уважительно и помогали ему? Как же с ними? За все нанесенные им обиды Довлатов расплатился своими книгами, в которых изображенные там прототипы вряд ли согласятся признать себя. У искусства — свои суровые законы, порой режущие жизнь по-живому. Но кто не решится им следовать — далеко не пойдет. И «воинская дружба» — не самое главное, что ему предстояло здесь разорвать.

Много известно о женах и подругах Довлатова, официальных и неофициальных, о том, как повлияли они на него — и как он потом за это «отобразил» их. Гораздо меньше мы знаем о солдатской любви Довлатова — но, судя по письмам, в его жизни той поры она занимала немалое место.

Осень 1962 года, Коми АССР — Ленинград:

«Дорогой Донат! Маму можешь обрадовать: наша с Асей переписка замерла… Я не помню, писал ли я тебе, кто такая Лялька Меньшикова. Она живет в Сыктывкаре, учится в пединституте и является чемпионкой Коми, кажется, по четырем видам спорта. Она нормальная, но мне кажется очень хорошей, т. к. я привык к плохим людям. Вот, собственно, и все. Мама видела ее фотографию. В жизни она чуть хуже. У нее скоро каникулы и она наверняка приедет. У нее 162,5 метра росту. Это не слишком много, но смешно и мило.

Светлана пишет часто. Все стихи мои помешает в газету пединститута и, кажется, даже мной гордится чуть-чуть».

И еще одно письмо того периода:

«Дорогой Донат!

Это стихотворение я послал Ляльке в Сыктывкар и оно напечатано в газете пединститута, в котором она учится. Я не мастер писать любовные стихи, особенно с участием природы, но это, по-моему, приличное.

Оно написано в память о двух днях, проведенных в Сыктывкаре:

Светлане

Я в эту ночь расставляю часовыми
Вдоль тихой улицы ночные фонари
И буду сам до утренней зари
Бродить с дождем под окнами твоими.

Шататься городом, чьи улицы пусты,
И слушать, как шумит листвою ветер.
Лишь для того, чтоб утром, на рассвете
Услышать от любимой — “Это ты?”».

Неожиданно солдатская служба Довлатова, которую, наверное, все считают суровой и тягостной, оказалась самым светлым периодом его жизни — искренняя и, видимо, платоническая любовь, осознание своей силы и настоящего, бескорыстного признания. Раньше всегда приходилось сомневаться в истинности отношений, искать (и часто находить) в них корыстную подоплеку. Но в искренности любви Светланы к солдату Довлатову почему-то не сомневаешься. Ласковые, легкие разговоры, горячее желание помочь друг другу, смешные прозвища, которые влюбленные придумывают друг для друга.

«…Сегодня говорили со Светланой по телефону, она кричала: “Что тебе прислать, центнер? (она зовет меня центнер). Что прислать? Ну скажи первое, что придет в голову!” Я сказал — “фотографию”. Если она пришлет, то я могу лишнюю послать тебе.

Я маме послал одну Светкину карточку. Посылаю тебе другую, ее тоже надо вернуть.

Светлана неожиданно оказалась чистокровной коми. Ошеломительно нормальная… Отец ее тоже хорошо готовит.

…Если все три года она меня не оставит, привезу ее в Ленинград. Эти три года будут для меня временем самых искренних поступков и самых благородных чувств».

Может, и стоило ему тогда жениться на правильной, веселой, простодушной и честной Светлане Меньшиковой? Жизнь бы его точно сделалось проще и чище, Сергей был бы любимым, уважаемым, ухоженным мужем, а Светлана из Сыктывкара, хорошая, правильная, веселая, была бы ласковой и заботливой женой, и, наверно, Сергей мог бы быть счастлив… и наверно, и писателем мог бы стать — ведь жизнь никуда бы не делась, и время уже шло в нужную сторону, и хороших писателей уже начинали печатать…

И вовсе не обязательно было им оставаться в Сыктывкаре, ведь Сергей писал отцу о желании привести Свету в Ленинград. Есть ведь прекрасные писатели и со счастливыми семьями… А? Светка могла бы разогнать его шутовскую пьяную свиту, с которой Довлатов возился, как Пастер со своими микробами. Во всяком случае — установить дистанцию.

Почему же он увильнул? Боялся, что она вдруг начнет учить его, «как надо»? Вдруг ее трезвого, веселого взгляда не выдержит трагическая тональность его рассказов — а именно это он считал, и не без основания, самым ценным? Может быть, в этом причина?

Кроме всего прочего, он был еще не разведен с Асей, в которую, как уверял, был влюблен, — а кроме того, в одну из побывок познакомился со своей будущей женой — Леной.

Но иногда хочется пофантазировать — что бы стало с писателем Довлатовым в случае женитьбы на Светлане — веселой, энергичной, доброй, любящей его?

Может, все неприятные качества Довлатова — жестокость, конфликтность, коварство, — как раз и происходили от напрягов и перекосов в личной жизни, а с человеком прямым и веселым все эти ужасы рассеялись бы? Думаю, Света понравилась бы и его умным друзьям — слава богу, они умели отличать настоящее от поддельного.

И главное — в глаза и уши Довлатова хлынула бы жизнь Светкиных друзей, родителей, знакомых — целый пласт обычной российской жизни, какой жили тогда миллионы. Но, похоже, ему это было не нужно, в его замыслы это не укладывалось. Он двигался своим маршрутом, лишь смутно ощутимым и не понятным пока ему самому. В очаровательной Светлане, к которой он действительно испытывал самую искреннюю симпатию, сюжета он не нашел. В трогательном письме к отцу он писал: если три года пройдут хорошо — привезет Светлану домой… Видишь на газетной фотографии Светлану той поры — веселую, славную, белозубую, — с подписью: «Светлана Меньшикова, чемпионка Коми АССР в беге на 100 и 200 метров» — и думаешь: «Эх, упустил ты, Серега, свое счастье!»

«Увы — он счастия не ищет!» От счастья он, скорей, бежит…

Весна 1963 года:

«Дорогой Донат!

В твоем письме Светке я, думаю, больше всего ей понравилась твоя фраза: “Ваши отношения к тому времени не только определятся, но и оформятся”. Дело в том, что Светлана узнала, что у меня есть жена.

Я Асе написал короткое письмо о разводе, она не ответила.

Стихи мне надоели. Мечтаю написать хорошую повесть. Куда и стихи войдут.

Газетка “Молодежь Севера” скандалит со мной из-за того, что я пишу грустные стихи, но я на них плевал.

Буду поступать в ЛГУ, но до этого предприму свирепую попытку поступить в Литературный Институт в Москве. Врачиха осмотрела мою ногу и твердо сказала, что меня должны

комиссовать! Хотел прислать тебе несколько рассказов. Светлана Меньшикова в Сыктывкаре».

И что же с ней? Увы, она не оправдала его высоких требований. Написала письмо с упреками — зачем он покинул ее. Один из сыктывкарских друзей признался в своем письме, что весьма удачно «штурмовал эту крепость» и был остановлен лишь в последний момент. Какой ужас! К тому же, как сообщает Сергей, родители ее (явное согласия Светланы) написали ему письмо, в котором сообщили о беременности дочери. «Но ведь для этого, — возмущается Довлатов, — нужен, как минимум, половой акт!» В общем — недостойный шантаж: «Люди коварны и лживы, Донат — поэтому я все больше ценю свое легкомыслие!»

…Продолжаю переживать за Светку — почему же Довлатов ее не взял? Наверное, он убрал ее как «лишнего свидетеля». Он уже понимал, что спасение его — «Зона». Но не та, в которой он был, а та, которую напишет и которая будет гораздо лучше настоящей.

А честная и правдивая Светка, нависая над его плечом, могла засмеяться: «Что же ты пишешь, центнер? Ведь все же совсем не так!»

Вот не надо этих насмешек! Сами разберемся!

Весь суровый лагерный опыт — это всего пять процентов требуемого текста, остальное все надо «дать из себя»! Главное из всего прожитого, пожалуй, — его авторитет «лагерника»; теперь ему никто не посмеет возразить — не так! И уж тем более — Светка. Иметь при адской предстоящей работе такого «свидетеля» за спиной — не выдержишь, не сделаешь. Единственным хозяином своего ада должен быть он. И потому — прощай, солдатская любовь! Как писал Довлатов в одном стихотворении: «Не набить ли мне морду себе самому?» К счастью, Светлана сохранила о нем хорошие воспоминания (или они стали такими с годами), о чем и сообщила в телевизионной передаче через много лет. Довлатов в жизни обидел не только ее — и голоса обиженных им рвут душу. Но его жестокость во многом была «производственной необходимостью» или даже «профессиональной болезнью» — от нее он, наверно, и лечился вином. Жизнь писателя оценивать по обычным меркам нельзя, и лучше всего об этом сказал Пастернак:

Что ему хвала и слава
И народная молва
В миг, когда дыханьем сплава
Слово сплавлено в слова?

Он на это мебель стопит.

Дружбу. Совесть. Разум. Быт.
На столе стакан не допит.
День не прожит. Век забыт.

Светлана Меньшикова, биолог, в то время студентка Сыктывкарского пединститута, спортсменка, чемпионка Коми АССР в беге, романтическое увлечение солдата Довлатова, и сегодня живет в Сыктывкаре. Сергей называл ее Лялькой, но десятки стихотворений, посвященных ей, всегда подписывал одинаково — Светлане.

…Наверно, в один из приездов Довлатова в город из армии я и встретил его на Литейном. Мы не были с ним еще знакомы, хотя прежде виделись мельком. Кстати, по Ленинграду ходил веселый слух, что Довлатов-младший охраняет на зоне зэка Борю Довлатова! Как же «липли» к Довлатову славные сюжетцы! Но надо уметь эту ««притягательность» создать! В тот раз мы переглянулись с Довлатовым — и разбежались. И он — ладный, в шинели с бляхой — весело побежал через Литейный.

Глава шестая. Блистательные шестидесятые

Для меня начало шестидесятых было временем счастья — еще не достигнув больших побед, мы уже почему-то их праздновали. Вполне возможно, что рановато начали — потому и не достигли самых вершин? Но как удержаться, когда окружающая жизнь так прекрасна? Моя зарплата молодого инженера была сто двадцать, а в ресторане можно было вполне погулять вдвоем на десять рублей — сухое вино, сациви, цыплята табака. Особенно ценно, если вечера всегда проходят в наилучшей компании — тебя уже знают, как начинающего, но перспективного писателя, ты уже свой в этой великолепной компании молодых литераторов, художников, режиссеров. Мы вместе, мы победили! — с этим ощущением счастья мы и гуляли. Мы слышали, что где-то там вроде бы существуют еще какие-то остатки советской власти и даже проходят зачем-то, во что просто трудно поверить, какие-то «поворотные» и даже «судьбоносные» съезды… Говорят, «верха» разбились на прогрессистов и реакционеров, и борются между собой, и сами же с волнением это наблюдают. Но кому, господи, это интересно, кроме них самих? На самом деле их нет уже, а жизнь — здесь!

Самым модным местом тогда, безусловно, был ресторан в гостинице «Европейская». Входишь в шикарный мраморный холл (швейцар кланяется и открывает дверь) и чувствуешь себя успешным, элегантным завсегдатаем элитного клуба, посещаемого знаменитостями. Вон ждет кого-то Василий Аксенов, а вот спускается по лестнице великий артист Николай Симонов с дамой. И ты, еще студент, полон гордости — попал в лучшее общество. Атмосфера комфорта, уюта и благожелательности начиналась с гардеробщика, добродушнейшего Ивана Павловича. Лишь самые знаменитые здоровались с ним за руку, но он помнил и нас, юных пижонов, и встречал всегда радушно. Привыкать к светской жизни надо с молодости — если упустил время, то уже никакие деньги не помогут. Раздевшись и оценив себя в зеркалах, мы поднимались по лидвалевской мраморной лестнице. На площадке второго этажа раскланивались со знакомыми. Более элегантных женщин и, кстати, мужчин, чем тогда в «Европейской», я больше нигде и никогда не встречал. Откуда в конце пятидесятых вдруг появилось столько красивых людей — уверенных, элегантных, изысканных, входивших в роскошный зал ресторана спокойно, как к себе домой? Впрочем,

«Европейская» всегда была оплотом роскоши, вольномыслия и некой комфортной оппозиции — и при царе, и в революцию, и в годы нэпа, и в сталинские времена. Мол, вы там выдумывайте свои ужасы, а мы здесь будем жить по-человечески: элегантно, вкусно, любвеобильно и весело — и нас уже не переделать, можно только убить. Когда в молодости оказываешься среди таких людей — и сам получаешь запас оптимизма и уверенности на всю жизнь. Тем, кто пировал тогда в «Европейской» — Бродскому, Битову, Барышникову и многим другим, — я думаю, эти «университеты» помогли самоутвердиться раз и навсегда.

Если в ресторане тебя просили немного подождать, то делали это уважительно, без нажима, никаких «местов нет!» и «куда прешь?!». И вот входишь в любимый зале высоким витражом над сценой, где сам Аполлон летит на тройке по розовым облакам, кругом — мрамор, яркие люстры, старая зеленоватая бронза, огромные китайские вазы. Ножи, вилки, икорницы и вазочки для жюльенов из тяжелого светлого мельхиора, рюмки и фужеры из хрусталя. Говорю абсолютно серьезно: окунуться в эту атмосферу, почувствовать себя здесь уважаемым и желанным — не было лучшего воспитания для нас.

На сцене под Аполлоном царствовал красавец с пышными усами — руководитель оркестра Саня Колпашников, всеобщий друг и любимец. Играли музыканты зажигательно, и кто только из городских знаменитостей не плясал под их дудку!

Вспоминаю праздник своего первого гонорара в ресторане «Европейской». Гонорар тот был — как сейчас помню, — сорок рублей за короткий детский рассказ. Что сейчас позволишь себе на эту сумму? А тогда удалось снять отдельный кабинет, ложу, нависающую над залом, туда вела отдельная узкая деревянная лестница. Приглашены были друзья — писатель Андрей Битов, физик Миша Петров — впоследствии знаменитый ученый, дважды лауреат Гос-премии, — и пять красавиц-манекенщиц из дома моделей. Мысли о том, что сорока рублей может не хватить, даже не возникало. Их хватило вполне и даже с лишком.

— Раскиньте же нам, услужающий, самобранную скатерть как можно щедрее — вы мои королевские замашки знаете! — этой фразой из любимого нами Бунина мы обычно предваряли наш заказ, и официанты нас понимали. Какая жизнь была в этом ресторане когда-то, и неужели мы ударим в грязь лицом перед великими, что пировали до нас?! На столике появилась горбуша с лимоном, обезглавленные, слегка хрустящие маринованные миноги, лобио из розовой, в мелких точках фасоли, размешанной с молотым грецким орехом… ну — бутылочек восемь гурджаани…

— Бастурму попозже? — понимающе промурлыкал официант.

— М-м-м-да!

Насытившись и слегка захмелев, мы благожелательно осматривали зал. Красавицы наши, измученные модельным аскетизмом, слегка ожили, на их впалых щечках заиграл румянец.

— Хересу! Бочку хересу! — крикнул я официанту, и бочка приплыла. Погас свет, во тьме заходил лучистый прожектор. И со сцены ударила песня — «Вива Испания» — самая удалая, самая популярная в том сезоне, и все, вскочив с мест, выстроились и запрыгали цепочкой, вместе с Колпашниковым, выкрикивая в упоении: «Вива Испания!» Не знаю, были ли в зале испанцы — вполне хватало нас. В те славные годы иностранцы еще не повышибали нас из всех кабаков, как это случилось в семидесятые. Так что — «Вива Испания!».

Мы еще не отдышались, как рядом появился гардеробщик Иван Палыч.

— Там вашего писателя вяжут! — дружески сообщил он.

Мы кинулись вниз по знаменитой лестнице архитектора Лидваля. Андрей Битов был распростерт на мраморном полу. Четыре милиционера прижимали его конечности. Голова же его была свободна и изрыгала проклятия.

— Гады! Вы не знаете, кто такой Иван Бунин!

— Знаем, знаем! — приговаривали те.

Доброжелательные очевидцы сообщили подробности. Андрей, сойдя с лестницы, вошел в контакт с витриной, осерчавши, разбил ее и стал кидать в толпу алмазы, оказавшиеся там. Набежали милиционеры, и Андрей вступил, уже не в первый раз, в неравный бой с силами тоталитаризма.

— Небось, Бунин Иван Алексеич не гулял так! — сказал нам интеллигентный начальник отделения, куда вскоре нас привели.

— Ну как же! — воскликнул я. — Вспомните — в девятом томе Иван Алексеевич пишет, что однажды Шаляпин Федор Иваныч на закорках из ресторана его нес.

— Ну тогда другое дело! — воскликнул начальник.

И тут в это невыразительное подвальное помещение вошли, сутулясь и слегка покачиваясь (видимо, от усталости) наши спутницы.

— Вот девушки хорошие у вас! — окончательно подобрел начальник.

И мы вернулись за наш столик. Увидев нас, Саня Колпашников радостно вскинул свой золотой саксофон.

— Моим друзьям-писателям и их очаровательным спутницам!

И грянуло знаменитое «Когда святые маршируют»! Мы снова бросились в пляс. Чем заслужили такое счастье тогда? Наверное,

это был аванс, и мы потом постарались его отработать. Вечер этот, можно сказать, оказался важным, «столбовым», одним из тех, что характеризуют то время.

Удивительно, что писатель Аксенов Василий Павлович тоже оказался участником тех событий. В тот самый вечер он тоже находился в ««Европейской», но в ресторане «Крыша», на пятом этаже. Ресторан этот тоже был популярен, но считался попроще. Василий Павлович спускался уже вниз с Асей Пекуровской, женой Довлатова, бывшего тогда в армии… или уже нет? Если он и появился уже в городе, то сильного впечатления это не произвело. А по хладнокровной Асе вообще невозможно было понять — здесь Сергей или нет, и какие у них на этой стадии отношения. Всегда прекрасна, улыбчива, весела — и непроницаема. И вот, спускаясь по знаменитой лестнице, выстроенной гением северного модерна Федором Лидвалем, Ася и Вася заспорили, есть ли в Питере хорошие писатели — или все, подобно Аксенову, уже в Москве?

— Назовите кого-нибудь! — требовал Аксенов.

И тут они увидели распластанного на полу Битова.

— Вот, пожалуйста, один из лучших представителей петербургской прозы! — указала Ася, и они пошли на такси. Об этом я узнал через много лет из уст Аксенова, и снова восхитился: какая же бурная тогда была жизнь! Как густо роились таланты!

Сейчас я иногда бываю в «Европейской», но на тот прежний гонорар там можно выпить только пол-чашечки кофе. Поэтому богема гуляет теперь в других местах, «на много этажей ниже».

Возвращаясь к тем годам, вспоминаю другой эпизод. В тот вечер я забежал в «Европейскую» на минутку — я ждал дома гостей и хотел купить несколько банок знаменитого тогда ярко-оранжевого сока манго, который был тогда только в «Европейской». Но — какие проблемы? Заскочить туда для нас было так же просто, как в магазин.

Я решил даже не заходить в большой ресторан на втором этаже — можно все сделать в небольшой, уютной, более «домашней» «Крыше» на пятом. Поднявшись на лифте в невысокий зал ресторана под стеклянными сводами, я подозвал знакомого официанта, договорился с ним и присел в ожидании за крайний круглый стол, накрытый накрахмаленной скатертью. Рассеянно оглядел зал — знакомых никого поблизости не увидел. И слава богу — загуливать я в тот день не планировал, стремился домой встречать гостей. И вдруг приятный женский голос окликнул меня от дальней стенки: «Валерий!» Кому я понадобился? Сколько благих намерений загубила «Крыша»!

Сколько раз заходил сюда скромно поужинать, без вина, а заканчивалось… Я подошел. За столиком в дальнем углу сияла Ася. С ней был Василий Аксенов — пара эта была уже не раз зафиксирована в светских хрониках. Аксенов поздоровался вежливо, но несколько скованно. То ли ему было все же как-то неловко светиться с женой опального писателя, сосланного, подобно Лермонтову и Пушкину, то ли блистательная Ася уже утомила его своим блистанием, и он, казалось, охотно бы сейчас ушел и вздремнул, вместо того чтобы опять демонстрировать себя очередному ее питерскому знакомому.

Я тоже слегка приуныл. Зря подошел. Не то чтобы я не любил Аксенова — я его обожал, как многие тогда. Замечательные его сочинения, мудрые и веселые, да и он сам, небрежно-элегантный, обаятельный! Трудно было смотреть, не щурясь, сердце выпрыгивало из груди, невозможно было вести с ним обыденную беседу — вместо того, чтобы выпалить, как ты любишь его! Помню, даже в Коктебеле, где мы познакомились, я с томительным чувством избегал вечером набережной, где все прогуливались, чтобы лишний раз не встретиться с ним и не разволноваться.

И вот — встреча лицом к лицу! Волновался не только я — волновался, как мне почему-то показалось, и Аксенов. Лишь Ася была невозмутимо-прекрасна. Она уже продемонстрировала свою роль в истории литературы и продолжала в этой роли блистать. Теперь, наверное, что-то должен продемонстрировать я, ее питерский друг и, очевидно, поклонник — и тогда этот эпизод светской хроники будет безукоризненным, хоть завтра в мемуар!

Не могу сказать, что я был в Асю влюблен, — но и не скажу, что меня так уж обрадовало ее кокетничанье с более блистательным партнером, который к тому же и меня сводил с ума, и значительно в большей степени, чем Ася.

— Как там… Сережа? — вдруг брякнул я.

Ася вдруг смутилась, что ей было крайне несвойственно.

— Пишет… Утверждает — «Я ифе фкафу фое фофо в ифкуфе (я еще скажу свое слово в искусстве)!» — дурашливо шепелявя, проговорила она, пряча, как показалось мне, за этой дурашливостью столь нехарактерное для нее смущение то ли неловкостью ситуации, то ли неловкостью за своего мужа-увальня, не достигшего тех высот, на которых она сейчас блистала.

«А где сейчас ее несчастный муж? — подумал я. — Решил, не достигнув успеха “влет”, поразить нас теперь “суровой правдой” об армии? Набирается жизненного опыта? Нет уж, это в прежнее время было модно, а сейчас с таким затхлым багажом только

пуще опозорится. Неужто умнейшая Ася это не понимает? Она-то как раз понимает, поэтому и сидит здесь с другим. Отлучаться из литературы нельзя — тем более надолго. Пропусти хотя бы год — и тебя забудут, и на твоем месте заблистает другой. Такое уж время было блистательное — гении появлялись, как грибы… И к чему это она произнесла? Неужто вдруг надеялась, что все сейчас вдруг заткнутся, перестанут блистать и начнут терпеливо ждать, пока какой-то двоечник, вылетевший из университета, отслужит в армии, потом вернется, вытащит из драного рюкзака свой «дембельский альбом» и что-то промямлит! Неужто он в своей глуши не соображает, что здесь, на Олимпе, это неинтересно уже никому? Бедный Серега! И зачем я только про него спросил!»

— Садитесь! — пышноусый и великодушный Аксенов подвинул стул.

— Нет, спасибо! Спешу! У меня гости.

— Кто? — дружелюбно поинтересовалась Ася.

— Москвичи, Арканов и Горин. У них премьера в Театре комедии. Обещали зайти.

— Тогда мы тоже пойдем к вам! — радостно сообщила Ася, правильно сообразив, что перемена декораций уместна и может взбодрить московского гостя: перед знаменитыми коллегами-москвичами и Вася блеснет!

Потом мы ехали в такси по темной улице Белинского, и великолепный Василий Павлович, пытаясь тактично поставить себя на один уровень с нами, грешными, благодушно ворчал, что снова болит нога, как бы отрезать ее не пришлось, и пытался поудобнее расположить ее в тесном и темном салоне машины.

— Вы и без ноги будете великолепны! — произнесла блистательная и безжалостная Ася.

Потом мы поднялись в мою квартиру (вернее, комнату) на Саперном, вскоре пришли веселые Арканов и Горин — с успехом, цветами и очаровательной исполнительницей главной роли в их спектакле «Свадьба на всю Европу» — и вечер заиграл!

— …В Америку меня сопровождал полковник, — своим очаровательным сипловатым тенорком говорил Аксенов. — Главное, все старался мне показать, что эта роскошь для него — дело привычное! «Я этих висок… каких только не пил!»

Все смеялись и были счастливы. Вечер удался. Да еще бы ему не удасться — в такой компании! А где же в это время был Сергей?

…Фактически — нигде. Уже бывает в Ленинграде, но из армии еще не ушел. Положение было неопределенным. Донат Исаакович в это время ставил спектакль в другом городе. К счастью для нас и для истории, потому что Довлатов опять писал

письма отцу о ленинградских впечатлениях, и письма эти тоже сохранились. Он сообщает о своих поездках в Комарове, писательскую Мекку под Ленинградом. Правильно выбирает маршруты! Родственник его сводной сестры по отцу Ксаны Мечик, которой он все время передает приветы в письмах, работает директором Дома творчества писателей в Комарове, и Сергей общается с юной Ксаной, приглядывается к писательской жизни, даже играет партию в городки с каким-то неизвестным ему писателем — и, без сомнения, выигрывает!

Глава седьмая. Тайны «ремесла»

Еще не совсем покончив со службой, но уже часто бывая в городе, Сергей соединился с Леной и начал новую жизнь… Работая над этой книгой, я поначалу пытался выяснить все: когда Лена родилась, где училась, кем работала до встречи с Довлатовым… Но вдруг почувствовал — тут грозит никому не нужный, проигрышный «перебор». Пусть лучше останется тайна, которая более свойственна ее облику, и ей идет. И в тайне, может быть, одна из причин ее магии. Глаза ее выражают гораздо больше, чем она произносит вслух, — и эта ее неразгаданность, это ощущение какой-то тайны, которая рядом, но никогда не будет разгадана, думаю, заворожила и Довлатова. Случайно я узнал только ее девичью фамилию — Ритман.

Лена вспоминает: «Сначала мы снимали маленькую комнатку в Автово, потом переехали к Сергею на улицу Рубинштейна…»

Дальше передо мной стоит увлекательная, но трудная задача — осветить тот период жизни Довлатова, о котором он сам превосходно написал в «Ремесле» — от возвращения из армии до появления на берегах Нового света. Казалось бы, в «Ремесле» написано все. Уточним — все, что на тот момент автор хотел раскрыть (или придумать) для создания яркой, убедительной вещи, убеждающей в том, в чем он хотел нас убедить. Убедил! Хотя многое из тех лет Довлатов «вырезал» не хуже какого-нибудь цензора. В частности, там почти отсутствует личная, семейная тема. А если она и есть — то в причудливых вариациях. С присущей ему щедростью таланта Довлатов изобразил свое знакомство с женой в трех разных сочинениях по-разному: то ее забыл у Довлатова после выпивки его друг Гуревич, то она зашла к нему агитатором перед выборами. Третий вариант (и опять другое имя) — они познакомились в мастерской знаменитого художника. Но в действительности, пусть это выглядит и не так интригующе, все произошло так, как говорит Лена: они увидели друг друга мельком, потом во время одной из побывок Довлатова, вдруг встретились в знаменитом кафе «Север» на Невском, потом еще встречались, потом — сошлись. Так что Довлатов уже знал, кто ждет его в Ленинграде после армии. Лена — скромная и надежная, терпеливая и понимающая, была спасением для него — тем более после коварной Аси, которая только терзала ему душу, да и в роли «солдатки», когда Довлатов был в армии, проявила себя не лучшим образом. Любой нормальный дембель, вернувшись «из рядов», так бы этого не оставил. Лена была противоположностью Аси, при этом не уступая ей внешне — по

определению Сергея, была «красива какой-то древней красотой».

Вспоминает Лена:

«Когда Сережа вернулся из армии, сразу стало понятно, что он будет заниматься литературой, к тому времени у него уже были написаны рассказы на армейском материале. Помню, еще до того как я переехала в коммунальную квартиру на Рубинштейна, мы снимали крохотную пятиметровую комнату в Автово. Сережа тогда рассчитывал, что по состоянию здоровья ему удастся уйти из армии пораньше, и ему дали длительный отпуск. В той комнатке он и написал первое “серьезное" произведение: маленькую повесть “Капитаны на суше”. В переработанном виде ее эпизоды позже вошли в “Зону”. Повесть нигде не публиковалась. Рукописный ее вариант в толстой “общей” тетради был прочитан небольшим количеством знакомых. Потом эта тетрадь исчезла. По возвращении из армии были написаны новые рассказы, с них и началась биография писателя. После армии Сережа писал очень много и довольно быстро. Он старался использовать для этого любую возможность и писал даже в рабочие часы, если это удавалось. Постепенно, когда он уже становился профессиональным писателем, Сережа стал предпочитать работать утром».

«В рабочие часы» — здесь подразумевается, очевидно, его работа в многотиражке кораблестроительного института «За кадры верфям». Довлатов работал там до 1969 года, а потом уступил это место Лене.

«Я демобилизовался и, находясь под впечатлением увиденного в лагерях особого режима, стал писать рассказы и рассылать их по редакциям. Нормой для меня в те годы было писать по одному рассказу вдень и, соответственно, я рассылал по газетам и журналам семь пакетов в неделю. Получал я почти одинаковые ответы: “Ваш рассказ нас заинтересовал, но, по понятным вам причинам, опубликован он быть не может. С уважением…” Помню, как раздражало меня это “с уважением”… Какое уж тут может быть уважение к человеку, посылающему в редакцию свой рассказ, который по понятным самому автору причинам не может быть опубликован!»

Еще одна блистательная довлатовская фраза — но как всякая блистательная фраза, она не отражает всей реальной, рыхлой и корявой жизни, отбрасывает все лишнее. А «лишнее» здесь то, что на самом-то деле Довлатов догадывался, если не знал твердо, что рассказы его не могут быть опубликованы в СССР. И, увы, не только из-за политики. «Политики»-то у него как раз было намного меньше, чем у Солженицына и Шаламова, а их вещи уже были напечатаны и имели шумный успех. Но в добавление к

политике нужно что-то еще, что перевешивало бы естественные страхи редакторов той поры. И Довлатов, я думаю, это понимал, отчего отчаяние его становилось вовсе не меньше, а больше. Дело было как раз в рассказах, а не в «чудовищном окружении», признавшем ведь все-таки Шаламова и Солженицына! Вспоминает близкий друг Сергея Михаил Рогинский:

«Сережа начинал робко, я могу даже сказать — непрофессионально. Однажды он обратился ко мне с вопросом, сможет ли он зарабатывать на жизнь литературой. Я ему достаточно определенно сказал: нет. Он писал какие-то рассказы о спортсменах, все это казалось ходульным и надуманным. Я не верил в него как писателя — и ошибся, как известно…»

«Ремесло» посвящено лишь внешним препятствиям, несправедливостям и гонениям со стороны окружающей жизни — качество рассказов, с которыми происходят злоключения, как бы не рассматривается, они как бы априори совершенны — несовершенен лишь мир вокруг них. Разумеется, такая «условность» впечатляет сильней, вызывает большее сочувствие к автору. Но если говорить о реальности… Рассказы свои тогда он довольно широко раздавал, считая возможным (в отличие, скажем, от меня) постепенное их «обкатывание» в чужих руках на пути к совершенству.

Как сейчас вижу тоненькую пачку его рассказов у себя на столе — уже слегка мятую, с загнутыми краями. Тусклый текст второго или даже третьего экземпляра машинописного текста. Помню, именно как машинописный текст их я и воспринимал. К машинописи были другие, свойские, заниженные требования. Тогда многие писали «машинописные тексты», явно не предназначенные для официальной печати, а как бы даже вопреки ей. Вот вам! Скомкано и небрежно! А чего стараться-то — все равно ведь не напечатаете! Эта демонстративная «скомканность и небрежность» читалась не только во внешнем облике тех листков, но и в их содержании. Демонстративное пренебрежение сюжетом, логикой, психологией… Все равно ведь не! Главное — чтобы было видно, что гений, и что не любит советскую власть… а отделывать сюжет, то-се… этим пусть коммуняки занимаются, их кормят за это, а мы — люди свободные! Эта демонстрация свободы в ущерб форме и содержанию была для «наших» почти обязательной. Такое «безграмотное упоение» некоторое время владело и Довлатовым.

Из той пачки помню только один рассказ — кажется, «Случай на заводе имени Кулакова». Жена приезжает навестить заключенного, но охранники ставят ей условие: сначала «посетить» их. «Делай, как говорят начальники!» — злобно хрипит

зэк. В «Зоне» это потом пригодилось… но тогда этот клочок текста не занимал, помнится, даже страницы. Гляделся лишь как вызов — и все. Мол, еще и работать на этих коммунистов, качество выдавать? Не дождутся! Нам главное заклеймить плюс показать свою непримиримость и гениальность, а остальное всё — не наша забота! Где это, в лучшем случае, могло быть напечатано? В каком-нибудь «Молодом Ленинграде» среди других таких же недоделанных проб пера? Со временем умный Довлатов осознал — куда ни адресуй, хоть и в логово врага, надо дорабатывать, делать сочинение печатным по форме, и лишь тогда У него появится право сетовать на непроходимость содержания. О той стадии он сам потом безжалостно написал: «Строжайшая установка на гениальность мешала овладению ремеслом». Он это понял и стал работать… А многие из той когорты так и остались воинственно стоять с клочками машинописи в руках — вот, загубили талант! Но эти клочки, увы, не читаемы ни при какой политической погоде.

Виртуозность Довлатова еще и в том, что он блестяще написал о глумлении режима над шедеврами, которых тогда у него на самом деле еще и не было. И история об этом под названием «Ремесло» только и есть реальный шедевр — а то «ремесло», которым он якобы владел уже давно, те «загубленные шедевры», над которыми глумились злодеи, в реальности не существовали. Ловко. Экономно. То есть он блестяще выиграл игру с шестерками на руках, которые он тут же бросил «рубашками» вверх и никогда никому их потом не показывал… но выиграл. История издевательств над молодым талантливым писателем впечатляет. Хотя талант и состоятельность его подтвердились гораздо позже — после написания крупных, законченных вещей. Но — победителей не судят.

Свидетельства Сергея о том, что после армии он оказался в Ленинграде с готовой «Зоной» в рюкзаке, оказываются очередной его мистификацией, необходимой в нужный момент для новой, более выигрышной версии его биографии, — но реальности это не соответствует. Конечно, Довлатов вернулся из армии переполненный впечатлениями и азартно делился ими в дружеских компаниях. В ту пору самым популярным местом сбора таких компаний была знаменитая пивная «Под Думой», на первом этаже бывшей городской думы, под высокой башней бывшего Зеркального телеграфа, видной с любой точки Невского. Там, в кипении пивной пены, среди рыбьих скелетов на блюдечках, царствовал Довлатов, и истории его пользовались успехом. Я запомнил две: одна байка о том, как командир разглагольствует перед строем солдат, и один из них вдруг

произносит: «Вынь… изо рта! Говори разборчивей!» Вторая байка о том, как один тамошний житель зарубил топором пятерых, но когда ему объявили смертный приговор, ужасно удивился и даже расстроился, забормотал, глядя на судей: «Ну чего вы? Прямо как неродные! Прямо как неродные все тут!»

Конечно, все эти перлы ему пригодились, и даже можно найти связь второго случая с эпизодом суда в рассказе «Офицерский ремень» — но нет никого из самых преданных его друзей, кому бы он уже тогда показал окончательно сделанную им «Зону». От «короля пивной» до любимого всеми писателя путь неблизок. Да что говорить, если окончательный вариант «Зоны» включает и уже нью-йоркские эпизоды! А тогда из пивной пены еще не появилась она — трудную историю ее создания мы расскажем в одной из следующих глав. То, что было в его рюкзаке после армии, и та «Зона», которой он покорил всех, отличаются, как трава и молоко. Самое ужасное, что он ощутил, оглядевшись в литературном мире, — что «Зону» в том виде, в котором он может ее выдать сразу, сейчас наверняка не напечатают и, увы, не только из-за темы — как раз тогда лагерная тема гремела. И не из-за безнадежности — безнадежен пока что он. И именно это, а не «совиные крыла» реакции, на которые привычно все валят, повергало Довлатова в отчаяние.

Повесть его, уже позже, долго не лезла и в эмигрантские «ворота», ее встретили с недоумением: совсем не то что надо — маловато «ужаса застенков»… Так в каких же «воротах» ее встретят с триумфом и музыкой? Таких «ворот» не было, их еще только предстояло построить. Все его попытки как-то вписаться в литературную реальность тех лет говорят о полной растерянности. Здешняя «вохра» оказалась более суровой, более высокомерной, более неискренней, запутанной и коварной — и стать любимцем ее так легко, как это удалось в лагере, здесь Довлатову не удалось. Бережок покруче будет!

Его жена Лена пишет, что Довлатов, даже встав с похмелья, тут же садился за стол и писал. Что он тогда писал?

«Однажды я подарил Сергею, — пишет Веселов — портрет Фолкнера с цитатой на обороте: “Нигде — ни в мирных долинах, ни в безмятежных тихих заводях старости, ни в зеркале детских очей, в которых увидят они отражение прошлых бедствий и грядущих надежд, — нигде не покинет их это воспоминание”. Имелось в виду, конечно, не убийство Кристмаса из “Света в августе”, а некое общее для нас воспоминание. Ради него и была выписана цитата. Сергей пропустил мимо ушей риторику Фолкнера, но вцепился в слово “заводи”. Скоро я прочитал: “Когда-то мы скакали верхом, а теперь плещемся в

троллейбусных заводях”».

Это был рассказ «Когда-то мы жили в горах», опубликованный в весьма популярном юмористическом журнале «Крокодил», — одна из первых довлатовских публикаций. С рассказом этим сразу же случился скандал. В нем не увидели ни южной патетики, ни лиризма — ничего, кроме зубоскальства. Из Армении в редакцию журнала хлынул поток гневных писем от «трудовых коллективов», общественных организаций и даже от чемпиона мира по шахматам Тиграна Петросяна. Я сам видел письмо на бланке Академии наук Армянской ССР.

С одной стороны, Довлатов немного гордился этой вдруг сразу обрушившейся на него популярностью, хранил и невзначай показывал всем эти «знаки внимания», с другой стороны, был напуган и даже ошеломлен. Он все же не исключал (как один из вариантов) успех в официальной литературе, которая тогда являла как раз примеры вольности и некоторой привлекательности… и вдруг сразу такой удар! Что же делать?

Попытка прильнуть к армянским родственным истокам и на этом как-то выиграть (дружба народов все-таки!) обернулась провалом. Но мудрый армянин Довлатов сделал тут, я думаю, правильный вывод: что общество несовершенно — это понятно, важнее сосредоточиться на совершенстве рассказов. Хотя несовершенство нашего общества тоже в конце концов его «достало». Но главный наш с вами интерес — проследить, как Довлатов делал себя, с самого начала пути. Если не знаешь что делать — делай себя. Поднимай свое имя. Это он умел. Довлатов обладал врожденной способностью «заваривать кашу», возбуждать жуткий скандал и оказываться в центре его. Способность для писателя весьма ценная… хотя и не самая главная.

А какие писатели были тогда! Еще в 1958 году вышел замечательный роман Федора Абрамова «Братья и сестры». В 1963 году Абрамов написал правдивый очерк о колхозных делах «Вокруг да около», «удостоенный» сурового разноса в специальном постановлении ЦК, — после этого автора четыре года не печатали. В 1962 году вышел все перевернувший роман Солженицына «Один день Ивана Денисовича» — сперва в «Новом мире», а потом в «Роман-газете» тиражом два миллиона экземпляров! Солженицын был сразу же выдвинут на Ленинскую премию, которую, правда, ему не дали. И хорошо, что не дали! Хотя и этим, я думаю, Солженицына не сбили бы с его пути.

С конца пятидесятых выпускал книгу за книгой Юрий Казаков, чьи прекрасные деревенские и северные рассказы продолжили бунинскую, глубоко русскую традицию. Засиял Юрий Трифонов с его психологичностью, обстоятельностью,

глубоким знанием жизни и истории — сравнить с ним тогда было некого. И писал он остро, бесстрашно, «на грани». То были годы появления замечательных писателей, вернувших нам чувство страны, чувство истории, и годы появления новой литературы, не похожей на прежнюю, сталинско-советскую, — а похожей, скорее, на давнюю, почти забытую, затейливую литературу двадцатых — тридцатых.

Появился веселый, вольный, городской модник, любимец интеллигенции Вася Аксенов (то, что все, даже незнакомые звали его Васей, как раз и говорит о близости и любви). Высокая, учительская литература чуть утомляла, а тут — свой парень с нашими замашками и привычками! Ура! Такой любви и славы не было ни у кого ни до, ни после… Так что, неизвестно еще, кто больше теснил тогда Довлатова — чужие или свои. Думаю, он все-таки больше мучился из-за «новых наших» — старые, советские уже уходили. А вот новые! Было ясно, что даже если у него вдруг все наладится — стать первым у него не выйдет. Олимп был уже занят и сиял блистательными именами!

Краем уха о Довлатове слышали все, но литературная жизнь того времени была такой насыщенной и увлекательной, что его появление (так же как перед тем и исчезновение) сильного впечатления ни на кого не произвело. Только в одном Питере блистали на всю страну Битов, Бродский, Горбовский, Кушнер. Уфлянд, Рид Грачев. Уже все знали наизусть (пусть пока что не из книг, а только из рукописей) короткие, звонкие, накачанные и прыгучие, как футбольный мяч, рассказики гениального Виктора Голявкина.

Самыми яркими фигурами той поры в ленинградской компании, сразу приковывающими взор, были, конечно. Битов и Вольф. С прелестным Сергеем Вольфом контачили все, хотя при долгом контакте он изматывал любого. При своей ужасной безответственности, странно сочетавшейся с практичной цепкостью, Вольф тем не менее радовал глаз. Возникало что-то вроде того: как вкусно, однако, быть писателем! Неужели и ты когда-то будешь так же ярок и привлекателен, как Вольф? По-писательски мятый клетчатый пиджак, грубые ботинки, брюки-галифе, несомненно, писательская бородка и такая же трубка. Очаровательный взгляд в упор, как бывает у близоруких, добродушный и в то же время немного шальной. И даже запах табака из беззубого рта был какой-то неповторимо вольфовский, притягательный. Пузатых советских классиков мы воспринимали с насмешкой, а Вольфа тоже с насмешкой, но радостной. И хотя он благополучно печатался в советском (и, кстати, высококлассном) «Детгизе», тем не менее казалось, что с Вольфом

двигаешься куда-то на Запад, к битникам и Хемингуэю. Чтобы в те годы считаться перспективным писателем, надо было отметиться дружбой с Вольфом. Довлатов отметился, сделал свои выводы. А теперь Вольф, как и многие другие, остался в памяти лишь благодаря довлатовским строчкам. Хотя этими строчками он, конечно же, не исчерпывается…

Путь Вольфа в литературу был очарователен, хотя, быть может, и чересчур легковесен. Он рассказывал, как приехав в Москву, сразу нашел в «Национале» Юрия Олешу, и они тут же подружились. В чем-то они были близнецы (помимо, увы, гениальности, которая была лишь у одного) — оба любили вкусно выпить, уютно поговорить, оба были необязательны в обещаниях, оба ленивы и в то же время легки на подъем, оба не тщеславны в общественной карьере и оба больше всего ценили кружевное письмо.

Поздним вечером они расставались, Вольф радостно перелезал через ограду какого-то московского парка (не уверен, что безалаберный Сергей знал хотя бы его название), спокойно и счастливо засыпал, рано утром бодро вставал, умывался в пруду, чистил зубы и шел в гости к Олеше, который высокопарно представлял Вольфа «мой юный коллега». Они завтракали, пили коньяк и в клубах табачного дыма, пронизанного солнцем, говорили о литературе.

Господи, мы жили в то время, когда можно было не спеша побеседовать с Олешей! Что ж сетовать на те времена? Во всяком случае, Вольф карьеру свою сделал, в том смысле, что личность свою уже полностью пристроил так, как нравилось ему, и на первых порах мы с удовольствием шли за ним в фарватере — чаше всего, к ресторану «Восточный», где Вольф умел сибаритствовать на четыре рубля, научив этому и нас. Приятно было увидеть там в один вечер и Бродского, и Голявкина, и уже тогда легендарного битника Алексея Хвостенко, и многих других, с кем было уютно и не страшно, и с каждым глотком сухого росла уверенность, что эта эпоха — наша. Вот так мы понемножку и притирались, хоть и косились друг на друга, как стайеры в начале забега.

Андрей Битов был мрачен и тяжеловат. Голова непропорционально велика по отношению к телу (как и у меня). Его медленный взгляд вызывал озноб и чувство какой-то зависимости от него. Однажды мы шли с ним по Москве и увидели вывеску — издательство «Молодая гвардия». «Зайдем-ка!» — мрачно сказал он. Мы зашли и вышли через полчаса, я — с чувством колоссального облегчения (наконец-то закончилась эта неловкость), а Битов — по-прежнему мрачный, но с договором на

руках, который он «проломил» тяжело и стремительно, при этом почти не разговаривая — суетилась редакторша.

На самом деле тогда не было уже никакой советской идеологии, передовицы «Правды» никто всерьез не воспринимал, редакторы тоже заканчивали университеты, обожали, соответственно, Кафку, Джойса и Пруста и пытались обожать нас. Каждый редактор мечтал найти хоть что-то яркое, в духе прогрессивного времени, и «протолкнуть» (желательно не ссорясь с начальством). Битов эту их страстную мечту в точности осуществлял… пока не выпустил за границей «Пушкинский дом», после чего сделался и вовсе всеобщим кумиром. Уже не в первый раз убеждаюсь, что в жизни побеждают «буйволы» 1937 года рождения — года быка.

И главное — та блестящая плеяда, в которой так важно было быть, вела открытую, бурную жизнь, лишенную какой-либо кастовости и чванства, и чтобы оказаться рядом с ней, нужно было всего лишь прийти в источающий дивные запахи ресторан «Восточный», сесть с ними за стол и заказать бутылку сухого. И дальше уже — никаких препятствий в этом направлении. Читай свои рассказы хоть прямо здесь. Что-то подобное было, наверное, в Серебряном веке. А этот, наверно, можно назвать, к примеру, мельхиоровым, потому как к замечательным и при этом дешевым закускам подавались ножи и вилки из мельхиора… где найдешь такое теперь? И свою оценку все получали сразу. Другое дело, что власть не особо спешила признать новых гениев… но это уже ее, а не наша ошибка. Довлатов тоже там, по воспоминаниям, бывал — но как-то еще «не в фокусе». В те «ресторанные гении» он не успел, и в этом еще одно его горькое везение. Все-таки лучше быть оцененным суровым судом времени, а не хмельной эйфорией шестидесятых, где звания «гениев» раздавались все-таки слишком щедро.

Скорее всего, мы могли первый раз «пересечься взглядами» с Довлатовым в известном тогда литературном салоне Ефимовых, существовавшем на Разъезжей улице в небольшой комнате в коммуналке, что нисколько не преуменьшало его значения и влияния. В один вечер там могли оказаться и Бродский, и Уфлянд, и Кушнер, и Марамзин, и Боря Вахтин, и Рейн, и Владимир Соловьев с женой Леной Клепиковой, и много других, кто в этот текст не влезает по причине его сжатости. И кому сесть было негде, тот стоял. Накал веселья и разговоров был такой, что порой забывалось, сидишь ты или стоишь, и вдруг выяснялось, что ты давно уже стоишь и некуда не то что сесть, но даже рюмку поставить. В той толпе, что собиралась у Ефимовых в званые дни, были знакомы не все, знакомились постепенно — и всякий раз

оказывалось, что вы уже знакомы заочно.

Конечно, с официальной репутацией было трудно… Но кого это колыхало тогда?! Не представляю себе дурака, который кинулся бы за оценкой своего творчества в Смольный. Такие наверняка были, но мы их не знали. Главное — среди своих удержаться, марку не уронить! Тут все были накоротке с Кафкой и Джойсом — но уверен, никто из присутствующих не знал имени второго секретаря обкома по идеологии, да и первого тоже.

При этом многие молодые писатели, знать не знавшие всяческих секретарей и официальных звезд литературы, страстно, порой до ненависти, завидовали тем, с кем каждодневно чокались и общались… Вот где была игра! Многие завидовали тогда вдруг появившейся группе «Горожане»: почему их четверо, почему не пригласили меня? Чем они лучше, чем привлекли друг друга? Почему они так вдруг выделились? Хотят подчеркнуть, что лишь они достойны друг друга — и больше никто? Помню, я, узнав о них, не то чтобы удивился или обиделся… скорее, задумался о себе. Что за судьба? Почему я всегда только так — «на отшибе обоймы», не попадаю в группы, иду один? Ведь казалось — я с ними, как равный… с каждым из них мы были знакомы, хвалили друг друга и вдруг! В «Горожанах» сошлись писатели заметные: умный, основательный Игорь Ефимов, с такой же, как он сам, основательной прозой, уверенный и уже успешный Борис Вахтин, ученый-востоковед, сын Веры Пановой, с его роскошными текстами, яростный и стремительный Владимир Марамзин с его короткими «ударными» рассказами. Четвертым был Владимир Губин, работавший по газу, «из простых» — но, пожалуй, из всех наибольший виртуоз слова. Повторяю — они были известны и сами по себе. Но, объединившись в группу с серьезным названием, почему-то сразу выиграли… А я, как мне тогда казалось, проиграл…

Их сразу полюбил Александр Володин, замечательный драматург. Всегда рвущийся как-то нарушить сонный покой, сделать что-то дерзкое, он и за «Горожан» взялся страстно. Они читали с ним в театрах, в НИИ, везде, где клубилась «передовая интеллигенция». Вахтин рано, абсолютно неожиданно умер в расцвете сил и красоты. Марамзин уехал после скандала и небольшой отсидки. Ефимов — без скандала, но тоже уехал. Самый не предприимчивый и, может быть, самый талантливый Володя Губин тихо прожил в Купчине, продвигаясь лишь по газовой линии… Его книжку теперь можно прочесть, но интерес она вызывает лишь исследовательский: «Надо же, как затейливо писали! И ради чего?» Тогда в нашей среде важнее было — не что писать, а как. И в этом Губин был мастером непревзойденным. В

сущности, роскошь письма и была у «Горожан» содержанием, главным «посылом» их душ. И теперь вдруг оказалось, что это неинтересно! Сейчас столь затейливое письмо может всплыть вдруг совершенно неожиданно в произведениях кого-нибудь из эмигрантов, сохранивших в своем сердце те годы. Порывая с тем временем, они на самом деле увезли его с собой и бережно сохранили — а у нас никто уже так давно не пишет, все переменилось тысячу раз…

Хоть членом Союза писателей никто из нас тогда еще не был, но в Дом писателей на улице Воинова мы ходили активно. Помимо пленумов и собраний, которые никто из нас, естественно, вниманием не удостаивал, там был еще ресторан с резными панелями черного дерева и огромными окнами на Неву, где наряду с «бывшими» клубились и «будущие» — знакомились, договаривались, самоутверждались. И вообще — тогда это было светское место, центр бурлящей общественной мысли. Социолог с характерной фамилией Ядов при огромном скоплении публики желчно сообщал, что творческих людей требуется обществу не более полпроцента, остальные — тупые исполнители… и зал замирал от восторга: «Надо же, правду режет! Впервые в этих стенах!» Историк Натан Эйдельман переворачивал историю вверх ногами: знаменитые цари у него выходили бездарными, а непопулярные, например Павел I, — замечательными. Публика, жадно внимая этой, столько лет скрываемой правде, не вмешалась в огромный актовый зал с ангелочками по стенам и толпилась на роскошной мраморной лестнице с шереметевскими витражами. Помню, как в этом центре современной мысли выступал смелый — как это было принято тогда, — сексолог Свядош. Раньше мы и слова такого не знали — «сексолог», доверяли лишь голому опыту. А тут! Смело говоря на прежде запретные темы, да еще и поворачивая их неожиданной стороной, лектор сообщил, например, что онанизм вовсе не вреден, как считала ханжеская советская наука, а очень полезен и даже необходим — и тут же несколько человек с радостными криками выбежали из зала. Расходились просветленные — наконец-то!

После одной из таких шумных многолюдных лекций, буквально открывающих глаза на прежде невидимое, в густой толпе, плавно перетекающей из зала в ресторан, чтобы отметить победу прогресса, мы и познакомились окончательно с Сергеем Довлатовым — после мимолетной встречи в доме Ефимова, теперь мы стали решительно проталкиваться друг к другу и, наконец, пожали руки.

Смущаясь и заикаясь (да еще и преувеличивая, как я теперь понимаю, свое смущение), он спросил, не может ли он почитать

свои рассказы на молодежной секции при Доме писателей, в которой я, кажется, считался старостой.

— Конечно! — радостно, как обычно, вскричал я. Еще не хватало нам кичиться и чваниться друг перед другом! Пусть этим занимаются те, в кабинетах!

Был это, кажется, 1964 год. Помнится, он читал в мавританской гостиной с витражами и резными креслами… тогда все те залы, витражи и кресла мы не считали чем-то особенным: молодым дарованиям положено. И лишь потом, в перестройку, разгадали, что то была хитрость, ловушка, западня советской власти — и резко избавились от всего этого.

В памяти от той читки остался лишь скандал, который устроила молодая и талантливая Вика Беломлинская… Я, со своим радушием, граничащим с равнодушием, совершил дикую бестактность — оказывается, она должна читать на секции первой, об этом уже было договорено, а этот нахал Довлатов с его фальшивой робостью нагло влез без очереди, благодаря мне. Помню, я задумчиво глядел на разъяренную Вику: вот, значит, с какой энергией надо пробиваться в литературу… или, по крайней мере, с такой изворотливостью, как Довлатов. А ты что?

Надо сказать, что Беломлинская ярилась не зря и все просекла точно. Уже в Америке, где были не заседания литературных кружков, а настоящая битва за жизнь, Довлатов тоже «подрезал» ее довольно изящно, заняв место на радио «Свобода», на которое рассчитывала она… Тогда же, выбитый из колеи энергичным выпадом Вики, я больше думал о своих проблемах, чем слушал Довлатова. Впрочем — если что, ухо бы «оттопырилось». А так я лишь зафиксировал: «Наш человек. Наши хохмочки. Наша “фига в кармане”. Яркий. И — наш». Кто потом выбрался из этой уютной западни «своего парня» и прошел путь в настоящую литературу? Никого больше не вспомню. Предположу, что Довлатов тогда шел с палкой вброд, прощупывая, пройдет ли тут большой корабль под названием «Зона» и под каким флагом пройдет?

Уже выступили с лагерной темой Солженицын и Шаламов… но они-то «сидельцы и страдальцы», перед которыми все склоняются. А он — кто? И — куда? Не видно «пути к причалу», который уже нашел тогда, скажем, непримиримый Виктор Конецкий.

Все эти годы Довлатов производил в основном впечатление разгильдяя, безусловно, одаренного некоторыми способностями, но бессмысленно прожигающего их в раздрызганной, пьяной жизни, в которой он все не доводил до ума, бросал, проигрывал, проваливал даже самые беспроигрышные начинания, разбивал

свое лицо неаполитанского красавца о все встречные столбы, а порой даже словно искал их специально.

Общались ли мы тогда с Довлатовым тесно? Ни за что! Слишком «тесное общение» двух, скажем так, гоночных автомобилей, нежелательно и даже опасно. Кажется, Чаплин, бессмысленно проведя два часа с Махатмой Ганди, сказал, что большие люди, как планеты, не созданы для слишком близких встреч.

Несколько раз оказываясь в одних компаниях, я сразу открыл, что даже выпиваем мы в разных ритмах. Даже не сказать, что он быстрее, а я медленнее, или наоборот… просто — вразнобой. И каждый, стараясь приспособиться к другому, чувствует себя скованно и многое теряет. То же самое относится, кстати, и к литературной работе — здесь не теснота нужна, а простор! О каком же можно говорить общем — или даже похожем, — пути? Путь у каждого разный, хотя чувствовать себя в какое-то время вместе с другими надо, иначе страшно. Слава богу — мы не связаны. Но и не одиноки. Есть еще люди, полные надежд — и примерно в той же ситуации, что и ты. Значит, и твоя ситуация не безнадежна. Приглядись, оцени. Так что, вполне оценив друг друга в литературном смысле, дальше мы не особенно стремились к тому, чтобы гарцевать друг перед другом. Но все же в весьма интенсивном бурлении тех лет жизнь нас с Довлатовым сводила, и я помню те разы очень четко.

Однажды я проснулся в обществе Сергея на квартире его легендарного брата Бориса, который там тоже присутствовал. Разлепив веки, я увидел Довлатова перед зеркалом, разглядывающим себя.

— Да… — увидев, что я проснулся, усмехнулся он. — Как говорит Попов: «С красотой что-то странное творится!»

Цитирование друг друга входило в свод правил нашей жизни: кто же еще поддержит нас? Вскоре появился спокойный и вроде бы рассудительный Грубин. Помню плавное, размеренное, но неумолимое нарастание абсурда в наших хождениях по утреннему городу… В поисках чего? Похмелились мы уже не раз и не два… Теперь я понимаю, что вело Сергея — ожидание новых происшествий с его героем (и с ним самим), нарабатывание нового сюжета. Шла неявная, но постоянная и нацеленная работа по превращению жидкого молока жизни в густую сметану довлатовской прозы… но я в этой «лаборатории» долго не выдержал и собрался домой.

Довлатов вдруг тоже сказал, что хочет домой и приглашает меня к себе в гости. Хотя я и устал от бессмысленности происходящего, отказываться было невежливо. Мы простились с

его свитой, уже значительно разросшейся после посещения многих злачных мест, и свернули с Невского на Рубинштейна. Видно, с моей помощью Довлатов решил как-то с-ориентироваться в тогдашней литературной жизни. Или хотел «сфотографироваться» на всякий случай? На самом деле он собирал о нас материал, из которого получилась потом «Невидимая книга» — первая его заметная публикация. Многие из тех, кто, казалось, тогда преуспевал и смотрел на Довлатова свысока, останутся в литературе лишь как персонажи той книги. Он кидал нас в свою копилку. «Фотография» моя в его воспоминаниях сохранилась: о моих похождениях с гусеницей, к которой я потом внезапно охладел. Что-то из духа моих ранних рассказов, в том числе и устных, он, безусловно, схватил. Мое воспоминание проще: мы купили в гастрономе на Рубинштейна бутылку вина и пошли к нему. Помню тесную комнату, большую часть которой занимал огромный дореволюционный буфет. Такой же стоял и дома у нас. Довлатов достал стопки и собирался разлить — но тут вошла его мама, Нора Сергеевна. Я встал, поклонился. «Познакомься, мама, — сказал Серега. — Это Валера Попов!» — «Хорошо, что Попов, но плохо, что с бутылкой». — «Это моя бутылка!» — Сергей мужественно взял вину на себя. «Нет, моя!» — мне не хотелось уступать ему в благородстве. «Если не знаете чья, значит — моя!» — усмехнулась мама и унесла бутылку. Еще один довлатовский сюжет.

Потом я еще несколько раз встречал Довлатова в алкогольных парах. Понемногу он снова стал заметен и всем привычен. Но все как бы стояло на месте, все порывы заканчивались ничем. Как четко сформулировал сам Довлатов: «Чем ни закусывай — блюешь все равно винегретом».

В июне 1966 года у Лены и Сережи родилась дочь Катя. Это событие, безусловно, было спасительным для Сергея. Дочка заставила его как-то собраться, сосредоточиться, хотя образцовым отцом и заботливым семьянином он отнюдь не был. Порою носил грудную Катю в большой сумке, ходил по делам, вынимал из сумки бумаги — и люди с удивлением видели, что там еще находится и грудной ребенок. И тем не менее именно Сергей вдруг как-то оказался главной нянькой маленькой Кати — в садик и в поликлинику по ее делам ходил именно он, а когда она стала ходить, гулял с ней, на ходу сочиняя сказки и детские стишки. Потом он же добился, чтобы Катя, как когда-то он сам, попала на лето в знаменитый Артек на Черном море. Катя в жизни Довлатова — главная отрада, любовь, а в конце (и особенно уже после его смерти) — помощница и хранительница. И когда Сергея «заносило» — о ком он больше всего вспоминал? О Кате!

Вспоминаю встречу: я иду по Садовой мимо розового Инженерного замка, навстречу мне шествуют два красавца: изящный Толя Найман и огромный Сережа Довлатов. Лето, тепло… левой мошной рукой Сергей грациозно-небрежно катит крохотное креслице с младенцем.

— Привет!

— Привет. Вы куда? — спрашиваю я.

— В Летний сад.

— А я — на Зимний стадион!

Быстро, на ходу сверкнули слова — пусть не алмазные, но для мемуаров вполне пригодные.

Тогда, на Садовой, рядом с ним не случайно оказался именно Найман. Пара не хуже, чем Герцен с Огаревым — в ту пору речи Наймана оказывали на Сергея определяющее влияние. Толя постоянно пугал Довлатова тем, что он вот-вот станет «современным прогрессивным писателем», борющимся за назревшие в обществе перемены, и т. д. — и слава богу, уберег от этой участи.

Высокие, я бы сказал — снобистские, требования к литературе, свойственные надменным ценителям той поры, бывали порой обидны для начинающего писателя (чего они все мне этим Набоковым тычут?), но для закалки необходимы. Мнением снобов, представляющих на самом деле лишь тончайшую пленку над глубинами жизни, при этом не намеренных считаться ни с кем и не желающих знать реалии ни жизни, ни литературы, — чаше всего только их мнением и создается литературный авторитет и успех. Так было и тогда, и сейчас. Снобами в Ленинграде, особенно среди тех, кто как-то связан со словом, были тогда едва ли не все, и даже те, кто на работе писал правоверные передовицы, вечером стягивал с полки Кафку или Набокова. И чем ничтожнее был данный конкретный сноб, чем рванее была его обувь — тем он был строже и неумолимей. Какая там «вохра», на вкус которой решил Довлатов ориентировать свои сочинения! Тут шакалы другие! И никуда не деться — они судят тебя! Даже если работают, скажем, в комиссионном магазине — ниже Набокова им никого не предлагай! И надо угодить им — иначе никогда ты не будешь «в списке».

Именно поэтому Довлатов так долго не мог закончить «Зону» — надо было, при всем ее большом объеме, точно вдеть ее в «игольное ушко», чтобы не растратить зря самый ценный имеющийся у него материал.

Но между тем лучшего времени для того, чтобы стать хорошим писателем, в нашем городе, да и в Москве, не было, и

уже вряд ли будет. Сейчас-то намного трудней и безнадежней — литературу оттирают на задворки, в никуда, втюхивая вместо нее «конвейерные» издательские поделки. А тогда совсем иное было умонастроение: равнялись с Набоковым и Прустом! Как у меня написано в повести «Излишняя виртуозность»: «Жали руки до хруста и дарили им Пруста!»

Одна из замечательных довлатовских приятельниц — Эра Коробова, бывшая жена Анатолия Наймана, вышедшая потом, тоже, увы, не навсегда, за знаменитого литовского поэта Томаса Венцлова, — вспоминает:

«Фокстерьера Глашу я знала с ее ранней юности. А ее хозяина Сергея Довлатова — со времени его возвращения из армии и вплоть до того момента, когда за ним — и за Глашей — задраили дверь самолета… Мы жили в пяти минутах ходьбы друг от друга. От его дома на Троицкой, тогда Рубинштейна, нужно было повернуть направо, миновать Пять углов, затем — один квартал по Разъезжей и один по моей улице Правды. На этом пути Сергей износил, пренебрегая условностями и сезонами, не одну пару шлепанцев. Нет, это не эпатаж, не вариант морковки в петлице. Шлепанцы, кроме своего прямого и удобного назначения, думается мне, были атрибутом благородного института соседства, естественным знаком сопричастности и, конечно же, доверия. Такое “топографическое” основание отношений с их насущной доступностью… делало их (шлепанцы) необходимыми. В другом случае, с переменой мест и обстоятельств… они просто теряли ценность. Вот почему они (шлепанцы) и завершились там, на аэродроме “Пулково-2”.

В наших отношениях не было ни обыденности, ни, тем паче, фамильярности. Более того, Сергей привносил в них оттенок куртуазности, порой даже чопорной. Впрочем, амплитуда проявлений была далеко от ровной однообразности. Он никогда не заходил второпях или “от нечего делать”. За все годы только однажды “забежал” — в канун своего отлета. Принес еще один, и на сей раз последний, подарок: маленькую фанерку с выжженным на ней и слегка раскрашенным изображением Христа.

Он приходил всегда с чем-нибудь. С рукописью — никогда не читал, оставлял; с книгой, вином. Кстати, он первый, кто “открыл” только появившийся в городе тогда “Чинзано”. А если было не с чем, то с какой-нибудь новостью, вопросом, микропросьбой или просто с Глашей на руках. Это входило в регламент посещения, но никак не определяло его смысла. Если не заставал, ждал — то растянувшись во весь рост на скамейке бульвара, то, сложившись вчетверо, на ступенях моей узкой лестницы. Главным в этих приходах был отклик-разрядка на

какое-то событие, реакция на свое, и не только свое житейство, отчаянно непростое, требующее разрешения каких-то перипетий.

На протяжении всех лет наши общения хотя и были частыми, регулярными не были, да и ровными их не назовешь. Но другом он оказывался всегда замечательным: отзывчивым, надежным и трогательным. Я думаю, каждому из друзей он был открыт. Хотя и по-разному. Обращенность ко мне была окрашена прежде всего его отчаянием.

Его путь был мучителен. Не в литературу и не в литературе, но к своему месту в литературе. Человек ранимый, он глубоко уязвлялся тем, что как писатель не входил в когорту уже признанных.

Он равно был готов и на скандал, и на компромисс. Это была драма, в которую он вовлекал разное, но, замечу, никогда не теряя остроумия, обаяния и артистизма. Томас Венцлова, относившийся не без доли подозрительности к нашей дружбе, зная мои привязанности, окрестил Довлатова “Зорба социализма” (в честь веселого, мощного и весьма грозного героя фильма «Грек Зорба», весьма популярного тогда. — В. П.). Очень похоже. И широк, и щедр, и доброжелателен, и т. п. Но вторая часть определения вносит существенный и грустный нюанс: он не был свободен, не был свободен от несвободы. Иногда он невыносимо остро ощущал себя жертвой. Зная наперед причины всех преследующих его обстоятельств, он, вопреки всему, пытался “вписаться”, оставаясь при этом рыцарем высокой литературы. Естественно, не выдерживал. Срывался. Это было не всегда весело. Свидетелей тому немало, я в их числе.

Литературу он считал областью абсолютно автономной. Стоял насмерть на страже ее эстетики. И все, что на уровне слова и стиля не соответствовало норме, возводимой им в закон, расценивал как этическое преступление. Попросту говоря, становился агрессивен. Водном из писем ко мне — единственное из всех отпечатано на машинке, что означало: не о личном — есть такие литературные рецепты:

Первый: “Избегать в поэзии следующих слов: хризантема, олеандр, интермеццо, струна, аккорд, томлюсь, замечательно, влекла, Эвридика (есть даже эстрадная польская песня под таким названием), снеги…” И далее — пояснение: “Слово “снеги” выдумано пошляком Евтушенко для придания его ничтожным стихам эпической мощи”.

Второй: “Прилагательных надо бояться, это самая бессмысленная часть русского языка”.

…О скандальных ситуациях — он в них попадал непрерывно, и, можно подумать, не без расчета, поскольку, осознанно или нет,

часто сам их провоцировал. Сам засеивал свое поле, сам урожай собирал. В его писательском хозяйстве, как известно, ничего не пропадало. Уже стало тривиальным говорить, какой яркой фигурой он был».

Я перечитываю воспоминания Эры Коробовой о Довлатове с запоздалой завистью. Давно дружу с замечательной Эрой — познакомившись с ней, думаю, раньше, чем Сергей. Дружу с ней, смею надеяться, и сейчас. Почему же я, дурак, не заходил тогда к ней и не оставил о себе столь же ярких и насыщенных воспоминаний? Ведь тоже, помнится, был орел! Орел — но дурак.

В те годы я заканчивал ЛЭТИ, но и в этом техническом вузе слышался гул нового времени, надвигающейся эпохи. Было сразу несколько литературных объединений, на этажах появлялись стенгазеты ручной работы шириной, наверное, метров шесть, испещренные замечательными рисунками, веселыми статейками, талантливыми стихами, и в этой обстановке я как-то естественно и легко почувствовал себя не будущим инженером, а будущим литератором. И компания сразу подобралась замечательная. На литературном вечере я познакомился с Володей Марамзиным, бывшим лэтишником, который с присущей ему бешеной энергией сразу увлек меня в литературный мир. Более целеустремленного человека я не встречал никогда. Он признавал только два дела на свете — литературу и плотскую любовь, причем в основном стремительную, — и пауз между двумя этими лучшими из занятий почти не делал. То он упоенно рассказывал мне о Платонове именно с платоновскими чуть завывающими интонациями — и тут же вдруг убегал за какой-то девушкой. И вернувшись (договорился?) снова начинал о Платонове, с того самого места, на котором прервался.

В те годы престижнее литературы не было ничего. Какой там лизинг, какой там менеджмент! Если б нам даже объяснили эти слова, мы сочли бы их позорными. Только литература! Помню, в нашей компании был человек, который знал, что ему осталось жить два месяца. И он два этих месяца провел с нами, на наших читках, обсуждениях и выпивках — четко понимая, что лучше этого ничего быть не может. И не было ничего лучшего! Поэтому и втянулось в эту среду так много молодых талантов, и образовалась замечательная ленинградская школа — совсем еще юные Бродский, Битов, Горбовский, Кушнер,

Уфлянд. Как-то нас не волновала даже советская власть, что бы она там еще ни надумала, — мы были упоены друг другом и даваемыми друг другу оценками. И надо сказать, оценки эти в большинстве подтвердились. Попасть молодому писателю в такую компанию, с такими настроениями и мыслями, очень

важно, и Довлатов тоже «с этого огорода».

13 марта 1964 года произошел знаменитый суд над Бродским — гениального поэта судили «за тунеядство». «Какую биографию они делают нашему рыжему!» — воскликнула Ахматова. За Бродского сразу же вступились Шостакович, Чуковский, Маршак, Ахматова. Бродский вел себя на суде замечательно, его ответы судьям вошли в историю. Записи судебного процесса, сделанные Фридой Вигдоровой, были опубликованы на Западе и вызвали большой резонанс. В ссылке, в северном селе Норенском, Бродский тоже вел себя мужественно, даже величаво — принимал гостей, много читал и писал, вел себя так, словно происходящее вовсе не подействовало на него. Уже весь мир знал о его ссылке, и вмешательство самых знаменитых людей того времени привело к его досрочному освобождению. В 1965 году вышел его сборник «Стихотворения» в американском издательстве «Ардис», у знаменитого Карла Проффера.

Авторитет и слава Бродского в результате преследования только увеличились. И главное, вдруг оказалось, что у нас не такое уж плохое общество — огромное множество людей, уже ничего не боясь, поддерживали Бродского, писали ему восторженные письма, перепечатывали и размножали его стихи. У меня тогда было множество друзей и знакомых, и среди технарей, и среди художников, и, конечно, среди литераторов — но я не помню никого, кто бы не поддерживал Бродского и не осуждал бы этот бездарный процесс. Кажется, были такие писатели, за дверью с табличкой «Партком», что осуждали Бродского… но мало кто с ними здоровался: они бесповоротно загубили свою репутацию, многие не со зла, а по бездумной, воспитанной страхом сталинских лет привычке подчиняться командам сверху. У нас этой привычки не были, и многим так и не удалось воспитать ее в себе, несмотря на все усилия власти и жизни.

В 1966 году я, нисколько не сомневаясь в правильности своего решения, ушел из инженеров, решив жить литературой. Помню, как я всю зиму в упоении печатал рассказы на старой раздолбанной машинке, и меня ничуть не смущало, что нет денег. Какая разница? И так все отлично. Помню — на балконе в снегу стоял куб замороженного хека, время от времени я топором отрубал от него кус, жарил, ел — и снова кидался к машинке. Моя первая книга к весне была готова. И я отнес ее к моим любимым редакторам в «Советский писатель», где уже несколько лет занимался в литературном объединении. Я был уверен, что счастье не за горами, а — здесь, рядом.

Точно так же жил в те годы и Довлатов — вставал рано утром и писал. Посылал рассказы во все журналы, преимущественно

прогрессивные… а прогрессивными тогда уже считались многие — «Новый мир», «Юность», «Сельская молодежь», — и неизменно получал положительные рецензии и вроде бы нелогичный после таких комплиментов отказ.

На самом деле все было абсолютно логично. Только так тогда и могло быть. Существовали лишь советские структуры, к которым относились и журналы: никаких других еще не было. И в то же время всюду оказались сплошные диссиденты: кристальные коммунисты остались, наверное, только в домкомах и в комиссиях по проверке выезжающих за рубеж. Во всех же остальных учреждениях, тем более на рядовых должностях, уже работали выпускники университетов, и царил дух вольномыслия и безусловного «преклонения перед Западом» — все остальное уже считалось дурным тоном. Что интересно — эти же люди и душили любую крамолу, а потом, на кухнях за водкой рвали на себе рубахи, проклиная проклятое время. И таких было большинство. Нам, наивным, казалось, что «наши» кругом. Толку от этого было мало, но все равно приятно. Что же Довлатов удивлялся и обижался, получая хорошие рецензии — с неизменным отказом? Такая жизнь тогда была! Все редакторы не могли не проникнуться симпатией к рассказам Довлатова, хвалили их в рецензиях (сами, будь у них время, писали бы что-то подобное) — и тут же с некоторым мазохистским наслаждением — дружба дружбой, а служба службой! — писали отказ. Такой образ жизни и поведения как раз тогда преобладал над остальными… да никаких остальных и не было. Помню, как я в те годы шел мимо грозного Большого дома и услышал из открытого окна родной хриплый бас — запись Высоцкого. И там наши люди! Только вот со службой им не повезло… или, наоборот, — повезло?

Довлатов в отчаянии понимал, что отказывают ему уже не рьяные сталинисты, а свои же университетские парни, любящие Высоцкого… а его — нет, не очень, хоть и считающие «своим». Может быть, даже слишком «своим»: таким-то особенно легко и отказывают: «Ты же понимаешь!..» И такое может продолжаться очень долго. Но и у них на самом деле есть душа, и даже некоторое чувство ответственности перед вечностью, и если их по-настоящему растрогать — они добьются публикации. Ради совсем хорошего — постараются. Но в каждой прогрессивной редакции была уже очередь таких «вожделенных», которых можно будет напечатать в удобный момент. Твардовский, наверное, ждал отпуска кураторов из ЦК, чтобы «тиснуть» то Солженицына, то Искандера. Полевой в «Юности» тоже, наверное, высчитывал момент, когда можно напечатать Аксенова или Ахмадулину. В

каждом хорошем месте была уже очередь «любимцев», и Довлатов в этой очереди топтался в самом хвосте.

Елена Клепикова, написавшая впоследствии в Америке вместе с мужем Володей Соловьевым довольно обидные мемуары о многих ленинградцах этого поколения, занимала место редактора отдела прозы в журнале «Аврора», имевшем тогда очень хорошую репутацию — там печатались, скажем, «острые» вещи Стругацких — например, «Пикник на обочине». Лена была умна, авторитетна и могла, если считала нужным, «пробить» какую-то вещь. Мне удавалось напечатать в этом весьма заметном тогда журнале один рассказ в год, непременно летом (начальство в отпуске) — например, очень важный для меня рассказ «Фаныч». Довлатов, естественно, тоже пропустить этот журнал не мог. Елена Клепикова вспоминает:

«…Довлатов ходил по редакциям. Сразу взял такой, к общению не влекущий тон: мол, его проза, ее достоинства и недостатки не обсуждаются. И все допытывался, отчего не печатают? Трудоемко от низовых, как он называл, журнальных чиновников добирался до начальства — да так и не узнал, кто управляет литературой. Идиотская, на мой взгляд, пытливость. Иногда Сережа малодушничал. Раза два ловил меня на слове: если я соглашусь, где вы сказали, есть гарантия, хотя бы на 50 %, что напечатают?.. Кто тогда из молодых, талантливых, гонимых не пытался поймать за хвост советского гутенберга?

Но его как-то ощутимо подпирало время. Была жгучая потребность реализации. Я была потрясена, когда он, разговорившись, выдал что-то вроде своего писательского манифеста. Приблизительно так: “Я писатель-середняк, упирающий на мастерство. Приличный третий сорт. Массовик-затейник. Неизящный беллетрист. У меня нет тяги в будущее. Я муха-однодневка, заряженная энергией и талантом, но только на один день. А ее заставляют ждать завтра и послезавтра. А вы предлагаете мне писать для себя и в стол. Все равно что живым — и в гроб”.

Однажды я, утомившись отказывать, посоветовала ему оставить раз и навсегда надежду и, соответственно, стратегию (в его случае, трудоемкую) напечататься в отечестве во что бы то ни стало и чего бы это ни стоило. А стоило, говорю, многого. Большего, чем он мог вынести пристойно».

Должен сказать, что «советское» тогда вовсе уже не требовалось. Гораздо большей симпатией пользовалось антисоветское, хотя опубликовать его в журналах и было нельзя. Да Довлатов был и не так глуп, чтобы такое писать да еще носить по редакциям. И Лена, конечно, как все тогда работники

культурного фронта, была в душе антисоветчиком и эстетом. Так что не из идейных соображений она отвергала рассказы Довлатова, а из эстетских… Не дотянул! А может, и не туда тянет? Если бы Клепикова полюбила его тогда как писателя и как человека — не сказала бы того, что сказала.

Да, была у Довлатова такая слабость (или сила?) — пытаться совершенствовать свои рассказы в процессе пробивания, стараясь «пристроиться» к нужному течению, которое он никак не мог уловить, пока не создал свое собственное. Но суетливость эта, я думаю, лучше, чем гордое тупое оцепенение — мол, меня еще найдут и оценят, мое время еще придет! Он знал, что само по себе — не придет. Поэтому писал и писал. И посылал. И ходил в редакции.

И вдруг самая престижная тогда литературная группа «Горожане», видно, почувствовав, что им не только мешают внешние обстоятельства, но и не хватает чего-то своего, приглашает к себе Довлатова, чуя в нем силу. Их жизнь это не изменило и не спасло. Общий сборник, хоть вроде бы и вполне лояльный, так и не вышел, вызвав, видимо, подозрения: «А чего это они сгруппировались?» Но для Довлатова, наверно, то было первое признание в литературной среде.

Тогда же произошла еще одна важная встреча. Лучший друг и «пособник» Довлатова Андрей Арьев, оставшись после университета на некоторое время без работы, устроился секретарем к Вере Пановой. После инсульта она была парализована, лежала в комаровском Доме творчества и нуждалась в помощнике. Поработав там некоторое время, Арьев предложил на свое место Довлатова.

Для Довлатова это оказалось очень важным. Помогая Вере Федоровне во всем — от переписки с Корнеем Чуковским до выноса мусора, — он проникся к ней симпатией и уважением. Ее суждения были строги и абсолютно независимы. Никаких компромиссов, которые считались неизбежными для советского писателя, она не признавала. Писать только правду! При этом, ни разу не покривив душой, она не раз получала Сталинские премии. Не надо кивать на обстоятельства, ныть и лениться.

Надо побеждать! — такой, думаю, моральный урок получил Довлатов у нее.

Кроме того, он читает Пановой вслух — причем лишь литературу самую высокую, Томаса Манна, Джойса, Достоевского. Полезно послушать их! Довлатов находит в них созвучие и поддержку. Он со смехом пересказывал мне то место из «Идиота», где все наперебой уверяют Мышкина, что они настолько благородно относились к его матери, что даже уступали один

другому право посвататься. «Это уж как-то даже чересчур!» — восклицал Мышкин, и Панова смеялась вместе с Сергеем. Смех и высокая литература вполне совместны — Довлатов находил поддержку своим усилиям.

В 1967 году он посылает шесть своих рассказов в «Новый мир» — и получает замечательную рецензию Инны Соловьевой:

«Беспощадный дар наблюдательности, личная нота автора… Программным видится демонстративный, чуть заносчивый отказ от морали… Сама демонстративность авторского невмешательства становится системой безжалостного зрения. Хочется сказать о блеске стиля, о некотором щегольстве резкостью, о легкой браваде в обнаружении прямого знакомства автора с уникальным жизненным материалом. Но в то же время рассказы Довлатова — это прежде всего рассказы “школы”. То, что автор — ленинградец, узнаешь не по обратному адресу. “Молодая ленинградская школа” так и впечатана в каждую строку… Бесспорные уроки советской прозы двадцатых годов… Этот пристальный авторский взгляд. На рассказах лежит особый, узнаваемый лоск “школы для своих”. Это беда развития школы, не имеющей доступа к читателю, лишенной такого выхода, насильственно… загнанной внутрь… ни один из предлагаемых рассказов не может быть отобран для печати».

Знакомая стадия — писатель есть, рассказов, способных «пробить стену» (и не обязательно идеологическую, стен много), — еще нет. Биться, как я, например, пять лет в двери «Нового мира», пока там не напечатали мой первый «тяжелый» рассказ «Боря-боец», Довлатов не хотел, как бы не располагая столь роскошным запасом времени. Не такой был у него характер. Не он для журнала — должен быть журнал для него!

И вместе с тем, повторюсь, — то были лучшие годы для литературы. В доме Зингера на Невском, на пятом этаже находилось замечательное издательство «Советский писатель». Какие люди работали там! Например, круглолицая, спокойная, всегда улыбающаяся Кира Успенская сделала литературную судьбу Андрея Битова, терпела его непростой характер, нападки начальства и партийных властей, и спокойно, словно так и нужно, словно иначе и не может быть, выпускала его книги, одну за другой. И другие редакторы ей не уступали — у каждого были свои подвиги, а начальство по обыкновению пряталось в своем кабинете и без крайней нужны оттуда не появлялось и в споры не вступало. Замечательное издательство! И главное — ясно было, как туда «прирасти». При издательстве было постоянное литобъединение. Поступить, конечно, туда было нелегко, принимали не каждого — но когда ты был уже там, казалось, что

и до издательских дел рукой подать.

Когда я пришел в объединение, им руководил Михаил Леонидович Слонимский. Помню, какое потрясающее впечатление он на меня произвел. Громадный, сутулый, с лицом острым и значительным. Серый обвисший твидовый пиджак был явно из другой, таинственной, полузабытой жизни, когда знаменитые «Серапионовы братья», одним из которых он был, начинали свои необыкновенные литературные игры. И теперь он смотрел на нас. Он внимательно выслушал два моих коротких рассказа и, глухо покашляв, сказал: «Пока еще не очень понятно… но какое-то дарование явно бьется!» Я ликовал. Чье еще мнение в те годы могло быть важней и точней, чем мнение одного из «серапионов» — в их компании вырос Зощенко! Но и наша компания была будь здоров! Старостой в ней был Битов, задававший высокий стиль. Читал свои рассказы Рид Грачев. Появлялся Виктор Голявкин; его стиль веселого, непробиваемого идиотизма был весьма заразителен, его короткие рассказы восхищали нас задолго до появления из небытия прозы Хармса. То время было замечательно еще и тем, что на нас внезапно пролился золотой дождь гениальной русской литературы XX века — сразу и Платонов, и Олеша, и Бабель, и Булгаков — было от чего опьянеть. Марамзин, например, был туго начинен атомной энергией Андрея Платонова…

Радовало и то, что мы занимались прямо в комнате редакторов в конце узкого коридора. На столах лежали папки. Днем редакторы работали с ними, готовили в печати — глядишь, и наши папки скоро возьмут. Тем более многие из них ходили на наши занятия и явно ждали чего-то от нас. Моими «крестными» с тех дней и до сегодняшних стали замечательные Фрида Кацас и Игорь Кузьмичев — умные, терпеливые, веселые. В жизни не слышал от них ничего о трудностях, о том, что «все безнадежно». Об этом они, может быть, и говорили между собой, но я слышал от них лишь одно: «Пиши лучше — и не волнуйся!» Обо всем прочем волновались они. И главное — работали над моими текстами, и вдруг, к моему изумлению, оказывалось, что их можно сделать лучше. Чтобы это пройти — требуется, конечно, смирение и терпение. Довлатов, мне кажется, этими качествами не обладал. «Твоя книга вылетела из плана», — говорила вдруг Фрида мне. «Ну и хорошо, — весело отвечай я. — А то я не успел закончить и включить последний рассказ, а теперь, значит, успею!» «Успеешь. Вполне!» — говорила она, и мы с ней смеялись, пусть не очень весело. «Нормальный ход» — так называлась моя вторая книга, и название было правильное. А надо как? Душу рвать из-за какой-нибудь мелкой сволочи?

Однажды только Фрида сказала мне. засмеявшись: «Интересно — у тебя выходит вторая книга, и ни в одной нет слова “Ленинград”, уж не говоря о слове "Ленин”». «Даже не представляю, куда бы я мог их вставить», — озадаченно сказал я. И без этого было о чем писать — жизнь была упоительна! Но и обстановку в редакции я не назвал бы хмурой и безнадежной. Мне кажется, даже и тамошние начальники понимали, что здесь, в знаменитом доме Зингера с его замечательной литературной историей, где бегали по лестницам молодые еще Заболоцкий, Введенский. Хармс, и сейчас должна возникать какая-то новая литература. Где же еще?

Конечно, начальники подписывали мою книгу, зажмурясь: «Авось, пронесет! Вроде явной антисоветчины нет!» Господи, откуда антисоветчина? Я и советчину-то слабо себе представлял. Сказать, что мы только о ней и думали, — значит, сильно ей польстить. На юбилее Фриды Кацас я сказал: «Спасибо, Фрида! Благодаря тебе я не узнал, что такое советская власть!» «Зато они как волновались за тебя… с трудом удавалось успокоить!» — усмехнулась Фрида.

Бывший редактор «Советского писателя» Александр Рубашкин сказал мне: «Как же, Довлатов! Помню его в “Советском писателе”. «Как? В объединении? — изумился я. — Почему же я не помню его там? Такого не забудешь!» «Нет, не в объединении! — сказал Рубашкин. — Его жена Лена работала у нас корректором — он за ней заходил в конце дня».

У Довлатова той поры были своя траектория и своя верная компания, которая знала и ценила его. Чем занимался Довлатов тогда, помимо упорного, с утра до вечера, писания рассказов? Главный довлатовский спутник, «редактор его жизни и строк», Андрей Арьев рассказывал мне: «“Советский писатель”? Помню, зашли как-то раз. Мраморная лестница, бронзовые листья в перилах. На двух этажах продавали книги, выше — нет. Выше были только издательства, и перед лестницей на третий этаж сидел вахтер. Увидев столь подозрительных личностей, к тому же уже опохмелившихся, он грозно сказал: “Куда?! Выше — продажи книг нет!” “Что, простите?” — вежливо откликнулся на его хамский окрик Довлатов. “Сказал уже! Выше продажи книг нет!” “Большое спасибо!” — поблагодарил Довлатов, и мы поднялись наверх. Зашли в издательство. И когда спускались обратно, вахтер уже ждал нас посреди лестницы, готовясь к схватке. Но Довлатов пресек его вспышку ярости — приблизившись вплотную, вежливо пожурил: “Ну почему же вы не сказали, что выше продажи книг нет?” И мимо окаменевшего вахтера мы спустились вниз».

Ну ясно, чем занимался Довлатов тогда, в свободное от работы время. Тем же, чем всегда, чем и всю жизнь, — собиранием, а также придумыванием ситуаций, сюжетов, диалогов — чаще всего сюжетов и диалогов, связанных с нарушением заведенного порядка и некоторым риском.

— А что вы делали-то в «Советском писателе»? — спросил я.

— Да я уж и не помню, — ответил Арьев, который вообще-то помнит все мало-мальски важное. — Кажется, договорились о какой-то грошовой рецензии. Видимо, посредством Лены…

На самом деле, Довлатов издательство это различал очень ясно. Почему же не сложились их отношения? Лучше того издательства не было тогда в Ленинграде, да и в Москве — а сейчас тем более нет. Довлатов не раз вспоминал свое появление там — притом в разных своих сочинениях разного времени, оценивая те обстоятельства очень по-разному.

В статье «Мы начинали в эпоху застоя» он пишет:

«В заседаниях ЛИТО при Союзе писателей я, будучи хоть и развитым, но все-таки младенцем, не участвовал, но иногда присутствовал на них просто потому, что заканчивались они нередко в квартире у моей тетки Мары, у которой я был частым гостем… Из этого ЛИТО вышло несколько таких заметных писателей, как Виктор Голявкин, Эдуард Шим или Глеб Горышин… и два моих любимых автора — прозаик Виктор Конецкий и драматург Александр Володин».

Потом, когда это объединение стало называться «Литобъединением при издательстве "Советский писатель"» и когда им поочередно руководили Леонид Рахманов, Михаил Слонимский, Геннадий Гор и Израиль Меттер, мы с Довлатовым по возрасту, а также и по другим критериям, уже могли ходить в объединение, а потом и в издательство — но ходил больше я. Довлатов был слишком нетерпелив. Хотя, может, кому-то, особенно в наши дни, покажется, что такое невозможно терпеть:

«Я ждал три месяца. Потом зашел в издательство.

— Это так своеобычно, — начала было редактор.

Я вежливо прервал ее:

— Когда будет готова рецензия?

— Я еще не отдавала…

— Почему?

— Хочу найти такого рецензента.

— Не ждите. Отдайте любому. Мне все равно.

…Глаза ее наполнились слезами».

Узнаю. Абсолютно точный, хотя и несколько утрированный портрет моей любимой редакторши Фриды Кацас. Все изображено абсолютно точно — так оно и было. Мою первую рукопись она

держала также долго, но вовсе не по лени и робости. Выбирала тот единственный момент, ту узкую щель, куда может проскочить книга нового автора с абсолютно несоветским названием «Южнее, чем прежде», в которой вообще нет ни одного советского слова… Потом ей вдруг показалось, что момент пойман. Она решилась отдать мою рукопись на рецензию одному классику — считалось, что он поддерживает все новое и прогрессивное. Классик продержал мою рукопись девять месяцев. Ясно, что для начальства — это уже сигнал! Наконец, после многих напоминаний, он сдал рецензию… Мда! Сильно написано! Для меня все это вроде приятно — «экстравагантность», «отказ от общепринятой морали», но для начальников, ясное дело — красная тряпка. Может, рассказы мои ему просто не понравились? Да нет — я был у него в гостях, и устно, за столом, он очень их хвалил: мол, накануне даже читали вслух гостям. Но одно дело за столом, другое — официальная рецензия. Надо понимать! И главное — этого классика-виртуоза не в чем было попрекнуть: он написал правду… но — куда?!

— Даже не знаю, показывать ли ее начальству? — вздохнула Фрида.

И глаза ее, естественно, «наполнились слезами». Ну, а чем же еще они должны были наполниться? Я был ей благодарен.

— Ну что же, — вздохнула Фрида. — Поработаем… подадим книгу на следующий год.

— Спасибо тебе! — взяв рукопись под мышку, я бодро удалился. В следующий за этим год я написал несколько рассказов — и снова явился в то же издательство.

Для Довлатова, видимо, это было невыносимо. И в его голове уже роились другие планы. Однако в своих воспоминаниях о том времени он напишет:

«Достаточно сказать, что из этого литобъединения вышел самый, может быть, яркий писатель-интеллектуал — Андрей Битов. В этом же ЛИТО, в очень насыщенной культурной атмосфере формировались такие писатели, как Борис Вахтин и Валерий Попов. Сам я успел побывать лишь на двух или трех заседаниях, которые вел Геннадий Самойлович Гор, а затем его сменил Израиль Моисеевич Меттер, которому было суждено сыграть в моей жизни очень существенную роль. Он сказал мне то, чего я не слышал даже от любимой тетки, а именно: что я с некоторым правом взялся за перо, что у меня есть данные, что из меня может выработаться профессиональный литератор, что жизненные неурядицы, связанные с этим занятием, не имеют абсолютно никакого значения и что литература — лучшее дело, которому может и должен посвятить себя всякий нормальный

человек. Меттер был личностью весьма независимой даже в не очень подходящие для этого годы. Могу напомнить, что именно он в единственном числе аплодировал Михаилу Зощенко, когда тот был подвергнут очередному публичному поруганию…

…Оглядываясь на свое безрадостное вроде бы прошлое, я понимаю, что мне ужасно повезло: мой литературный, так сказать, дебют был волею обстоятельств отсрочен лет на пятнадцать, а значит, в печать не попали те мои ранние, и не только ранние, сочинения, которых мне сейчас пришлось бы стыдиться. Это во-первых, а во-вторых, мне повезло еще и в том смысле, что на заре моих, теперь уже долгих литературных занятий рядом со мной были официальные писатели “эпохи застоя”, которые верили в меня, тратили на меня время, внушали мне веру в свои силы и которые сейчас, во всяком случае те из них, которые живы, читают мои рассказы в советских журналах и пишут мне письма, заканчивающиеся словами: “Все это я говорил тебе, дураку, тридцать лет назад”».

Считается, что Довлатова «довела» невозможность пробиться в официальную советскую литературу. Ну так ее почти уже и не было — век ее кончался. Писать по ее канонам тогда уже считалось «западло». У меня есть моя статья той поры под названием «Советская литература — мать гротеска». Диагноз ее был уже очевиден. Да я уже и не помню тогда таких уж откровенных «певцов режима»; все уже изменилось с пятидесятых, и время было другое, намного сложней.

Думаю, что Довлатова больше убивала невозможность быстро пробиться в современную несоветскую литературу. Вот тут был уже цветник! Битов, Голявкин, Конецкий уже блистали в нашем городе, в этом самом издательстве «Советский писатель».

И это только «короткий» список! Было множество других ярких личностей, интересных писателей. Часто приходил на объединение и просто в издательство замечательный военный писатель Виктор Курочкин. Он был знаменит благодаря прекрасной книге «На войне, как на войне», впоследствии блестяще экранизированной. Позже у него вышла прежде «зарубленная», таинственная и страшная повесть «Записки районного судьи», напоминающая лучшие страницы Добычина. После инсульта он с трудом ходил и не мог разговаривать, только мычал. Но мычал он страстно и часто, азартно вмешиваясь в любой острый разговор, и уже все, включая его, в разгаре спора забывали, что он инвалид, и уже почти понимали, что именно он мычит. Помню, как его друг, писатель Глеб Горышин, однажды в сердцах сказал ему: «Заткнись, Витя! Дай другим слово сказать!» Кроме весьма заметного тогда Горышина, активно и ярко писали

бывшие фронтовики — Вадим Инфантьев, Радий Погодин, при этом также отличаясь весьма бесстрашным и экстравагантным поведением… Ходил в издательство на вид как бы темный и необразованный, но талантливый Владимир Ляленков, знаток и замечательный изобразитель деревенской и поселковой жизни. Да, не на пустом месте мы росли. А в Москве уже печатались Казаков, Трифонов, Искандер! Довлатов понимал, что на эту гору ему не вскарабкаться и первым не стать. Не стоит даже и пытаться — совсем другого рода и диапазона его талант. Вот что, думаю, доводило его до отчаяния. Может, он и завидовал им. Но завидовать таким — не грех, а высокое испытание.

Да, он оказался тогда в тупике. Но то был самый лучший тупик. Он многое ему дал. Сейчас молодому писателю не найти такого тупика ни за какие деньги.

Глава восьмая. Почтовый роман

Помню свои впечатления о Довлатове той поры. Мало кто из литераторов казался таким безнадежным, как он. Помню, он позвонил мне и как-то витиевато стал рассказывать о новом сочинении столь пространно, словно у него полно времени. Господи, до чего же нелепая личность! В жизни столько упоительных занятий, а он зачем-то мучает телефон! Упиваясь своей деловитостью, я четко договорился о встрече. Он вручил мне пухлую папку с надписью — «Отражения в самоваре». Повесть была такая же бестолковая, как телефонный разговор. Никак ему не просчитать, что сейчас нужно, «в жилу» никак не попасть! А сколько сейчас этих золотых жил, но он-то явно не там… хоть и старается, бедный.

«Отражения в самоваре». По названию сразу ясно, что´ там: изображение нелепой, но обаятельной русской экзотики… можно даже не открывать. Но все же откроем. Всё, как я и предполагал. Ёрнический тон… но это сейчас у нас обязательно. Без этого вообще в «в ряды» не попасть! Повесть о заграница. Конечно, где ж еще взять яркий материал? Если уж жизни не знаешь, лучше о ней не писать и сочинять жизнь заграничную — прельстительнее, и легче пройдет. Видимо, он и в армию сходил так же бестолково, как и в университет…

Итак, довольно банально. Наш человек на Западе, где вся его нелепость особенно выпукла. Встреча в парижском аэропорту (Париж — первое, что приходит в голову). Никаких парижских реалий, естественно, нет. Откуда? Встречающий рассказывает: «Эти парижане — жуткие люди. Все время смеются, никаких проблем! Невозможно жить среди них. Недавно — ударил сам себя ногою в мошонку опухла, на службу перестал ходить. Выгнали, жена ушла, запил… хоть немного пожил по-человечески!»

Ясно. Точно. Смешно. Дальше, одержимый своими бесами, я читал не очень внимательно. Остроумных фраз много — но они стоят как бы отдельно, красуются. Жизни в произведении нет. Если бы что-то мелькнуло ценное, не пропустил бы. Больше тратить на это время не стоит — дозвонился, назначил встречу.

Еще одна нелепость. Отдавал он рукопись, придя с женой Леной, молчаливой красавицей. Помню их темные силуэты — стояли, держась за руки, в просвете между круглым павильоном метро «Площадь Восстания» и последним домом Невского. Помню, я удивился: вроде договаривались о деловой встрече, зачем он с женой-то пришел? Похоже — никакой задушевной

беседы и не хочет… А я было настроился, а он с женой. Не может расстаться с нею ни на миг? По слухам, которые тогда были очень существенны и во многом формировали мнение, — расставаться может, и даже на очень длительный срок! Держит ее руку небрежно, почти за спиной. Считает, что «вывел ее в свет»? Но мне даже не представил. Нет, неспроста говорят о нем, как о мрачном мистификаторе, зачинщике понятых лишь ему «заморочек»!

Когда я ему рукопись возвращал — он стоял в том же светлом проеме и, кажется, в тот же самый час. И так же держал даму за руку — но дама была другая. На том же месте. В тот же час. Но другая. Зачем он ее демонстрирует мне — и при этом не дает ей слова сказать? Что за странная симметрия событий? Или, наоборот, асимметрия? «Прикидка» сюжета? Явно он что-то выстраивает, что-то кроит. Отзывом моим особо не интересовался, поэтому я сказал всего два слова, одно из которых было: «Старик!» Второго не помню. Он вежливо поблагодарил. Все? А не статист ли я какой-то его пьесы? Непонятный тип. Явно непростой. Неловкость создавалась еще и тем, что даму ту я прекрасно знал и знал ее мужа, бывая у них дома, неоднократно ее видел, но совсем с другим… Довлатов, казалось, ничего особенного в появлении с этой дамой под ручку не видел.

Его буйная натура не вмещалась в рамки размеренной семейной жизни — душа требовала большего. В частности, ни с ироничной Асей, ни со сдержанной Леной нельзя было отвести душу в разговорах о литературе, а точней — о его рассказах. А ничто другое на свете не волновало его так сильно, как это. И вот — он нашел, что искал. Послушаем ее:

«Итак, Разъезжая, 13, большая коммуналка. Коридор украшен корытом и настенными велосипедами. На кухне соседи круглосуточно жарили котлеты. В этой квартире на дне рождения Марины, жены Игоря Ефимова, я впервые увидела Сергея Довлатова. Обычно в день Мариниого рождения у них собиралось около тридцати человек — поэты, писатели, в большинстве не печатаемые и не выставляемые, а также школьные или соседские приятели вроде меня.

Накануне дня рождения я позвонила Марине с обычными вопросами:

1. Что подарить?

2. Что надеть?

3. Кто приглашен?

На третий вопрос Марина ответила, что будут "все, как всегда, плюс новые вкрапления жемчужных зерен”.

— Например?

— Сергей Довлатов, знакома с ним?

— Первый раз слышу… чем занимается?

— Начинающий прозаик.

— Способный человек?

— По-моему, очень.

— Как выглядит?

— Придешь — увидишь! — засмеялась Марина и повесила трубку.

…Он был невероятно хорош собой. Брюнет, пострижен под бобрик, с крупными правильными чертами лица, мужественно очерченным ртом и трагическими восточными глазами».

И Люда Штерн попалась! При всей своей воле и уме — теперь она служила Довлатову. С этого момента и до самого конца он делал с ней все, что хотел. Правда, он не хотел ничего плохого — лишь откровенного, страстного, душераздирающего разговора о его творчестве. Он так жаждал этого и ни в ком не мог этого найти. И наконец-то нашел! Наверное, к их отношениям примешивалась и другая страсть — но то уже было дело второе. Тут же он сообщил Люде, что у него две жены, и обе красавицы, но первая жена от него ушла, а скоро, видимо, уйдет и вторая, поскольку ничего в жизни его не интересует, кроме литературы. «Как муж я ничтожен — не выходите за меня. Меня ни интересует ни искусство, ни природа — только литература»… Настраивал, так сказать, Люду на рабочий лад.

Ни Ася, ни Лена уже терпеть не могли его бурных эскапад — а тут он, как говорится, отвел душу. Требовал прочесть его рассказы за один вечер — и тут же обстоятельно обсудить. Клялся в безумной любви — и тут же необъяснимо надолго исчезал. И вдруг — внезапно появлялся в квартире Люды с требованием немедленно выйти за него, и происходила драка с добрейшим Витей Штерном, мужем Люды. То есть, как нынче говорит молодежь — «оттягивался по полной». Люда стала с этих пор главным «душеприказчиком» Довлатова — именно благодаря ее воспоминаниям и особенно их переписке жизнь Довлатова раскрывается перед нами с того далекого шестьдесят какого-то до самого конца:

«Довлатов позвонил через месяц и пригласил нас с мужем в Дом писателей на свое публичное чтение… Открыл папку и перевернул несколько страниц. Сидя в первом ряду, я заметила, как сильно дрожат его руки… Не помню всего, что он читал. Осталось общее впечатление строгой, точной прозы, без базарного шика, без жульнических метафор, без модных в те годы деревенских оборотов. Один рассказ — “Чирков и Берендеев” — до сих пор помню почти наизусть. Он был такой смешной, что

Сережин голос тонул в шквале смеха. Некоторые фразы из этого рассказа стали крылатыми в нашей среде. Например: “Разрешите мне у вас мимоходом питаться…”, “Не причиняйте мне упадок слез!”, “Прошлую зиму, будучи холодно, я не обладал вигоньевых кальсон и шапки…”, “Я отморозил пальцы ног и уши головы”.

После чтения Довлатова окружили в коридоре тесным кольцом, и я не сразу добралась с поздравлениями. А добравшись, попросила, если можно, почитать другие его рассказы.

— Да, да, конечно, я ужасно рад, сейчас принесу.

Он развернулся, огромный, как Петр I, и ринулся в зал, опрокинув на ходу стоящий в проходе стул. От его надменности и высокомерия не осталось и следа. “Боже, какой чувствительный!” — подумала я. В этот момент Сережа появился со своей папкой».

Наутро Люда сообщила своему мужу, прочитав рассказы: «Новый гений явился!» «А если бы был не таким красавцем — ты все равно бы считала его гением?» — язвительно спросил Виктор… Красота, как мы видим, Довлатову ничуть не мешала, даже наоборот. Но главное — он бешено писал рассказы и так же бешено волновался за них. И не только за столом, но и на людях, неутомимо создавая, как говорят сейчас, «пиар», «паблик рилейшенс». Писатель волей-неволей должен создавать не только произведения, а еще и «положение в обществе», что не всегда достигается одним лишь литературным трудом. Один из таких «этапов» мы только что наблюдали. Люда Штерн, с ее умом, обаянием, широкими связями в нужных (нужных нам) сферах, была замечательным «агентом влияния», сыграв в жизни и литературной судьбе Сергея огромную роль. И главное, их переписка, их «почтовый роман» — возможно, главный источник сведений о жизни Довлатова.

Глава девятая. Навязчивая реклама

Пожалуй, пиковым событием шестидесятых в городе на Неве был знаменитый вечер 30 января 1968 года в Доме писателей, бывшем Шереметевском дворце, в Белом зале с ангелочками на карнизе… когда-то они видели, как тут травили Зощенко… теперь здесь торжествовали мы.

Мне это вечер запомнился, как один из лучших в моей жизни. На сцене были мы — Довлатов, Бродский, Городницкий, Гордин, я, Уфлянд — и зал был полон до отказа. И полон кем! Сколько в Ленинграде красивых, интеллигентных, элегантных мужчин и женщин — и все они. казалось, были здесь. Я смотрел в зал — и видел только красивые, умные, насмешливые, тонкие лица. Ленинградские инженеры, врачи, ученые… Когда глядел в этот зал, появлялась уверенность, что мы уже победили. Внизу была выставка картин Виньковецкого — видного ленинградского абстракциониста.

Бродский, к тому времени уже вернувшийся из ссылки, был встречен общим восторгом и потряс всех, прочитав свое, ставшее вскоре знаменитым: «Так мало стало греков в Ленинграде»… Овации долго не умолкали. У нас в России съездить в ссылку — значит, заслужить самый высший авторитет! А Довлатов читал рассказ о том, как полковник с племянником, напившись, полетели по воздуху, пересекая границы. Не скажу, что эта вещь меня потрясла. Тогда все летали. Летать — это первое, что приходило в голову вольнодумцам.

Вечер прошел с феноменальным успехом. Слушатели окружили нас и долго не отпускали. Но после «пика» часто приходит спад.

На следующий день телефон у меня разрывался — как, думаю, и у других участников встречи. Все радовались, поздравляли: «Наконец-то!» Радовался и я. Вот раздался еще звонок. «Алло!» — весело проговорил я. «С вами говорят из Комитета государственной безопасности!» «Да-да!» — бодро произнес я. Не портить же из-за одного звонка настроение? «Вы хорошо поняли, кто говорит?» — «Конечно, конечно!» Долгое недоуменное молчание. Видимо, привыкли к другой реакции. Но что делать? Не менять же ради них реакцию — потом не восстановишь… «Не могли бы мы с вами встретиться?» — «Конечно, конечно! Когда?» Снова пауза. Как-то все неадекватно. «Завтра», — мрачно произнес голос. «Ой, а сегодня нельзя? Собираюсь в Дом писателя — как раз по пути!» Пауза. Да, видимо, никак не «по пути».

«Ну, заодно», — нашел я более гибкую, как мне показалось, формулировку. «Что значит — заодно?» «Ну, не заодно!» — нетерпение душило меня. Сколько еще времени он будет занимать телефон? Друзьям не прорваться! «Завтра в шесть вас устроит?» — наконец, выговорил он. «Конечно, конечно! Как я узнаю вас?» Снова молчание — кажется, обиженное: мол, как это таких людей можно не узнать?.. Время убиваем! «Ладно! — предложил я — Держите в руках цветок!» — «Нет. Я буду держать газету!» — «Хорошо. хорошо. Где?!» Еще одна обида прозвучала в паузе. Что значит — где? Не знаю их зловещего адреса? «На углу Литейного и Чайковского», — произнес он.

…Да нет, конечно, я бы сразу его узнал — такого мрачнюгу в веселой уличной толпе! К тому же небритого: видимо, не спал ночь, готовился к беседе. Молча провел меня через Литейный, завел в гостиницу. Взял у коридорной ключ. Разговор был вполне ожидаемый: сейчас, когда в стране и за рубежом реакция поднимает голову… события в Чехословакии… я просто обязан им помогать, как сознательный гражданин… «Так скажите ваш телефон!» — произнес я нетерпеливо. С сомнением глянув на меня, он продиктовал. Я тщательно записал цифры в блокнот. Потом он продолжал говорить о том же — а мысли мои улетели. «Что вы делаете?» — вдруг рявкнул он… А что я делаю? Да. Оказалось, что я в задумчивости до неузнаваемости перерисовал все цифры телефона в цветочки, человечков и зверушек! «Я уже понял, как вы собираетесь нам помогать. Идите!» Так я в ту пору веселился. И оказалось, не зря — мои зверушки тоже сыграли роль!

Дальше события развивались так. Через несколько дней после того знаменитого вечера Бродский позвонил Довлатову, вызвал его на улицу и показал копию доноса, который передали ему верные люди из Большого дома. Донос, подписанный «членами литсекции при обкоме ВЛКСМ Щербаковым, Утехиным и Смирновым, был отправлен одновременно в ЦК, в обком партии и в обком комсомола. А копия — вот она, в руках у Бродского: лишнее доказательство того, что «наши» люди были и среди них… так же, как и их люди среди нас.

«Дорогие товарищи!

Мы уже не раз обращали внимание Ленинградского ОК ВЛКСМ на нездоровое в идейном смысле положение среди молодых литераторов…»

Дальше говорилось о грехах каждого из нас. Обо мне было сказано: «В новом амплуа, поддавшись политическому психозу, выступил Валерий Попов. Обычно он представлялся, как остроумный юмористический рассказчик. А тут на митинге

неудобно было, видно, ему покидать ставшую родной политическую ниву сионизма». Далее что-то говорилось о патологической сексуальности героев. На самом деле это был мой рассказ «Наконец-то!» о трагикомических любовных передрягах мужчины и женщины, предшествующих их встрече и настоящей любви. Потом этот рассказ многократно переиздавался в моих сборниках, и было все трудней обнаружить в нем патологию и сионизм…

О Довлатове в доносе было сказано следующее: «Чем художественнее талант идейного противника, тем он опаснее». В пример приводился рассказ «Встретились, поговорили»: «То, как рассказал Сергей Довлатов об одной встрече бывалого полковника со своим племянником, не является сатирой. Это — акт обвинения. Полковник — пьяница, племянник — бездельник и рвач. Эти двое русских напиваются, вылезают из окна подышать свежим воздухом и летят. Затем у них возникает по смыслу такой разговор. “Ты к евреям как относишься?” — задает анекдотический и глупый вопрос один. Полковник отвечает: “Тут к нам в МТС прислали новенького. Все думали — еврей, но оказался пьющим человеком!..”»

В доносе то и дело звучали намеки на нерусское происхождение некоторых выступавших. То была уже тенденция — дряхлеющая власть примеряла на себя одеяния государственников, поборников истинной культуры, борцов «за чистоту веры». Это «знамение» было вещим: «блистательные шестидесятые» заканчивались отнюдь не блистательно.

Конечно, письмо имело колоссальный резонанс. Копии его мелькали повсюду. Говоря по-нынешнему, это был пиар. Да, советская власть и ее «разящий меч» были тогда главными источниками «навязчивой рекламы», хотя цену за это брали немалую. Порой — жизнь.

Кое-как наметившиеся литературные дела Довлатова сразу оборвались. Может, как раз после этого ему возвратили из «Юности» рукопись, где рукой Бориса Полевого уже было написано «В набор»? Считается, что на этом закончилась для Довлатова возможность проникнуть в официальную советскую печать… Да нет, в официальную-то как раз нет. Уже после этого он печатает два своих конъюнктурнейших и неудачнейших рассказа — один в «Юности», другой — в «Неве». Это — пожалуйста. Главное — не закрылся ли перед ним путь в настоящую литературу? Не отчаялся ли он? Не отчаялся, но последствия были «далеко ведущие» — как мы знаем теперь, на Другой конец света. Донос тот Довлатов аккуратно «подклеил» в свою будущую книгу — он был намного предусмотрительнее

любого из нас. Первую официальную (в смысле, исходящую от официоза), хоть и слегка навязчивую рекламу Довлатов использовал, как и всё прочее, в своей работе.

Глава десятая. Проба весла

В декабре 1969 года Люда Штерн получает неожиданное письмо из города Кургана. Впрочем, совсем уж неожиданным был разве что только обратный адрес — все остальное уже знакомо до боли:

«Милая Люда!

Мама, наверное, уже сообщила тебе, что я оказался в Кургане. Намерен здесь жить неопределенное время. Я не буду излагать тебе все нудные мотивы своего поступка — ты ведь все понимаешь. Тут обнаружились какие-то хаотические возможности заработка в газете и на радио. Более того, у меня есть первое конкретное задание…»

Тут имеется в виду очерк о студентке-отличнице из Курганского пединститута, который был опубликован в «Советском Зауралье». Не есть ли это возвращение морального долга брошенной, но не забытой Светлане Меньшиковой из Сыктывкара? Появление Довлатова вместе с Арьевым в Кургане было неожиданно для Веселова, их давнего друга. Возвратившись после Ленинградского университета в родной Курган, он прекрасно там жил и, как говорится, «успешно продвигался по культурной линии», и вдруг:

«Телефонный звонок разбудил меня среди ночи. В трубке я слышал веселые голоса.

— Звоню тебе из главного пункта вакханалии. Чего не едешь? — сурово спросил Сергей.

Со сна я что-то вяло промямлил.

— Тогда мы приедем. С какого вокзала уезжать?

— С Московского.

— До встречи.

Я пошел досыпать и разговор, конечно, выпал из моей памяти. Но, оказывается, мои друзья и не думали шутить. Бросив жен и подружек, они решительно шагнули в ночь и туман. Довлатов и его верный спутник Арьев к женам так и не зашли, заночевали у Аси. Поезд уходил рано утром. Друзья молча сидели в полутемном зале ожидания. Стремительно гаснущий хмель пригасил их порыв. Андрей Арьев (ныне известный критик) предложил вернуться в веселую компанию.

— Ренегат! — презрительно бросил Сергей и открыл бутылку “Лонг Джона”, которую они везли мне в подарок.

Через два дня я получил телеграмму из Свердловска: “Готовь зелье”.

Жуткой декабрьской ночью — все вокруг дымилось и

скрипело, — на курганский перрон вывалились два человека в ленинградских пальтишках и с единственным портфелем. Они сразу согнулись и закашлялись от сухого сорокаградусного мороза».

А вот продолжение довлатовского письма:

«Полдня я провел в Свердловске. Это бессмысленный город, грязный и периферийный до предела… Курган гораздо чище, аккуратнее и благородней. Я уверен, что мои дела тут определятся. С первой весенней партией я уеду в горы. Может быть, мне повезет и я сломаю себе позвоночник…»

Тут, как заметил Веселов, Довлатов нагло присвоил себе кусок его, веселовской жизни: «В ту пору я собирался в горы и только о них и говорил. И Довлатов обещал составить мне компанию».

Ни в какие горы, конечно, Довлатов не поехал и никакого позвоночника, к счастью, не сломал. Однако надежда, что дела его здесь поправятся, не сбылась. Отчасти это связано с переменой Веселовым редакционной работы, когда в «Молодом ленинце» связи были уже разорваны, а в «Советском Зауралье» еще не налажены. Но и по сути — трудно представить довлатовскую музу «шагающей в ногу» как в Ленинграде, так и в Кургане.

Странно, словно с исчезнувшей планеты звучат курганские хроники тех лет. В общем, они напоминают будни любого советского города. Открыт мебельный комбинат. Новое светлое общежитие. Секретарь обкома выбран в Верховный Совет СССР… Это уже напоминает что-то сегодняшнее. Но никто и не говорит, что Довлатов и сегодня пришелся бы ко двору… В театре — премьера. Туристская рубрика — «Мое Зауралье». Мелькают время от времени блистательные театральные обзоры и рецензии Веселова — местного корифея журналистики. Вот в черных рамках некрологи — умерли маршал Ворошилов и космонавт Беляев. Есть и чисто довлатовские строчки: например, среди других пафосных сообщений стоит такое: автоколонна 1442 стал автоколонной 26. Объяснения отсутствуют.

На фотографиях — чистые, широкие улицы, аккуратные дома. Главное, ощущается какая-то легкость дыхания; нет, кажется, тяжкого давления обязательного городского мифа, как в Питере и в Москве, с навешанными на этот миф гирями идеологии.

В одной из статей в «Советском Зауралье» перечисляется список великих, чье творчество так или иначе связано с Курганом: Жуковский, Пушкин, Кюхельбекер (не совсем по своей воле), Лермонтов, Чехов, Горький, Иванов, Мамин-Сибиряк,

Маяковский, Есенин, Шолохов, Евтушенко, Вознесенский, Астафьев, Распутин, Каверин, Лихоносов, Василий Белов. Теперь и Довлатов!

Несмотря на ударные дозы алкоголя, он четко соображал — на огромную высоту петербургского, а тем более российского Олимпа того времени так легко не взберешься… может быть, это не удастся никогда. Так, может, завести свой Олимп, как это сделал Веселов, сразу и без труда ставший звездой курганского небосклона, небожителем, кумиром, законодателем моды?

В поисках «своего» небосклона по маршруту Таллин — Пушгоры — Вена — Нью-Йорк первой, пробной ступенью был Курган. Вдруг здесь сразу повезет, все сладится? Слава богу, не повезло. Теперь только самые дотошные исследователи творчества Довлатова обнаруживают «курганские страницы» в сочинениях «В тихом городе» и «Дорога к славе». Имелась в виду, видимо, дорога к Славе Веселову.

А вот еще письмецо:

«Милая Люда. Я до сих пор не получил от тебя никакого известия. Хотя написал неделю назад. (Вот почта работала — за неделю туда и назад! — В. П.) Дела мои идут нормально, трезво и обстоятельно. Сдал два очерка в “Советское Зауралье” и “Молодой ленинец”, в понедельник улечу на местном самолете в Частоозерье на рыбокомбинат. Они набирают людей на последний “неводной и сетевой лов”. Я там пробуду три месяца среди законченных подонков общества, то есть в самой благоприятной для меня обстановке. Предоставляется барак и кое-что из спецодежды. Оплата сдельно-премиальная. Интуиция мне подсказывает, что это хорошо. В общем, я становлюсь на некоторое время “сезонником из бывшего ворья”.

Я довольно много написал за это время. Страниц 8 романа, половину маленькой детской повести о цирке и 30 страниц драмы про В. Панову. Мы читали первый акт местному режиссеру, пока все нормально. Пиши мне по адресу Славы Веселова, он мне переправит всю корреспонденцию».

В своих воспоминаниях Веселов пишет:

«О нормальности дел вряд ли можно было говорить. На читку пьесы, которую мы писали втроем, я пригласил режиссера Николая Воложанина. Наш опус ему понравился, но он заметил, что текст слишком плотен для сцены, мало воздуха, мол, эта вещь для чтения, а не для постановки.

Дело обычное. Многие прозаики считали делом престижа написать пьесу. И что же? Все они создали вещи для чтения. Драматургические опыты Томаса Манна (Фьоренца) и Хемингуэя (Пятая колонна) сценического успеха не имели. Короткий

монолог Воложанина дал мне больше для понимания законов сцены, чем специальные труды по теории драмы.

Но о работе Довлатова — чистая правда. Меня всегда восхищала работоспособность Довлатова. Живой, мгновенно откликающийся на предложение выпить, он ранним утром, даже с большого бодуна, уже сидел за машинкой.

— Ну что ты там ковыряешь! — говорил я. — Выпей рассолу.

— Да, — отвечал он, — пока лабуда… Но на третьем часу обязательно будет страница прозы… Хорошей прозы, уверяю тебя!

…Из затеи с неводным ловом ничего не вышло. Сергей отошел в Кургане, в нем проснулся вкус к работе, и он улетел в Ленинград».

Между тем все это делалось не впустую. «Штурм» курганской прессы — репетиция к штурму прессы таллинской, и потом и нью-йоркской. Тут — не сложилось. Место кумира, законодателя литературной моды, талантливого молодого писателя, которым положено восхищаться, было занято уже его близким другом Веселовым. Не подсиживать же друга? Довлатов, впрочем, мог бы. Но вовремя почувствовал: Олимп мелковат.

Но поездка эта очень важна. Довлатов, как говорится, «развязал», развернул карту мира, и я бы даже сказал, «раскрутил глобус» и стал искать: где же тот город, в котором ему удастся стать первым?

Название этой главы я придумал не сразу… Сначала маячило что-то вроде «Пробы пера». Но нет — перо свое он давно распробовал. В этой главе речь идет о другом — о «репетиции полета», о поиске города, где он может осуществиться полно и беспрепятственно, где нет такой толпы гениев, как в столицах, и где удастся ему сравнительно быстро стать первым… «Проба крыла»?.. Но уж на этом названии, можно сказать, пробу ставить негде. Лучше скромненько: «Проба весла».

Глава одиннадцатая. Грустные семидесятые

В семидесятых Ленинград вдруг как-то опустел. Праздничное оживление предыдущего десятилетия сникло. Боролись, боролись за светлое будущее — а ничего так и не изменилось. Бороться с советской властью, что с сыростью: все равно как-то наползает из темных углов и становится еще хуже, чем до «попыток обновления». Может, и не рыпаться? Зачем-то закрыли знаменитый «Восточный», штаб пьющей интеллигенции. Помню, даже солидные люди, народные артисты, писали письма в защиту этого «очага культуры». Не помогло. Да и когда эти письма помогали? Только зря рискуешь, подписывая их! Такие вот настроения.

Перестали почему-то пускать в «Европейскую» и «Асторию». Всплыло вдруг напыщенно-гордое слово «Интурист». Освободите номер — это броня «Интуриста»! Никогда прежде такой гадости не было. Что гибнет при этом очередная городская легенда о существовании успешной и веселой городской интеллигенции, умеющей пожить… кого это «колыхало»? Это была уже, я думаю, «заря маркетинга», способного загубить все живое за копейку. Вместо гениального «Восточного», где все общались, открыли нелепый «Садко» с кокошниками и гуслями для зарубежных любителей «русской клюквы». Власть, оказывается, больше любит торговцев, чем интеллигенцию. А ты не знал, разве? Тоска, тоска!

В Москве, правда, не все было так печально. Там еще гулял и шумел ЦДЛ — Центральный дом литераторов, да и Дом журналистов, да и Дом кино. Московских гуляк так просто не разгонишь! К тому же у них было на что гулять — «кормушек» еще полно, не задушишь, не убьешь. Пожалуйста — политиздатовская серия «Пламенные революционеры»! Садись и пиши! Говоришь, кого-то они там мимоходом казнили?.. Ты в договор смотри! Какой гонорар! То-то и оно.

…Кстати, непреходящая абсурдность нашей жизни показалась еще раз: почему-то именно серия о «пламенных революционерах» оказывалась для многих трамплином для прыжка на Запад. Казалось бы — какая связь? Но… Гладилин выпустил книгу о Робеспьере — и подал документы. Аксенов написал книгу о Красине — и тоже убыл. Ефимов тоже воспел кого-то пламенного — и оказался в Америке. Ну просто не книжная серия, а какой-то «ковер-самолет»! Наверно, пламенные чекисты поломали тут головы: «Почему так?» Да нипочему!

Просто так! Должны же «пламенные революционеры» хоть на что-то годиться в наши дни?

«Лучшие представители интеллигенции» (Довлатов эти слова не раз обыгрывал), не уехавшие за границу, подались в Москву. Женился на москвичке и переехал в столицу Битов. Тоже рвануть туда? Да не стоит. Там, где Битов, — второму ленинградцу делать нечего. Переехали, однако, Найман и Рейн — и не пропали. Так же как и Битов, они зацепились за весьма уютные и доходные Высшие сценарные курсы… хотя, кажется, кто-то из них уже закончил и Высшие литературные… Хорошо в Москве! Вопрос: не слишком ли хорошо?

В Питере такой жизни нет. Обстановку в Ленинграде хорошо рисовали строки, приписываемые известному сатирику Хазину, проходившему в свое время по «делу» Зощенко и Ахматовой: «Он был не понят и не признан, бродил по Невскому, как тень!»

Так с нами и было. Действительно — сколько можно бродить по Невскому как тень? Никому ты уже не нужен!

Следующие строки этой поэмы не имеют уже столь большой исторической глубины, но все же приведу их — поскольку ожидание рифмы томит: «…и занимался онанизмом в международный женский день!»

Возможно, это не профессиональное, а народное творчество… но общее настроение охарактеризовано точно. Действительно, чем тут еще заниматься?

Помню внезапный, как всегда невпопад, довлатовский звонок. Довлатов, особенно когда выпивал, переходил на суперинтеллигентный, изысканный язык:

— Нахожусь на Невском проспекте… фланирую как раз по той стороне, куда прежде не допускались нижние чины… Хотелось бы поговорить.

Приближаясь, вижу его не одного, а в обычной для него, уже пыльной и измученной компании высокоэрудированных пьяниц. Потом эти люди станут в его рассказах очаровательно-абсурдны. Но пока что веселье явно не бьет ключом.

Отделившись, мы идем с ним от Невского вдвоем и — видимо, «для серьезного разговора» — оказываемся на улице Жуковского, в квартире Аси на первом, кажется, этаже. Это уже точно семидесятые годы, потому как помню в манежике посреди комнаты ребенка, который уже стоит, глазеет, держась руками за бортик. Маша, дочь Довлатова и Аси, родилась в 1970 году — значит, это уже, наверно, 1971-й? Для исследователя, отчаянно пытающегося выстроить стройную биографию Довлатова, появление у него дочери-от Аси в это время как-то озадачивает. Вроде бы все давно уже позади? Но для писателя ничего «не

позади», он никогда не отказывается ни от какой жизни (любая важна!), у него все «здесь и сейчас», все одновременно. Вот и здесь — тоже он. Судьба у этой девочки будет потрясающая — но тогда, в той бедной комнате, почти что в полуподвале, могло ли такое пригрезиться?

Довлатов был неприветлив и хмур. Мне помнится, что мы даже не снимали пальто — Довлатов демонстративно, я за компанию. К тому времени он давно уже не появлялся у Аси, отвык от ее насмешек, но вот — пришел и сидит. А девочка стоит в манежике и смотрит. Известно, что отцовство свое Довлатов вяло отрицал, ссылаясь на «отсутствие должного энтузиазма», необходимого в этом деле. Но в то же время и не «рвал глотку», отпираясь и отказываясь. Это уже совсем некрасиво. Бог с ним, пусть будет считаться, что дочь его. Пригодится! И вот мы теперь смотрим на фото голливудской красавицы между портретами ее родителей. Все сработало! Таковы уж, говоря нынешним языком, жестокие законы шоу-бизнеса. Кто у нас тут поблизости красавец и знаменитость? Значит — он и отец. И Довлатов, вполне это понимая, смирился. «Тем более, — как поется в песне, — что так оно и было». Но «энтузиазма» по-прежнему не проявлял. Известно, что Довлатов даже не встретил Асю с Машей из роддома — да Ася, говорят, на него и не рассчитывала. Однако — вот пришел и сидит! И я с ним зачем-то.

Ася куксится, болеет, кашляет, горло замотано, но мы почему-то долго, тяжело сидим на кухне — при этом молча. Надо им выяснить их запутанные дела, так пусть выясняют! Я-то при чем? Раздается звонок. Приходит врач, раздевается в прихожей, вскользь глянув на нас, сидящих на кухне, проходит в комнату, о чем-то разговаривает с Асей. Уходит. Возвращается Ася, и в болезни сохраняющая главное свое качество — иронию. Прикрывая ладонью простуженное горло, смеется: «Знаете, что врач сказал? Сочувствую вам — у меня соседи такие же скобари!» Сергей мрачно усмехается. Как всегда, идет тяжелое собирание фраз, которые потом, может быть, пригодятся в работе.

Ася провожает нас без малейшего сожаления. Потом мы еще бродим по Невскому. Похоже, что Довлатову просто некуда больше пойти. Или не хочется — везде тяжело.

Только верная Люда Штерн еще читает его письма… во всяком случае — пока еще не отказывается их получать.

«3 апреля 72 года.

Милая Люда, я решился написать тебе письмо, хотя знаю, что у меня уже нет на тебя никакого влияния, что я не внушаю тебе ни малейшей симпатии… Последние месяцы я ужасно много пил… Неделями не приходил в себя и вдруг осознал с диким

страхом, омерзением и безнадежностью, что из-за меня несчастливо и бедно живут уже три хороших человека. Я вдруг окончательно понял, что из-за здоровенного, наглого, способного мужчины происходит неизменная Ленина тоска, Катино примитивное воспитание и мамина болезнь. Завтра, в воскресенье, она уезжает в туберкулезную больницу гор. Пушкина с очаговым туберкулезом, на три месяца. В ее болезни я тоже виноват. Потому что туберкулез — болезнь голодных… В общем, я дошел до последней грани отчаяния, муки и стыда».

В 1973 году Ася Пекуровская с трехлетней Машей улетает в Америку, не связывая с Довлатовым никаких надежд. В Риме у Аси украли кошелек с деньгами и документами, и она, с дочерью на руках, сама в эти дни не очень здоровая, бродила по римской жаре, не зная, куда податься… Дочь узнает о том, кто ее отец, только после смерти Довлатова.

В 1977 году Лена с Катей тоже уедут. С Довлатовым останется лишь мама. Жизнь становится совсем уж беспросветной. Жены и дочери уезжают от него обреченно и безоговорочно — словно его и нет, пустое место. Уезжают и друзья. Его кумир Бродский в 1972 году навсегда покинул Россию. О нем уже знал весь мир, и на Западе его ждали. В Вене его встретил сам Карл Проффер, профессор, хозяин «Ардиса», издание в котором решало тогда всё. Бродский стал преподавать в самых престижных американских университетах, его книги выходили одна за другой и имели феноменальный успех, в большом количестве проникая и в Россию. Перед отъездом он написал письмо Брежневу: «…и даже если моему народу не нужно мое тело, то душа моя ему еще пригодится!» И слова те оказались пророческими.

А Довлатов опять в раздрае и на распутье. Продолжать попытки пробиться в Ленинграде — или избрать другой путь? Конечно, путь Бродского был бы для него идеальным, но он понимал с горечью, что если сейчас ему ринуться за рубеж, то никакой Проффер его не встретит и преподавание в университетах ему не предложат — кто он такой? Литературного багажа мало, нужной «скорости взлета» он еще не набрал.

В ту пору как раз начался «большой разъезд». Сняться с привычного места пришлось и мне. Началось расселение, как бы под капремонт, жилого дома Всесоюзного института растениеводства на Саперном, где жили многие ученики и последователи Вавилова и куда мои родители вместе с нами приехали после блокады. Знающие люди говорили, что капремонт ни при чем — просто дом приглянулся одному банку. Растениеводство теперь как-то меньше интересовало начальство.

Оказалось, что власть — любая! — ближе к торговцам, чем к ученым, не говоря уже о писателях, тем более будущих.

Пришлось и мне уехать — не в Москву, не в Америку, а всего лишь в Купчино, на необжитую окраину города. Не Михайловское, конечно, не Болдино, где творил Пушкин, — но польза в этом суровом перемещении была. «Доброму вору все впору»! Привыкши уже ходить только по стройным улицам Петербурга и общаться исключительно с гениями — в Купчине я, наконец, вплотную увидел родной русский народ «во всей его небритости», написал об этой жизни «тяжелый» рассказ «Боря-боец» и с ним впервые прорвался в «Новый мир». Что ж, полезно, говорят, удаляться в пустыню для просветления. Хватит, погуляли!

Глава двенадцатая. Золотое клеймо неудачи

Довлатов тоже исчез с Невского. Потом прошел слух, что он переехал в Таллин. Этот город всегда нас манил. Сесть в поезд (тогда это стоило сущие копейки) — и, проснувшись утром, увидеть этот город-сказку! Целыми учреждениями ездили на выходной, оказывались на Ратушной площади, покрытой брусчаткой (уже экзотика!), спускались в уютные полутемные кафе (эта полутьма, не разрешенная у нас, была интимной, манящей, запретной). В чистых магазинах с восхитительно вежливым обслуживанием покупали столь модные тогда грубоватые керамические чашечки, простые и элегантные (особенно после выкинутых бабушкиных громоздких люстр) торшеры и бра, и с ними как-то сразу чувствовали себя идущими в ногу с прогрессом, ощущали свое стремительное сближение с мировой цивилизацией. Не было тогда города заманчивей. Казалось, и вся жизнь там только такая, и только такая и может быть: вежливая, разумная, уютная! И у всех нас возникала радостная догадка: а может, там и настоящей советской власти нет? Ведь не может же быть при советской власти так хорошо?

Именно эта безумная надежда, особенно сильная у ленинградцев, ощущающих Таллин совсем рядом, и поманила Сергея туда. Это был переезд в другой мир, «первая эмиграция» Довлатова. Вот его первая оценка Таллина в письме к Эре Коробовой:

«Милая Эра!

Сквозь джунгли безумной жизни я прорвался, наконец, в упорядоченный Таллин! Сижу за дверью с надписью “Довлатов” и сочиняю фельетон под названием “Палки со свалки”. Ленинградские дни толпятся за плечами, беспокоят и тревожат меня. Мама в ужасе, Лена сказала, что не напишет мне ни одного письма. Долги увеличились, ботинки протекают настолько, что по вечерам я их опрокидываю ниц, чтобы вытекла нефтяная струйка… Очень прошу написать мне такое письмо, чтобы в нем содержался ключ, какой-то музыкальный прибор для установления верного тона… В Таллине спокойно, провинциально, простой язык и отношения. Улицы имеют наклон и дома тоже. Таллин называют игрушечным и бутафорским — это пошло. Город абсолютно естественный и даже суровый, я его полюбил за неожиданное равнодушие ко мне».

Равнодушие Таллина к нему, Довлатов, конечно, выдумал,

чтобы создать более суровый и героической свой образ. Сочинил он и историю своего абсурдного прибытия в эстонскую столицу — после очередного загула, без подготовки и багажа. Но это — довлатовский непутевый герой. Сам писатель был более аккуратен. Был деловой звонок Мише Рогинскому, другу по университету, теперь уже успешному таллинскому журналисту: «Нужно уединение, чтобы сделать заказуху для “Невы”. Можно приехать?» — «Ну что ж, приезжай» — разве другу откажешь?

Как всегда, довлатовская жизнь и проза сильно отличаются. Отброшен, как абсолютно невыразительный, реальный вариант появления Довлатова в городе. В рассказе «Лишний» переезд выглядит диким и абсурдным, что сразу задает рассказу нужное напряжение, высокий градус — после чего герой, по нарастающей, попадает в дом к невероятному Бушу. Все верно: рассказ и должен быть сразу «заведен», как будильник.

Реальность (как правило, тщательно изгоняемая из книг Довлатова) была несколько иной. Настоящий таллинский адрес Довлатова в его сочинениях найти трудно. С журналисткой Тамарой Зибуновой он пересекся на какой-то питерской вечеринке, записал телефон — за этим последовал внезапный (для нее) звонок: «Оказался в Таллине, телефоны знакомых не отвечают». Как в известной солдатской присказке — «так есть хочется, что даже переночевать негде». Тамара пишет, что вскоре поняла, что Довлатов съезжать от нее не собирается, и остается два варианта — или вызывать милицию, или соглашаться на всё. Мягкие интеллигентные люди обычно выбирают второй вариант. И Довлатов обрел новый очаг, понимание, прошение, тепло и уют. По моим наблюдениям, самыми симпатичными подругами Довлатова, которые любили его радостно и бескорыстно и могли бы дать ему счастье, были как раз Тамара Зибунова — и еще сыктывкарская Светлана Меньшикова. Не срослось! Не будем даже гадать, по чьей вине.

«10.12.73

Милая Эра, завтра же в рабочее время напишу тебе длинное письмо обо всем. А пока:

Слух насчет моей женитьбы
(Размотать, эх, эту нить бы!)
Треплют злые языки,
Правде жизни вопреки.

Я свободен, беден, холост.
Жизнь моя. как чистый холст,
Впереди — дорога в ад,

Я дружу с тобой, виват!»

И еще одно письмо — от 4 января 1974 года: «Милая Эра!

1. Слухи о моей женитьбе не Ваша литературная фантазия и не плод моего самомнения, они существуют, и вообще, я проживаю в Таллине у одной миловидной гражданки с высш. техн. образованием (у нее есть самогонный аппарат)… В общем так: я жив, интересуюсь Вами, пишу второй роман. Много пью, тяжело протрезвляюсь, журналист, целую Вас, пишите, не сердитесь».

Наша главная, пристрастная, но объективная свидетельница Люда Штерн вспоминает Тамару Зибунову как симпатичную, добрую, терпеливую женщину, отличную хозяйку, создавшую Довлатову уют, которого ему всегда не хватало:

«Я была у Тамары и Сергея в Таллине. Они жили вовсе не в “огромном и облезлом” (как писала Клепикова), а в деревянном трехэтажном, вполне симпатичном доме на улице Вируки (бывшая Рабчинского). 3 сентября 2003 года (заметьте, гораздо раньше, чем в Петербурге) на фасаде этого дома появилась мемориальная доска “ЗДЕСЬ ЖИЛ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ”».

Этот дом воспет Евгением Рейном в стихотворении, посвященном Тамаре Зибуновой:

Деревянный дом у вокзала
Безобразной окраины Ганзы,
Где внезапно зауважала.
Приютила свои сарказмы
Просвещенная часть России.

Вот еще одно свидетельство Люды Штерн, которому следует доверять:

«Итак, небольшой деревянный дом. Вдоль улицы каштановая аллея. Из окон виден двор с кустами сирени и шиповника… Тамарина двухкомнатная квартира была похожа на большинство квартир советской интеллигенции, не обласканной режимом. В комнате, где принимали гостей, — изразцовая печь, тахта. Дубовый раздвижной стол, старинный книжный шкаф карельской березы. Письменный стол педантичного Довлатова в идеальном порядке. На полу — настоящий персидский, во всю комнату, ковер. В этой квартире останавливались, приезжая в Таллин, наши друзья. В том числе и Бродский, которому Тамарина квартира нравилась нестандартностью, уютом и тихим зеленым

районом в пяти минутах от старого города».

Вскоре удачно определяется и «способ существования». Некоторое время Довлатов работает в кочегарке. К счастью, бурный его темперамент не позволил ему стать писателем-кочегаром — таких было много тогда. В первую очередь они пили портвейн, потом философствовали, потом, естественно, кочегарили, и лишь потом что-то писали… а часто и не писали вообще. Зачем, когда тебя и так высоко ценят твои друзья? Довлатов, к счастью, в кочегарке не засиделся. Вскоре он, явно не без помощи Тамары и Миши Рогинского, уже работает в портовой многотиражке, а потом — в главной, солидной таллинской газете «Советская Эстония». Только в сказочном Таллине возможно такое чудо! Золотое перо Довлатова сразу озарило тусклые небосклоны эстонской прессы — хотя там и работали достойные профессионалы, отношения с которыми, естественно, были гораздо нормальней и успешней, чем в довлатовской прозе. Если жить жизнью его героя — через неделю вылетишь откуда угодно!

Все коллеги-журналисты вспоминают о весьма профессиональной и тщательной работе Довлатова; не зря даже инструктор ЦК Эстонии Иван Трулль, сыгравший в жизни Довлатова немалую роль, полюбил его сперва именно за блистательные публикации в прессе. Главный редактор газеты Генрих Туронок вовсе не был так глуп и труслив, как в довлатовском «Компромиссе» — рабочую и даже творческую (насколько это было возможно тогда) атмосферу в газете он умело поддерживал. Все говорят о его «польской учтивости», умении решать проблемы сотрудников и нацеливать их перо в нужном направлении, при этом «не ломая» их, учитывая каждую индивидуальность. Подтверждаю, что в те годы газету «Советская Эстония» читать было интересней и приятнее, чем наши газеты. Довлатов не просто «отсиживает часы» — нет, он работает вполне успешно. Изданные после его смерти его женой и дочкой газетные публикации Довлатова восхищают — высший класс журналистики! Довлатов не просто служит — проявляет инициативу: вместе с сотрудницей газеты Еленой Скульской они придумывают детскую страничку, «Эстонский словарь», чтобы дети в Таллине, говорившем тогда в основном на русском, изучали с детства и эстонский язык.

Лена Скульская (друзья звали ее Лиля) — умная, талантливая, очаровательная и надежная, стала верным другом Довлатова, причем на всю жизнь. Их переписка открывает нам многие важные события жизни Сергея. Был с ним и веселый, умный и слегка циничный, как все мы тогда, Миша Рогинский — именно с такими рядом удобно и весело жить. Столь ценимый

нами эстонский комфорт (натуральное дерево, запах хорошего кофе, уютная полутьма) царил в доступном лишь «своим» (тогда это особо ценилось!) баре в здании редакции. Довлатов скоро стал там королем, вокруг него толпились поклонники и поклонницы. Казалось — чего же еще?

Но блистательный и трагический «Компромисс» складывался именно тогда и именно из той жизни. Трудно даже представить, как это могло быть. Известен удивительный эпизод жизни Чехова, столь любимого Довлатовым. Было лето, на даче Чехова жили гости, Чехов часто ездил в лодке с барышнями на пикники, много шутил, смеялся, выглядел счастливым и беззаботным. И оказывается — именно в эти дни и часы он обдумывал и писал «Палату № 6» — одно из самых странных и трагических своих сочинений. Загадочный народ — писатели! Чего им в этой жизни не хватает?

Довлатовскому умению организовать «круг персонажей» из самых разных людей можно позавидовать — хотя завидовать бесполезно: не поможет. Гонорар этой «группе поддержки» (искаженное их изображение в прозе) придет нескоро, и в «валюте», для многих неприемлемой. Как всегда, он суров — особенно почему-то с «музами», трепетно помогавшими ему в тот или иной год. Следов сыктывкарской Светланы Меньшиковой на его страницах нет. Мелькает в «Ремесле», в таллинских страницах, некая Марина, у которой он оказывается лишь в минуту полного поражения и упадка. «Отражений» реальной Тамары Зибуновой, главной музы и хранительницы Довлатова на протяжении трех таллинских лет, в его книгах нет. Зато блистательно описаны другие женщины, отнюдь не играющие важной роли в его судьбе, а то и вовсе не существовавшие. Почему так?.. Потому! Тайна ремесла.

Для разъяснения могу вспомнить одну из «инструкций» замечательного Александра Володина, с которым я тогда общался так же жадно, как и Довлатов. «Никогда не пиши так, как было! — вскидывая, по своему обычаю, жестом отчаяния ладони перед лицом, восклицал Володин. — Пиши только наоборот! Если она была блондинкой — пиши брюнетку. Если была зима — пиши лето». Это призыв не к лживости — к совершенству. Только созданное тобой реально и ярко. Заимствованное, пусть даже у жизни, бледно и неубедительно. Сочинитель вкладывает в свои творения больше сил и таланта, у кого он есть, чем фотограф. И результаты резко отличаются. Фотографии, увы, бледны и быстро выцветают, а рукотворные шедевры — навсегда.

Так что до сих пор не выяснен до конца вопрос — должны быть счастливы или обижены те люди, чьими фамилиями

Довлатов наделил своих, нужных ему героев, часто совсем не похожих на прототипы. Думаю, они и счастливы, и обижены одновременно.

Реальные обстоятельства таллинской жизни Довлатова приходится восстанавливать по крупицам. Прежде всего нужно отметить тот удивительный факт, что волшебный Таллин почти отсутствует в его сочинениях — никакой тебе романтики, за которой сюда ехали со всего Союза! Служба, квартиры, разговоры. Если выпивка — то отнюдь не комфортная. Колорит убран. Обычный, как любили говорить классики, «уездный город N», преимущество которого лишь в том, что он открыт взгляду, здесь легче оказываешься в центре жизни. В маленьком городе люди смотрятся заметнее и крупнее, отношения зримее, тебя быстрее узнают и оценят — в мегаполисе проходишь «непонят и непризнан» до седых волос, а тут все на виду. Правда, если беда — то здесь она тоже найдет тебя легче и быстрей, что и подтвердилось в случае Довлатова. Тут он взял и содержание и форму «в одном флаконе», тут они рядом, не то что в Питере, где все приходится долго искать. Таллинские страницы — самые яркие, выразительные, смешные и самые трагические в «Ремесле». А ведь здесь появился еще и «Компромисс» — урожайный город! Есть экстенсивное земледелие, как в России — большие пространства, и связь усилий и результата порой не проследить, а есть земледелие интенсивное: минимальная площадь, зато ей уделяется максимум внимания, легче сосредоточиться и виднее результат.

Так что Довлатов абсолютно безошибочно переехал в Таллин. Оглядевшись, понял: годится! Вот эту «миловидную крепость» я возьму… Но сладкого «воздуха Таллина», которым мы тогда бредили, в сочинениях Довлатова нет. Мир его тесен и герметичен — он содержит лишь самое необходимое, без чего нет результата.

Особая, деликатная тема, без которой, однако, не обойтись — сравнение реальных людей, с которыми Довлатов общался и даже дружил, с героями его сочинений. Тема это весьма болезненна. Он, как говорится, «кроил по живому». Сегодняшняя пресса полна жалобами и обидами конкретных людей, помещенных Довлатовым в свои сочинения под реальными фамилиями — но описанных весьма своевольно.

Самым, пожалуй, ярким таллинским персонажем довлатовской прозы стал журналист Буш. Всех нас охватывает восторг, когда этот весьма затейливый герой в момент достижения им порога успешной, благопристойной жизни вдруг наносит удар ногой по подносу с рюмочками, который выносит

супруга начальника…

«…Потом Буш встал. Широко улыбаясь, приблизился к Зое Семеновне. Внезапно произвел какое-то стремительное футбольное движение. Затем — могучим ударом лакированного ботинка вышиб поднос из рук ошеломленной женщины…»

«Эх, и мне бы так! — мысленно восклицает читатель, измученный унижениями на работе — Да кишка тонка!»

Реальный Эрик Буш существовал — и тоже был человеком весьма затейливым, — но вот этот, «кульминационный» удар ногой совершил лишь в сочинении Довлатова. Хотя натворил в жизни немало. Вспоминает Тамара Зибунова:

«Конечно, Буш существовал на самом деле! Это был человек непредсказуемый, экстравагантный, красивый, элегантный. И фарцовщиком был, и журналистом — кем он только не был!.. Действительно, в то время он жил с милой скромной женщиной заметно старше себя. Кажется, она хромала».

Кое-что к характеристике Буша добавляет Михаил Рогинский, один из главных «свидетелей» таллинской жизни Довлатова:

«К сожалению, Буш как журналист слишком много врал. Главным образом из-за этого его никак не брали в штат. Помню, мы готовили специальный выпуск газеты, посвященный ВДНХ. Я был назначен главным по этому выпуску: я отбирал все материалы, правил их. Буш в какой-то пивной услышал, что прорыт новый канал. Он, не задумываясь, тут же написал об этом статью. И только в последний момент я догадался его материал перепроверить и тут же выкинул из номера. Такое с Бушем, к сожалению, случалось очень часто. Но писал он талантливо — этого не отнимешь. У него был свой стиль».

В сети Довлатова, естественно, не мог не попасть и сам Рогинский, близкий довлатовский друг. Досталось и ему — правда, под измененной, но узнаваемой фамилией Шаблинский.

«— Мишка, я не ханжа. Но у тебя четыре дамы. Скоро Новый год. Не можешь же ты пригласить всех четверых.

…Шаблинский подумал, вздохнул и сказал:

— Если бы ты знал, какая это серьезная проблема!»

Думаю, Рогинский бы не обрадовался, если бы это произведение Довлатова тут же появилось в печати. К счастью и для Рогинского, и для Довлатова, да и для самого произведения, оно было написано лишь через несколько лет, а опубликовано еще позже — когда появления в прозе Довлатова можно было уже не бояться, а скорее уж гордиться этим.

Михаила Рогинского из всей таллинской компании я знал наиболее близко, встречал его то в Таллине, то в Москве. Он всегда был великолепен, ухожен и успешен — сначала в

журналистике, а потом и в бизнесе. Всегда приятно видеть его интеллигентное, тонкое, красивое лицо. С друзьями он всегда предупредителен, добр. И с годами делается только лучше.

Когда дочь Довлатова Катя позвонила мне в Петербург, чтобы пригласить в Москву на празднование шестидесятилетия Довлатова, а я стал ссылаться на всяческие возрастные немощи, Катя весело сказала:

— Да бросьте! Знаю я вас. Вот Рогинский только что взял жену на сорок лет моложе его!

Так что некоторая точность в изображении этого персонажа имеется. Другие герои таллинской эпопеи, узнав (или не узнав) себя в своих однофамильцах, обиделись на Довлатова значительно больше. Действительно, надо признать — многие попали благодаря Довлатову в вечность в абсолютно неузнаваемом виде. Реальные события искажены в прозе Довлатова на девяносто процентов — если не на все сто. Много чего не было — да и не могло тогда быть… Однако мы теперь именно через довлатовские «очки» видим то время так, как нам велит он. Не было, скажем, той завлекательной алкогольно-эротической поездки в образцовый совхоз с фотографом Жбанковым, не было уморительного письма Брежневу, которое там писали… Все это Довлатов нафантазировал из случайных разговоров коллег о весьма заурядных, нормальных событиях в служебных командировках. Случись все те безобразия — уволили бы всю редакцию! Тем-то литература и привлекает, что там доступно все, о чем в реальной жизни крепко задумаешься — и побоишься, не сделаешь. Этой безграничностью эмоциональных возможностей Довлатов и дорог нам. Эх, так бы и мне! Если бы не… Все эти «бы» Довлатов смело убирает с дороги — герои его живут на пределе возможного и разрешенного и выходят за эти пределы. Такова писательская участь — все время пробуешь на прочность сук, на котором сидишь, а потом уже и пилишь его — а иначе вроде бы и сидеть на нем не имеешь морального права. И подпилишь, и рухнешь, в конце концов. Но если этого — жизни на пределе — в книге нет, то ее и читать не станут. Кровь — единственные чернила. Кровью обязательно пахнет в любой сильной прозе — даже если прямых трагических событий в ней нет.

Не думаю, что Довлатов сразу решился на столь резкое преображение таллинской действительности в сторону трагедии… но наша действительность ему помогла. В этом отношении она никогда не подводит!

Тамара Зибунова сделала, причем скромно и не выставляя себя на вид, самое главное для Довлатова дело. В издательстве

«Ээсти раамат» («Эстонская книга») редактором русского отдела была жена ее сокурсника и хорошая приятельница Эльвира Михайлова. Она отвела туда Сережу, и Эльвира согласилась взять его рукопись. Он был счастлив и сразу же стал работать над будущей книгой — подбирать рассказы для публикации, переписывать, дорабатывать.

Глава издательства «Ээсти раамат» Аксель Тамм, известный писатель и достойный человек, очень хотел издать хорошую книгу местного русского автора и бился за Довлатова упорно. Надежды, связанные у Довлатова с Таллином, вроде бы начинают сбываться: корректура его книги, сначала называвшейся «Пять углов», а потом «Городские рассказы, появляется с нереальной для российских издательств быстротой. Европа! Налаживаются и другие дела. Вспоминает Тамара Зибунова:

«В начале 1974 года гостивший в Таллине сотрудник журнала “Юность” предложил Сергею Довлатову написать рассказ про рабочий класс, приложить к нему еще один — пригодный к публикации, приличный. И прислать все это ему в “Юность”: “В таком сочетании скорее всего и будет результат”. Из своих годных к публикации рассказов Сергей выбрал “Солдаты на Невском”. Про рабочий класс долго и упорно писал. Сюжет определился быстро — “Интервью”, из журналистской практики. А вот слова подбирались тщательно и долго. Переписывал несколько раз. Рассказы торжественно были отправлены в Москву. Вскоре пришло радостное известие — ждите шестого номера. А шестой номер в тот год должен был быть пушкинским. Сто семьдесят пять лет исполнялось Александру Сергеевичу.

В конце июня в Таллин прибыл долгожданный номер. Опубликован был только рассказ про рабочего! Это был удар! Да еще дошли слухи, что Полевой, в то время главный редактор "Юности”, рекомендовал второй рассказ свернуть трубочкой и засунуть автору в задницу. Много лет спустя мне рассказали в Москве, что это была его постоянная рекомендация неугодным авторам. Как бы шутка.

С горечью Довлатов рассказал про аналогичный случай со “Звездой”. Для этого журнала он в свое время тоже написал рассказ про рабочего — “По собственному желанию” — и послал его в редакцию вместе с рассказом “Дорога в новую квартиру”. Сюжет прост — молодой рабочий увольняется с завода, но по мере заполнения обходного листа влюбляется в свой завод. И остается. Результат был тот же, что и в “Юности”. Объяснение по поводу отказа в публикации “Дороги в новую квартиру” тоже имелось. Возможно, чисто литературное. Кто-то из сотрудников, прочтя рассказ, влетел в кабинет к редактору со словами

восхищения:

— Наконец-то будет опубликован прекрасный рассказ про блядь!

Через некоторое время пришел гонорар из “Юности”. Целых четыреста рублей, по тем временам солидная сумма. С утра пошли на почту получать. Послали алименты в Ленинград. Раздали долги. Зашли в ювелирный. Купили очередные часы. И отправились по своим рабочим местам. Часы я забрала, чтобы отнеси к граверу. Написать — “Пропиты Довлатовым».

Вечером Сергей дома не объявился. Только позвонил:

— Почему не забрала у меня деньги? Мне же пришлось поставить на службе. Ну и продолжить! Хочешь, приезжай!

Но я не хотела. Дня через два он объявился в конце рабочего дня у меня на работе. С повинной:

— Томушка, милая! Я почти все прогулял… Осталось только пятьдесят рублей. Мы даже тебе ничего не купили… Давай пойдем что-нибудь купим. И на ужин. Мне обязательно надо сто пятьдесят грамм водки. А то умру… Ты же этого не хочешь?

— Нет, Сергуня. Мы пойдем в универмаг и купим Мане (Маней он звал за глаза мою мать) пылесос. Она нас накормит. И тебя опохмелит на радостях.

И мы пошли в таллинский каубамая («Дом торговли», центральный универмаг). Пылесосы стоили от 29 рублей до 49. Я предложила купить самый дорогой (он же лучший). А оставшийся рубль потратить на такси. СД испуганно:

— А если не опохмелит?

— Обязательно опохмелит!

Всю дорогу очень волновался. Но там прослезились. Накормили. Бутылку поставили. Да еще с собой еды дали. И по-моему, денег. Пылесос работает до сих пор».

Письмо Довлатова Люде Штерн:

«Август 74 года.

Милая Люда!

…Все по-прежнему. Книжки мои где-то в типографии. Полторы тысячи аванса мигом улетели… А вот пиджака и обуви нет. Рад, что лето кончилось. Было много гостей плюс мама с Катей. Я устал. Теперь работаю с утра до ночи…

В Ленинград я вернусь окончательно не позднее мая 75 года. Многое зависит от книжных дел, но только в сроках, а не принципиально. Даже если бы все мои надежды здесь осуществились, это не совсем то, к чему я стремился. Положение издающегося литератора в Эстонии не выше (объективно) окололитературного статуса в Ленинграде. Если бы я здорово верил в себя и надеялся, издав книжку, обрести тотчас же

всесоюзную аудиторию, тогда другое дело.

Женя Рейн читал корректуру моего сборника, но восторга не проявил, хотя из 14 рассказов штук 7 мне нравится. А подлинно халтурных только два…

Я думаю, что молодость прошла и все стало очень серьезным».

Письмо это важное. Я бы сказал — «судьбоносное». Оно показывает чрезвычайно жесткое восприятие Довлатовым реальной ситуации. И в этом — одна из главных причин будущего головокружительного успеха: необыкновенно трезвый взгляд, без эйфории, свойственной некоторым писателям («жизнь удалась!»), но и без распространенного в те годы высокомерия лентяя (мол, добиться в этой стране все равно ничего нельзя, поэтому и пытаться не стоит). Нет — это трезвый взгляд настоящего практика, работника. Становится все более-менее видно и нам.

Довлатов «переместился» гениально, как всегда. Конечно, Таллин — не Ленинград, «колыбель революции», где идеологическое целомудрие блюли строго, как нигде. В таллинском «Ээсти раамат» пост главного редактора издательства занимает уважаемый писатель с хорошим литературным именем — Аксель Тамм. Его не сравнить с нашими нахмуренными начальниками, почти не выходящими из своих кабинетов «к народу», — их чередой присылал Смольный на литературные «посты». Именно в такого однажды кинул чернильницу отчаявшийся Марамзин. Аксель Тамм на такого начальника вовсе не походил и честно сражался за Сережину книгу. Эстонские писатели отличались от российских вольностью одежды, поведения, мнений. У них былевой закрытый для незваных гостей «подвальчик», где они чувствовали себя свободно, и никто со стороны (во всяком случае, явно) не мог вмешиваться в происходящее там. Помню, как меня, уже после отъезда Довлатова, с гордостью привел туда мой эстонский друг, писатель Тээт Каллас. Дверь он открыл своим ключом! «Ключ-чи т-только у нас!» Это уважение к писательскому званию со стороны властей много значило, вселяло какую-то самоуверенность, самоуважение. Пусть это вольнодумство было показным (показной порой называли и эстонскую вежливость) — но от этого не менее приятным. «Стоило приехать, чтобы почувствовать это!» — помню, мелькнуло у меня в голове. «Ну, что ты хочешь — виски, джин?» — спросил Тээт. Европа! «У меня деньги есть!» — я полез за пазуху. «Я, конечно, не грузин, а эст-тонец — но эстонцы т-тоже могут-т угост-тить!» — произнес Тээт, явно довольный тем впечатлением, который подвальчик произвел на меня.

Да и литература там тогда была неплохая: какая-то по-

эстонски упрямая, смурная, загадочная, не без черного юмора. Помню, какой успех в Ленинграде имел сборник переводов современных эстонских писателей — Унт, Ветемаа, Каллас, братья Туулики и другие, каждый со своим своеобразием — сборник совершенно странный и в то же время, я бы сказал, абсолютно жизненный, современный… такой вот эстонцы затейливый народ!

Так что место Довлатов выбрал правильное, литературное. Другое дело, что он в эстонские писатели попасть никак не мог — менталитет не тот. Но и у русскоязычной литературы там были шансы получше. В Таллин было приятно приезжать — и я помню, как Каллас однажды с большим энтузиазмом (как бы и не свойственным спокойным эстонцам) показал мне весьма экстравагантную первую книгу Михаила Веллера «Хочу быть дворником». Дальнейшая головокружительная карьера Веллера всем известна. Так что Таллин был отличной «стартовой площадкой», и не только стартовой: именно здесь Веллера настиг и всероссийский успех. Писатели они с Довлатовым, конечно, разные — да и люди абсолютно непохожие. Насколько я знаю Веллера — он всегда непоколебимо уверен в успехе, и постепенно эта его энергия побеждает всех.

Довлатов был человеком более критичным — и к окружающему, и, самое важное, — к себе. Поэтому его взгляд на таллинскую ситуацию более пессимистичный и в то же время, я бы сказал, — более проницательный. Свой возможный успех здесь он правильно оценивает весьма невысоко — при всем уважении к окружающей его реальности. Сколько он смеялся над тупыми названиями советских книг — но, честно говоря, «Пять углов» (так же как и «Городские рассказы») кардинально не отличаются от других типичных названий той поры — скажем, «Ветер с Невы» или «Университетская набережная». При всем уважении к нему, «золотое клеймо» ему здесь явно не светило, даже при самом благополучном исходе. В сиянии будущих его блистательных книг таллинская выглядела бы неудачей. Или еще обиднее — полуудачей: «Эх, такой талант — и не дотянул, свалился в болото…»

Вот два письма Эре Коробовой:

«9 сентября 1974 года.

Милая Эра! Спасибо за поздравление. Надеюсь, все у Вас хорошо. У меня все по-прежнему…

Мой ничтожный юбилей ознаменовался запоем и дракой. Вывихнут палец, необходимый для сочинительства, указательный на пр. руке.

Рукопись прошла две корректуры, сейчас она у эст. цензора,

потом, если все пройдет благополучно — сигнал, затем — Московский главлит, и тут, я уверен, конец моим надеждам. Книжка, может быть, средняя, но очень дерзкая и крикливая.

В отличие от Вас, милая Эра, я мрачный и слабый человек. Уже не помню, когда и чему радовался.

Обнимаю Вас».

«29 сентября 1974 года.

Милая Эра! Я звонил Вам перед отъездом в жутком состоянии… Я очень завидую Вашему оптимизму, т. е. умению хорошо держаться… даже почерку Вашему отчасти.

Мои дела, как Вы уже, наверное, привыкли, обстоят скверно. Книжка не понравилась цензуре, хотя ее урезали и обезобразили предельно, т. е. настолько, что в одном месте вычеркнули слово “киргиз”. Это, видите ли, может быть воспринято как намек на национальные проблемы Эстонии… Киргиза упоминать нельзя. Рядовой цензор обругал книжку. Но не конкретно, это бы еще куда ни шло, а за тональность, за настроение. Рукопись передали главному цензору республики — Адамсу. Его называют — “бревно с глазами”. Он тупица и сталинист. Дело будет обсуждаться в ЦК на следующей неделе. Защищать рукопись взялся сам Аксель Тамм, большая здесь, но благородная и невооруженная инстанция — глав. ред. издательства. Он говорит, что не все еще потеряно. Создалась ненужная отрицательная помпа и ажиотаж. В наших делах это крайне пагубно. Я убежден, что все решится скоро и отрицательно. Поверьте, есть основания так считать. Тогда меня здесь будут удерживать только долги. <…>

Эра! При всем моем уважении к Марамзину, Голявкину, О. Григорьеву и особенно — к В. Попову, я для детей писать не умею и не буду. Не мое это дело. Спасибо за хлопоты.

…Я много думал, отчего мне не удалось закрепить дружеские или приятельские отношения с интеллигентными талантливыми людьми, которых уважаю и которыми дорожу. Мне обидно, что я всю жизнь окружен подонками и рванью. Помимо личных недостатков моих, дело еще и в неумении общаться, это просто наказание. Но поверьте, дорогая Эра, я очень многое принимаю близко к сердцу, очень многое люблю до мучения, перед многим благоговею искренне и прочно. И никаких радостей, никаких перспектив. Это даже как-то странно. Простите за нытье. Но Вы один из немногих внимательных, как мне кажется, ко мне людей.

Дай Вам Бог счастья и покоя за Вашу доброту.

Целую Ваши руки».

Предчувствие Довлатова, высказанное в этом письме, что все «решится скоро и отрицательно», сбылось лишь наполовину, но

на половину самую главную. Отрицательно — но не скоро. Во всяком случае — не сразу. Жизнь даже в советское время, а может быть, в советское время особенно, не была однозначна и одномерна, особенно в Таллине. Даже инструктор ЦК Иван Трулль тут был особенный, не такой, как у нас:

«Однажды мне позвонил завсектором Маннерман и сказал: “Мне из издательства прислали смакетированный сборник Довлатова, но на него наложено вето, цензура не пропускает. Не прочтешь?” Я прочитал эту книгу — мне понравилось. Дальше следовало обсуждение в ЦК — Довлатов потом жалел, что не присутствовал на нем. Я высказал свое благожелательное мнение о книге, упомянул, что ее можно сопоставить с рассказом “Один день Ивана Денисовича” Солженицына. После этого все запреты с книги были сняты».

Довлатов (который на заседании ЦК, естественно, не присутствовал) изобразил выступление Трулля несколько иначе:

«…Можно, конечно, эту вещь запретить. Но лучше — издать… Выход книги будет частью ее сюжета. Позитивным жизнеутверждающим финалом…»

Но жизнеутверждающего финала, несмотря на столь удивительное совпадение благоприятных факторов, не произошло. Хочется воскликнуть: как же так? Казалось бы, какие теперь могут быть преграды, после ЦК? Ноу Довлатова — и в Таллине, и везде, — был особый талант на неприятности. И это «золотое клеймо неудачи» превращает его жизнь в сплошную трагедию, а сочинения — в шедевры. Именно трагедия сделала и «Ремесло», и «Компромисс» шедеврами — и трагедия была уже, увы, не за горами.

История гибели довлатовской книги широко известна — и в то же время загадочна. Или, точнее, иррациональна. Конкретного злодея, поставившего своей жгучей целью именно уничтожение книги Довлатова, не найти. Злодеем, можно сказать, было время, сам «климат» нашей жизни. Злодейства вроде бы никто не планирует — но сам ветерок тянет в эту сторону, и все туда как-то медленно, но неуклонно плывет. Сырость, в общем, такая, что все портится. А ведь могло и проскочить, но… У приятеля Тамары Зибуновой Володи Котельникова дядя жены работал в Государственном комитете по кинематографии. Возникла идея дать рукопись книги Довлатова этому родственнику. Рукопись лежала у Котельникова. И вдруг у него произошел обыск, и довлатовскую рукопись забрали вместе с запрещенными тогда книгами Солженицына, Мандельштама, Гумилева — замечательная компания! А ведь перед этим Тамара заглядывала по пути к Котельникову и подумала: «А не забрать ли Сережину

рукопись?» Но — не забрала. «Золотое клеймо неудачи»!

Потом все «пошло по кругу» — КГБ, ЦК, издательство… Точнее — пошло по кругу «мнение». Это у нас замечательно поставлено — никто не берет на себя обязанность палача, но «вопрос» все набухает, становится тяжелей. Поставленный — вот абсурд! — в том же виде второй раз вызывает раздражение у людей даже терпимых — сколько же можно? Поставленный в третий раз внушает уже всеобщую ненависть: что этот тип со своей книгой, не бог весть какой, все лезет и лезет, жить не дает? Механика известная и отработанная. И вопрос этот, всем надоевший, снимается… ко всеобщему облегчению. Уже после «смерти вопроса» (а порой и автора) пойдет встречная волна: «Ай-яй-яй! Как же так! Мы ж ничего плохого не хотели — наоборот, пытались помочь!» Редакторша Эльвира Михайлова позвонила Тамаре и с отчаянием воскликнула: «Сережину книгу запретили! Больше говорить не могу!»

Довлатов, конечно, не мог не делать каких-то попыток спасти рукопись, но делал это как-то вяло, без энтузиазма… Он пошел к Труллю. Тот в своих воспоминаниях обижается на Довлатова, хотя и не так сильно, как другие персонажи: «Мы, конечно, говорили с Довлатовым не в туалете, как пишет он, а в моем кабинете»… Вполне допускаю, что и упомянутый Довлатовым чекист тоже напишет, что он-то как раз был «за», но, к несчастью, должен был уехать в деревню к больной матери. Ситуация типичная, я бы сказал — универсальная. Злодеев нет, а зло побеждает. И упрекать вроде некого. Все хотели как лучше. Это и повергает в особенное отчаяние.

Ленинградский поэт Александр Кушнер, оказавшись в это время в Таллине на выступлении с журналом «Аврора», пытался помочь Сергею и привел к нему в гости Елену Клепикову, весьма влиятельную и тогда еще не запятнанную своими пасквилями редакторшу «Авроры». Но какой помощи можно было ждать от нее, ясно из ее записок об этой встрече:

«Темная и пахучая — заскорузлым жильем — лестница. Мы вошли в большую, почти без мебели комнату. В углу, по диагонали от входа — сидел Довлатов. Он сидел на полу, широко расставив ноги. А перед ним — очень ладно составленные в ряд — стояли шеренгой бутылки… В нелепой позе поверженного Гулливера сидел человек, потерпевший полное крушение своей жизни…»

Тамара Зибунова пишет о той встрече не столь ярко — но, думаю, более достоверно:

«Я очень любила свой дом. Я прожила там почти 50 лет! Квартира была небольшая, но уютная. Там выросла и моя Саша…

И я хорошо помню тот визит Кушнера. Он и раньше приезжал к нам. Это был единственный раз, когда он у нас не остановился. Он был в командировке. И поселился в гостинице. Это была зима 1975 года. Над Сережиной книжкой сгустились тучи, но были еще надежды. Главный редактор “Ээсти раамат” Аксель Тамм не сомневался, что книга выйдет. Саша зашел к нам сразу по приезде. Он предложил Сереже привести сотрудников “Авроры” и попытаться опубликовать там один из рассказов выходящей книги. Это был как бы светский прием. Сергей был трезв. Меню я, конечно, не помню, но обычно в те годы я подавала гостям или курицу-гриль, или горячую буженину. На столе было только сухое вино. Это я помню точно. Саша привел эту Елену (Клепикову. — В. Я.), и она взяла несколько рассказов…»

Но и это, как известно, закончилось ничем. Как вроде бы и вся таллинская одиссея. Это сейчас, когда знаешь уже о блистательном взлете Довлатова, можешь спокойно рассуждать: а наверно, и к лучшему, что та «средняя, но очень дерзкая и крикливая» книжка не вышла? Но каково ему было тогда! Неудача снова, в который раз, летела к нему на крыльях. Хотел ли он этого? Конечно, не хотел. Покажи каждому далеко идущему, какой тяжкий и долгий путь ему предстоит пройти, в скольких лужах вымокнуть, — любого охватит отчаяние, захочется прилечь, отдохнуть, а то и повернуть назад. Но дорога Довлатову вышла большая — все станции на его пути, кроме последней, оказывались «полустанками», сойти и остаться там не удалось. Не было бы счастья — да несчастья помогли. «Золотое клеймо неудачи» ставят только на Олимпе. В очередной луже — не ставят. Но сколько, господи, надо пройти, через сколько же неудач, которые все мелькают и мелькают, и нагоняют отчаяние. Ведь самого «золотого клейма» Довлатов так и не увидел, хотя умер уже при относительном успехе — но золотая его вершина засияла позже. Для окончательного торжества понадобилась еще одна «маленькая трагедия» — смерть… Да если бы и узрел вдруг Довлатов тогда, в Таллине, весь свой будущий путь, вряд ли это наполнило бы его ликованием.

Но главный вопрос, который нас эгоистически интересует: а насколько тогда уже был готов прославивший Довлатова значительно позже таллинский «Компромисс»? Могли он к тому времени быть уже готовым? Ведь все герои повести, столь сильно преображенные автором, были рядом. Пиши, заканчивай! Ведь скоро — все к тому шло — с Таллином придется расстаться, и натура уйдет! И в то же время ответ совершенно очевиден: нет, к моменту трагедии «Компромисс» не был готов. Жестокий парадокс состоит в том, что для того, чтобы описать близких

людей так, как надо тебе, необходимо с ними порвать. Вырваться на свободу, где ты сам себе властелин, и никакие путы ежедневных общений и обязательств тебя не вяжут. Чтобы увидеть героев и героинь глазом художника, надо перестать видеть их взглядом друга, мужа, собутыльника, сослуживца. Под их укоризненными взглядами — «как же ты с нами так?» — не напишешь так, как надо тебе. Все порвать — только тогда решишься. Вывод прост и жесток: чтобы закончить «Компромисс», нужно было уехать из этого комфортного сказочного города. Тем более что обстоятельства этому благоприятствовали. Самое главное произошло в конце: трагедия, полный крах, погибло все! Именно чувство трагедии, особо сильно проявившееся в конце таллинских дней, придает «Компромиссу» такую горечь, такой убедительный вес! Без него эта повесть, как и «Ремесло», выглядела бы просто фельетонами, «записками на манжетах». Говоря языком Солженицына той поры — «так, смефуечки». И только трагедия, отныне скрепившая собой все страницы повести, с первой до последней, придала им весомость золотого слитка.

У Довлатова трагедия всегда происходит с присущим ему размахом — «на разрыв аорты». Очередное крушение писательской карьеры (вряд ли он понимал тогда, что это выигрыш) — завязано еще и с личной трагедией. Он вынужден покинуть Таллин, понимая, что это навсегда, а Тамара как раз ждет от него ребенка. Да, умеет Довлатов напрячь жизнь! Ни себя не жалеет, ни… это многоточие вмещает все.

Конечно, перед Тамарой предстоящий отъезд изображен как необходимый, деловой. Книгу рассыпали, из газеты выгнали — а ведь будущего ребенка надо кормить, а дела и деньги могут быть теперь только в Ленинграде. И в то же время оба они понимают, что прощаются, в сущности, навсегда.

Бог ведет избранных самым тяжелым путем. Такой напряг мало кто выдержит. Довлатов уезжает в Питер — и с этого момента уже идет настоящий его крик, к счастью для нас. зафиксированный в письмах:

29 марта 1975 года.

«Милая Тамара!

Ты не ответила ни на одну из моих открыток. У меня все по-прежнему. В доме грязный тягостный ремонт. (За время отсутствия Сергея Лене и Норе Сергеевне удалось обменять их комнаты в коммуналке на отдельную квартиру, на той же улице Рубинштейна. — В.П.). Подобная же атмосфера в душе. Работой пока не обзавелся. Присматриваюсь, говорю с людьми. Мой братец и Грубин ввергли меня было в колоссальный запой, но я откололся. Все еще очень переживаю. Досада, злость и

мстительные чувства. А надо смириться и писать. Ко мне заходил Олег. Он стойко держится. Леша милый, рассудительный, спокойный. Тамара, напиши мне, не ленись. Напиши откровенно, что и как. Что бы ни случилось, тебе не придется стыдиться меня. Как все-таки несправедлива жизнь… <…>

До свидания, родная. Поздравлю тебя с днем рождения. Что тебе пожелать? Ты умная, добрая и красивая. Желаю тебе счастья вопреки всему.

Преданный тебе Сергей.

P. S. Если достану рупь 5-го апреля, пришлю телеграмму.

P. P. S. Привет Светлане, Вите, Люде, всем. С.»

5 апреля 1975 года.

«Милая Тамара! Спасибо за письмо, которое передал Кушнер. Зачем ты сунула туда деньги?! Что еще за ерунда?! Благодарю тем не менее. Мои дела идут по-прежнему. Ремонт заканчивается. Был в “Авроре”, обещали командировки. Пытаюсь сочинить пьесу для кукольного театра. Леша (Лосев, он же Лифшиц) очень советует. Он же консультирует меня. Люди вокруг симпатичные. Все хотят помочь, да нечем. Штатной работы пока не искал, жду заключения экспертизы. Небольшие домашние заработки мне твердо обещаны. Плюс командировки. Хотелось бы не падать духом и всё начать сначала. Но это трудно. Какая-то трещина образовалась после того, как запретили книжку. Не пытайся меня утешить и обнадежить. Я работаю, сочиняю, живу. Думаю о тебе очень часто. Все время. Это правда. <…>

Привет всем знакомым.

Не горюй. Целую тебя.

Твой Сергей».

26 мая 1975 года.

«Дорогая, милая Тамара!

В Михайловское я не уехал. Все-таки это новая профессия. И новая обстановка. И какое-то есть в этом кокетство. Да и не очень звали. Кое-что пишу, болтаюсь по редакциям. Вот увидишь, скоро начну зарабатывать. А в сентябре — приеду. Не горюй. Будь взрослой. Сейчас главное — благополучно выродить птенца. Пиши мне обязательно. Хоть матом, хоть в благородном духе. <…>

Целую тебя. Если ты напишешь мне изящное письмо, я тебе отвечу длинно и задушевно.

Твой Сергей.

P. S. Привет милым Люде и Вите».

8 июля 1975 года.

«Милая Тамара, здравствуй!

Ты спрашиваешь, зарабатываю ли я на хлеб. Дела обстоят так. Вот уже четыре месяца мой средний заработок — 30–40 рублей. Мать дает на папиросы и на транспорт. И немного подкармливает. Все эти месяцы я занимал, где только можно. И вот образовался долг — 250 рублей по пятеркам и десяткам. Недавно я через Борю занял у композитора Портного 250 рублей целиком, до 1 августа. Очень рассчитываю на деньги из издательства, кажется, их уже перевели. Настроение и перспективы хаотические. Но мелкие гнетущие долги отданы. Люди меня разочаровывают, все подряд. Так всегда бывает в несчастье. Обидно, что кто-то может нормально жить, когда у меня все плохо. Утешает меня чтение и роман, который нравится, хоть это и нескромно. Есть много обстоятельств, о которых писать не следует. Приеду — расскажу. В сентябре, если ничего не наладится (вряд ли!), пойду работать куда угодно. <…> В общем, все плохо настолько, что хуже быть не может. А значит, будет лучше. Я надеюсь.

Целую тебя и обнимаю. Всем привет. Не печалься, если можешь.

Твой Сергей».

Август 1975 года.

«Милая Тамара! Здравствуй!

В делах мало что изменилось. Работы пока нет. Кое-что узнавал Лурье, обнадежил меня, и сорвалось. Хотел идти в мастерские Эрмитажа, учеником чеканщика, но мне там не понравилось, строго, охрана многочисленная. Пишу действительно много. Отчаяние как-то стимулирует. Кроме того, известно, что мои вещи понравились, ну, скажем, в Армении, и должны иметь успех. Об этом расскажу лично. Кукольную пьесу вернули из двух театров, а Министерство (через Лешу) требует несложных переделок. Этим я займусь. В “Аврору” я показал 9 рассказов (все наиболее мирные) и половину романа. В отделе прозы нравится, но Торопыгин, говорят, страшно испугался: “Богема, разврат, пижонство… ” Они не понимают все элементарной вещи: если Мопассан изображает развратную низкую жизнь (как правило), значит, ему доступно кое-что выше разврата, оттого он и рисует эти картины. Ведь это же ясно, глупо объяснять. В “Костре” мне дружелюбно помогают заработать 40–45 рублей в месяц. На это я и живу. Даже выпиваю иногда (Леша, Уфлянд, брат, Валерий Грубин). Денег из Таллина не шлют. Но их-то я вырву. Настроение, как ни странно, приличное. Наверное,

оттого, что пишу. Третью часть романа привезу в сентябре, думаю, будет готово. <…>

Днем я хожу по делам и пишу. А вечером — мама купила телевизор. В целом, Ленинград печальный город. Ну, ладно, пока все. Не грусти. Пиши мне. Крепко тебя целую и обнимаю. Привет Вите, Мане, Мишам.

Твой повелитель и он же лакей Довлатян».

12 сентября 1975 года (записка в роддом).

«Вышла легкая промашка.
Ждали сына, а затем,
Родилась на свет букашка
С опозданьем дней на семь.

Не с Луны она, не с Марса.
День примерно на седьмой
Нам с проспекта Карла Маркса
Привезут ее домой.

Нету большей мне награды.
Чем ребенок общий наш.
Все мы очень, очень рады,
До свиданья, твой алкаш.

…Милая Томушка, поправляйся, ждем тебя и букашку.

Маня экспроприировала все мои жалкие деньги, так что пить не буду, жду, люблю, целую. Всегда твой С. Д.»

1 октября 1975 года.

«Милая Тамара! Пишу заказным, не доверяя трухлявому ящику, отремонтировать бы его. Всё по порядку. Приехав в Лен-д, я узнал, что в “Костре” мне отказали. Реакции мои стандартны — я запил. 30 р. однако выслал. Затем Ирина объявила (сука!), что пусть я вышлю их долг из расчета моего долга им (сукам!). Грубин, естественно, двадцатку ей не вернул, нахмурился и пропал. Умоляю — помоги выйти из положения, 20-го же октября (клянусь бородой Хемингуэя) вышлю долг и малый алимент. Прости!!!!! Затем выяснилось, что отказали не совсем, а решили устроить грандиозное испытание. Сегодня я его с блеском (утверждает Лифшиц) выдержал. Ориентировочно (боюсь верить) я приступаю к должности в понед. 6-ого. В Таллине пока об этом знать не должны — могут сирануть. С сегодняшнего дня я торжественно объявляю для себя Год Праведных Трудов.

Отправил 2 изумительных письма в изд-во и Труллю. Появились стимул и надежда. Всех попросил не соблазнять меня водкой. Лене объявил букашку.

Увидишь. Мане (матери Тамары. — В. П.) объясни, что избегал её в силу различий характера, но благодарен ей чрезвычайно, растроган её чуткостью и нетребовательностью. И ещё прятался я от стыда, что говнюк и оборванец. Посылаю снимки. Леша сказал, что девочка на меня похожа. И попросил одну фотографию. Мишкины снимки в том же конверте, поделите. На одном из снимков, предназначенных ему, есть моя поэма в свободной манере. Мама говорит, что его жена очень красивая. Нашу увидев, прослезилась. Через некоторое время у меня к Рогам будет просьба. А пока — закругляюсь. Я полон энергии и надежд. Думаю о вас постоянно. Целую Сашеньку, будь мужественна и держись. Всё еще будет хорошо. А может быть, и нет. <…> Ну, всё. Чего забыл, напишу утром. Твой Сергей.

Целую Маню, грозную и добрую.

P. S. Позвони Штейну, скажи про “Окно”, пусть высылает новый сборник и детские стихи. С.»

Февраль 1976 года.

«Милая Тамара!

Прочитал наконец твою записку. До этого пил и буянил. Очень грустно все это. Хуже, чем я думал. Мне стыдно, что я расстался с тобой как уголовник. И все-таки не надо обвинять меня. Библейский разговор на тему вины привел бы к излишнему нагромождению доводов, упреков, красноречия. Нам все известно. Мы знаем друг друга. Конечно, я чудовище. А кто отчитается передо мной? Кто виноват в том, что моя единственная, глубокая, чистая страсть уничтожается всеми лицами, институтами и органами большого государства? Как же я из толстого, пугливого мальчика, а затем романтически влюбленного юноши превратился в алкоголика и хулигана? В общем, это будет длинно. И не нужно. Дай Бог тебе счастья. <… > Не надо обвинять, и думать тоже не надо. Все ясно. Ты уходишь, теряется связь с любимым Таллином, какая-то жизнь ушла. И стало ее меньше. Вот я и плачусь. Все гангстеры слезливы. Видно, патологическое отношение к слову сделало меня отчасти нравственным выродком, глухим, идиотом. Но не такая уж я сволочь, чтобы удерживать любимую, ничего ей не обещая. Я совершенно убедился в полной своей жизненной непригодности. Но писать буду. Хотя перспектив никаких. Тем дороже все это, бумага, слова.

Надо что-то решать, действовать, а я не умею. Тамара, я не

врал, что люблю тебя, по-человечески и по-братски, как только умею. И я прошу — останься моим самым близким другом. Не говори, что все три года были только плохие, это же не так. Мне очень, очень плохо. Люблю всех моих детей, всех моих жен, врагов, и вы меня простите.

Твой С. Д.»

Март 1976 года.

«Тамара! Выяснение безобразно затянулось. Хотя давно все ясно. Никто тебя не обвиняет, ты абсолютно права. Ничего конкретного, тем более заманчивого, я тебе не обещал, да и не мог обещать. Мои обстоятельства тебе известны. Между нами, говоря старомодно — все кончено. В Таллин никогда добровольно не приеду. Мне там нечего делать. У меня были какие-то планы, варианты, поздно и глупо об этом рассуждать. Видно, мне суждено перешагнуть грань человеческого отчаяния. От всего сердца желаю тебе удачи. И все-таки зря…

Прощай. С.Д."

Приписка сбоку: «Не звони мне и не пиши. В этом месяце обязательно вышлю не меньше 30 р.…»

6 мая 1977 года.

«Тамара! Мне, очевидно, придется уехать. Так складываются обстоятельства. Я хочу знать, подпишешь ли ты в этом случае бумагу об отсутствии ко мне материальных претензий. Сообщи экстренно и однозначно — да или нет. И если можешь, не слишком оскорбляй меня при этом. И пожалуйста — сразу ответь. Я хотел побывать в Таллине, но меня обескуражили твои интонации. Все-таки приеду числа 15-ого.

Привет

Довлатов».

30 августа 1977 года.

«Милая Тамара! Получил твою горестную записку. Медлил, ибо не знал, что писать, как реагировать. Быть арбитром твоих отношений с Ниновым вряд ли могу, да и не желаю. Гораздо существеннее то, что я законченный алкоголик. Хоть и написал ослепительную четвертую книгу романа. Она у Леши. Как и другие мои вещи. Пробыл я неделю в Москве. Совершил необратимые, мужественные, трезвые поступки. Думаю, меня скоро посадят. Стыдно мне только за то, что не посылаю денег. Это — нечеловеческая гнусность. Утешаю себя тем, что рано или поздно все возмещу Без конца думаю о тебе, мучаюсь, жалею. Неизменно считаю тебя женщиной редкой душевной чистоты и

прелести. Сашу любить не разрешаю себе, но все-таки люблю и мучаюсь. Поцелуй ее 8 сентября. Деньги на подарок отсутствуют. Я сижу в грязной псковской деревне. Ехать в Ленинград не имеет смысла… Рогинскому привет. Сережу и Витю люблю и целую. Вы еще услышите про меня.

Преданный тебе

С. Довлатов. <…>

До середины сентября буду здесь (Пск. обл., Пушк. Горы, почта, до востр.), затем в Ленинграде (196002, до востр.) или в тюрьме».

Вот таков «зримый итог» трехлетнего таллинского периода жизни Довлатова. Литературная карьера рухнула полностью (о будущем «Компромиссе» никто, включая самого Сергея, даже не догадывается — есть лишь какие-то обрывки). Фактически состоялось мучительное прощание навсегда с таллинской дочерью и ее мамой. Собираются уезжать, потеряв всякую надежду на благополучную жизнь здесь и с ним, Лена и Катя. Похоже, вскоре и ему придется покинуть это пепелище. Большая часть жизни прожита — и нет ничего. «Первая эмиграция» в «Вольную Ганзу» закончилась неудачно… многое потом, в чуть измененном виде, повторится в другой, главной эмиграции. Так что — горький опыт получен. Что тут можно еще добавить? Верный друг Довлатова, таллинская писательница Елена Скульская, сказала о нем: «Бог дает человеку не литературный талант — а талант плохой жизни». Горькая правда в этих словах есть. Но далеко не все люди горестной судьбы становятся большими писателями. И не у всех их жизненные трагедии оборачиваются потом такими шедеврами, как таллинский «Компромисс». Тут требуется что-то еще…

Глава тринадцатая. «Любимая, я в Пушкинских горах…»

При всем кажущемся хаосе довлатовской жизни, все его «места обитания» выбраны с большим смыслом. Может, и нет для литератора в России места более манящего, чем Михайловское. «Сам Пушкин приехал сюда — несчастный и гонимый, как я — а уехал отсюда в славе, с пачкой гениальных творений!» Именно здесь он прыгал на одной ножке и, ликуя, восклицал: “Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!” Может — и со мной тут случится такое?» И если заглянуть вперед — эта надежда Довлатова сбылась. А места тут какие! Вид с крыльца дома Пушкина на долину Сороти такой, что захватывает дух!.. Лучшего места для прощания с Россией не найти. Но пойдем по порядку (вернее — по беспорядку).

Письмо Эре Коробовой 29 июля 1976 года: «Милая Эра!

Туча пронеслась. Я пил еще сутки в Ленинграде, затем сутки в Луге и четверо — во Пскове. Наконец добрался к Святым местам. Работаю, сочиняю. Даже курить бросил. Жду Вас, как мы уславливались. Попросите Чирскова или (еще лучше) Герасимова Вас отправить. Напоминаю свои координаты: дер. Березино (около новой турбазы), спросить длинного из Ленинграда. Или бородатого. Или который с дочкой. Или просто — Серегу. <…>

Очень прошу и надеюсь Ваш Сергей».

Группа питерских интеллектуалов появилась в Пушкиногорье по инициативе Якова Гордина, чья жизнь через родителей тесно связана с Псковом и его окрестностями. Благодаря ему многие из его литературных друзей оказались обеспечены пропитанием и свежим воздухом. По воспоминаниям коллег, наибольшим авторитетом среди всех пользовался Андрей Арьев. — его за изысканность речи прозвали «князь Андрей». Он же, спасая Довлатова в очередной раз, привлек его к работе в пушкинском заповеднике.

Приезжать туда очень приятно — душа поет, плоть ликует. Выходишь из рейсового автобуса в Пушкинских (прежде Святых) Горах, где Святогорский монастырь и могила Пушкина, потом добираешься до Михайловского… По свидетельству коллег-экскурсоводов, Довлатов числился не в самом заповеднике, а в пушкиногорском экскурсионном бюро. И деревня Сосново, где он снимал дом (настоящее ее название Березино), расположена между Пушкинскими Горами и Михайловским.

Вспоминает Арьев:

«3 сентября 1976 года — в день Сережиного рождения, — приехав из Ленинграда в Пушкинские Горы, я тут же направился в деревню Березино, где он тогда жил и должен был — по моим расчетам — веселиться. В избе я застал его жену Лену, одиноко бродившую над уже отключившимся мужем. За время моего отсутствия небогатый интерьер низкой горницы заметно украсился… На стене, рядом с мутным, треснувшим зеркалом выделялся приколотый с размаху всаженным ножом листок с крупной надписью. “35 лет в дерьме и позоре!" Кажется, на следующий день Лена уехала».

Все? Конец? Но у Довлатова таких «концов» было немало. И потом они оборачивались появлением шедевров. Большой вопрос — а появились бы они в ином случае, при спокойной жизни на даче, в процессе выращивания огурцов? Буря в душе у писателя может быть и при внешне спокойной жизни. Но Довлатов таких «половинчатых решений» не признавал — у него все всегда было «по полной», включая, увы, и полные стаканы.

Серьезные исследователи, изучая историю создания довлатовского «Заповедника», находят тесные параллели в творчестве — и судьбе Пушкина и Довлатова. И особенно, по их мнению, сходство это подтвердилось приездом Довлатова в Пушкинские Горы. Знаменательная параллель — «просчитывал» ли ее Довлатов? Обратимся к довлатоведам:

1. Ситуация Довлатова в точности напоминает ситуацию Пушкина в том же Михайловском — долги, конфликт с государством, мечты о побеге.

2. У Довлатова герою «Заповедника» 31 год (самому автору было уже 34). И ровно 31 было Пушкину, когда у него тоже состоялся небывалый творческий взлет! Правда, в Болдине.

3. И главное — Довлатов часто любил повторять пушкинское выражение: «Поэзия выше нравственности!»

Замечательный друг и исследователь Довлатова Петр Вайль тонко сопоставляет всеприимчивость Пушкина и Довлатова — их равно увлекает все, их интерес к людям не диктуется сословными различиями… что ж, это верно. В «Заповеднике» герой Довлатова бурно общается с простыми людьми, предпочитая их обществу высокооплачиваемого офицера КГБ. Довлатов не гнушался общества фарцовщиков и уголовников… а Гринев даже с Емелькой Пугачевым якшается, как с равным!

Конечно, можно отыскать и еще параллели… но думал ли сам Довлатов о столь серьезных теоретических основах предстоящего своего труда? Вообще-то, он обдумывал и готовил свои вещи тщательно… Механизм превращения рутинной жизни

нормально работающего заповедника в бурлящий всеми страстями, трагический, абсурдный и пронзительный «Заповедник» по-довлатовски стремителен, и обычной логике неподвластен. Для начала, конечно, в этом «тихом омуте» должен появиться Довлатов. И конечно же — скромный, тихий, раскаявшийся, зарекшийся «тискать романы» — уж больно тяжело этот процесс проходит, еще от таллинских дел не отошел! Он вроде бы надеется — уж здесь-то, в «обители трудов и чистых нег», все будет гармонично и идеально: интеллигентная компания и высокоинтеллектуальный труд экскурсовода по пушкинским местам, на чистом воздухе! Плюс кое-какой заработок, что позволит, наконец, по-настоящему помогать таллинской любимой «букашке». И направился он в Михайловское продуманно и четко, по совету серьезного, весьма положительного и благожелательного своего друга Якова Гордина. Здесь уже работали и другие довлатовские друзья и единомышленники — Арьев, Герасимов. Красота и покой! А чем все кончилось — знаете. Головокружительным «Заповедником»!

Вспоминает тогдашний коллега Довлатова — экскурсовод Виктор Никифоров:

«Говорили, что он недостаточно благоговеет перед Пушкиным. Действительно, к тому культу Пушкина, который был у нас, он относился с большой долей иронии. Мы преклонялись по традиции — и это ему не нравилось. Он старался сам постичь Пушкина, пропустить через себя. Сережа понимал, что Пушкин — очень разносторонний человек, он не может быть определен тем лишь направлением, которое указывали наши методички. Довлатов придумал такую игру — ни разу во время экскурсии не произносить фамилию “Пушкин”. Он называл его то автором "Евгения Онегина”, то создателем современного русского языка — как угодно. Сережа очень любил, когда после такой экскурсии к нему подходила какая-нибудь дама и спрашивала: "Уважаемый экскурсовод! Скажите, пожалуйста, в имении какого писателя мы были?”»

Экскурсовод Людмила Тихонова пишет так:

«Его экскурсии были самые обычные. Они часто не отвечали тем требованиям, которые выдвигались в заповеднике. Дело не в том, что он не хотел соответствовать насаждаемой идеологии… Просто экскурсии должны были опираться на источники».

А Довлатов, естественно, опирался на себя, на свои «источники», возникающие у него в голове, на свои далеко идущие планы. Поначалу в довлатовских персонажей переделываются рядовые и безымянные посетители заповедника: начинать с них легко, они потом с тебя не спросят, да и вряд ли

узнают себя в этих персонажах. А хочется их «сделать»! Просто руки чешутся! И вот уже оказывается, что туристы задают дивные вопросы:

— Была ли Анна Каренина любовницей Есенина?

— Кто такой Борис Годунов?

— Из-за чего вышла дуэль у Пушкина с Лермонтовым?

Конечно, все эти «домыслы и искажения» возникали не столько от безграмотности туристов, сколь от насмешливых фантазий самого Довлатова. «Обработка материала» началась. Потом, как водится, он принялся за друзей. Володя Герасимов, великий эрудит и оратор, возник в повести в образе гомерического лентяя Митрофанова:

«Был случай, когда экскурсанты, расстелив дерматиновый плащ, волоком тащили Митрофанова на гору. Он же довольно улыбался и вещал: “Предание гласит, что здесь стоял один из монастырей Воронича”…»

Сам Герасимов реагировал на это так:

«Помню, уже в 1990 году в Америке он подарил мне книгу с автографом и спросил: “Ты читал? Не обиделся?” — “Нет. А на что обижаться?” — “Но я же тебя там изобразил!” — “Ой, Сережа, карикатура получилась настолько непохожая, что обижаться решительно не на что!”»

Реакция Герасимова — еще самая сдержанная. Потому, может, что ему досталось меньше других. Скажем, другого нашего общего знакомого он изобразил так:

«Антр ну! Между нами! Соберите по тридцать копеек. Я укажу Вам истинную могилу Пушкина, которую большевики скрывают от народа!»

Это как раз очень похоже, но жестоко. Но кто больше всех должен обижаться на Довлатова — так это сам Довлатов. Запои героя «Заповедника», которого все путают с автором, ужасны и разрушительны. Особенно — в компании с неким Валерой. Конечно, основным событием жизни Довлатова в Михайловском такое быть не могло… Иначе как же работать?

«…Ни у Сережи, ни у Валеры выпивка никогда не отражалась на работе. Ходили слухи о том, как много пьет Сергей. Тем не менее, пьяным его никто из нас не видал: на экскурсии он всегда появлялся в прекрасной форме».

Да, всю жизнь Довлатов боролся с тем, чтобы не слиться со своим образом. И в конце концов все-таки слился. «Ради красного словца» не пожалел и себя!

«Заповедник» — это, конечно, вещь «предотъездная» (хотя закончена она была уже в эмиграции). Жизнь в «Заповеднике» (читай — в России) невыносима:

Любимая! Я в Пушкинских Горах!
Здесь без тебя — уныние и скука.
Брожу по заповеднику, как сvха,
И душу мне терзает жуткий страх!

Представший здесь перед нами русский народ смотрится трагично и безнадежно:

«Толик откровенно и деловито помочился с крыльца. Затем приоткрыл дверь и скомандовал:

— Але! Раздолбай Иваныч! К тебе пришли!»

Конечно, если бы жизнь всегда и всюду была такой, как в довлатовских сочинениях, она давно бы захлебнулась алкогольной отрыжкой… но жизнь всегда предпочитает не иссякать, а как-то продолжаться.

Тут опять возникает вопрос о мучительном — но нужном для сочинения — несоответствии героя и прототипа.

О реакции Володи Герасимова на собственное изображение в «Заповеднике» мы только что говорили. Сейчас Герасимов жив и здоров, и по-прежнему считается самым эрудированным и самым парадоксальным из всех знатоков и экскурсоводов Пушкиногорья.

О реальном прототипе хозяина довлатовской избы рассказал мне Арьев: звали его на самом деле не Михаил Иванович, а Иван Михайлович Федоров. Он был лесник, сейчас уже умер. Арьев рассказал, что он был одним из немногих прототипов, кто своим изображением остался весьма доволен. Когда довлатовский «Заповедник» стали читать по «Свободе», и все у нас, естественно, это слушали, Ивана Михайловича вдруг вызвали в КГБ и велели «дать отповедь клеветнику». «А чего — какая отповедь? — удивился Михалыч — Он меня правильно изобразил, как лесника». «Так что же правильного-то?» — «Ну… правильно написал, что я пилой “Дружба” владею!»

Так что для Михалыча все было нормально. Но, по Довлатову, жизнь эта невыносима:

«— Тут все живет и дышит Пушкиным, — сказала Галя, — буквально каждая веточка, каждая травинка. Так и ждешь, что он выйдет сейчас из-за поворота… Цилиндр, крылатка. Знакомый профиль…

Между тем из-за поворота вышел Леня Гурьянов, бывший университетский стукач».

Такой взгляд, конечно, более соответствовал настроениям тех хмурых лет. Как вы помните, даже кэгэбэшник настоятельно советует герою «валить отсюда»! В душе Довлатов уже смирился с возможностью эмиграции, но понимал, конечно, что оставляет на

родине большую часть своих героев и нигде более так пышно не растущий русский язык — поэтому долго колебался. Вспоминает сотрудница Пушкинского музея:

«Если бы он мог публиковаться здесь, он бы не уехал. Хотя тогда, после отъезда жены, Сергей просил меня пресекать все слухи о его возможной эмиграции. Он говорил, что никогда не был так уверен в том, что останется здесь навсегда, как в тот момент, когда улетели жена и дочка. Раз не поехал с ними, значит, навсегда отрезал себе дорогу. Надо сказать, в тот момент эмиграция уже никого не удивляла: уезжали очень многие. Казалось, вот-вот начнешь удивляться тому, что кто-то остается. В особенности — если остается Сережа, который, как он всегда говорил, с тринадцати лет знал, что живет в бандитском государстве». В числе прочего — его невыносимо бесило царившее там засилье «пушкиноедов», сделавших из Пушкина кормушку и расположивших ее где-то очень невысоко, на уровне собственного стандартного сознания. Довлатова как раз больше изводили не «алкаши от сохи», не воры и проститутки, не «торфушки» из «Зоны», и даже не охранники всех рангов — больше всего его изводила банальная, бездарная и широко распространенная у нас псевдокультура, в наибольшем количестве и в наиболее отвратительных формах налипшая как раз на «наше все». Раз себя «под Пушкиным чистишь» — значит, интеллигент! От этого паразитства особенно хотелось бежать. В таком дерьме тонуть «западло». В общем, постепенно сюжет в Пушкинских Горах «накалился» не хуже, чем в Таллине. Это Довлатов умел. Вспоминает Людмила Кравец, пушкиногорский пушкиновед:

«Довлатов очень любил свою жену Лену, он очень часто нам о ней рассказывал. Говорил, что она красавица и умница, что у нее прекрасный вкус во всем. И всегда подчеркивал, что жить с ним невыносимо. Во всех сложностях обвинял себя одного. О таллинской своей жене Тамаре он всегда тоже с нежностью вспоминал. Он говорил, что она очень храбрая и достойная женщина».

И с той, и с другой он расстался самым позорнейшим образом. И любимых дочек своих, Катю и Сашу, похоже, тоже потерял навсегда. Растерянность. Полное отчаяние… В общем — «нормальная температура» довлатовской прозы. Но и на ее фоне «Заповедник» выглядит особенно беспросветным. Многие поклонники Довлатова считают «Заповедник» его лучшей вещью, а ненавистники — самой антисоветской и русофобской. В любом случае все согласны с тем, что она — самая мрачная, самая пессимистичная. Ничего себе — «посидел на дорожку»!

Недавно в газете мелькнуло сообщение — одна предприимчивая москвичка купила за гроши ту самую почти развалившуюся избу в Березине, где жил Сергей, — и теперь толкает ее, «под Довлатова», за 30 тысяч долларов! Вот она, слава. Хоть бы часть таких денег, да при жизни!

Глава четырнадцатая. Подъемная сила

Чтобы оторваться от земли и улететь, нужна подъемная сила. И она уже действовала. После увольнения из «Костра» Довлатов работал на кладбище, ваял скульптуры вместе с каменотесами, промышлял и изготовлением памятников. Сооружение очередного человека-глыбы, Михаила Ломоносова, замечательно изображено им в «Чемодане». Все эти предотъездные шатания казались нам вызывающе-бессмысленными, особенно с близкого расстояния… Тут Довлатов уже начал всех утомлять. Но он уже был не тут. Вся возмутительная нелепость жизни уже нанизывалась на великолепный сюжет, самый острый и увлекательный, актуальнее которого и быть тогда не могло — сюжет эмиграции. Он уже начал складывать «Чемодан». И не знаю, как у кого, а у меня это — любимая его книга. Сюжет ее самый захватывающий: уход из этой жизни. С чем? С самыми драгоценными реликвиями прожитой жизни: «креповые финские носки», «номенклатурные полуботинки», «приличный двубортный костюм», «офицерский ремень», «куртка Фернана Леже», «поплиновая рубашка», «зимняя шапка», «шоферские перчатки»… Хотя законченной книгой «Чемодан» стал уже в Америке. А пока…

В своем письме к Людмиле Штерн Елена Владимировна Набокова сообщает: «О вашем приятеле Сергее Довлатове. Я увидела в “Русской мысли” рекламу журнала “Время и мы”. В 14 номере объявлено: Сергей Довлатов. Два рассказа — лагерная жизнь с точки зрения вохровца (самиздат)”. Этот журнал, конечно, можно достать в Нью-Йорке». В журнале «Время и мы», выходящем в Тель-Авиве под редакцией Виктора Перельмана, появились рассказы «Голос» и «На что жалуетесь, сержант»? В 1978 году довлатовская «Невидимая книга» вышла в американском издательстве «Ардис». Судьба Довлатова таким образом была определена. Здесь — позор, нищета, жизнь на самоуничтожение, там — понимание, почет, достаток, самая высшая оценка, которой только может быть удостоен русский писатель за рубежом — тем более писатель с еще несложившейся судьбой. Вперед! Туда!

В пустоту. Это Довлатов тоже, с отчаянием, понимал: «Кому нужны мои рассказы в городе Чикаго?» Его мир, его читатели оставались тут — на Невском и Разъезжей, на Лиговке и улице Марата.

Но в «Ардисе» были изданы Николай Гумилев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Андрей Платонов, Исаак Бабель,

Владислав Ходасевич, Михаил Булгаков… И попасть в этот ряд гениальных изгоев — значило встать с ними вровень. Книги «Ардиса» мгновенно разлетались и раскупались в книжных магазинах Европы и Америки, тут же оказывались у славистов всего мира. Такой шанс ни один нормальный писатель не мог упустить. Во время приезда Карла Проффера в Ленинград в 1977 году Довлатов ему эту рукопись и передал: на книге стоит посвящение — «Карлу».

Вскоре рассказ Довлатова «По прямой» (часть будущей «Зоны») опубликовал журнал «Континент» (номер 11), основанный в 1974 году писателем Владимиром Максимовым в Париже. В те годы публикация за рубежом, без согласия советских властей, означала, как правило, полный запрет на публикации в России. И Довлатов не побоялся — или вынужден был? — на это пойти.

И в то же время он чувствовал, что рядом с большинством писателей, публикуемых в «Ардисе», рядом с их великими трагическими судьбами — он «легковат». Трагических испытаний такого накала, как у них, у него нет, соответственно, слабее и проза — и он может легко слететь с этой «верхней полки»… Что же делать?

Но самые сильные, самые неутомимые «рекламные агенты» той поры — идеологическая машина советской власти и ее «карающий меч», — трудились исправно и бесперебойно.

Вспоминает Елена Клепикова:

«Как сейчас вижу: нижняя полка шкафа, а наверху надпись от руки, от моей руки — “возвратить Сергею Довлатову”. И кто-то, видно, в райкоме дал пионерам наводку на "Аврору” как такой резервуар макулатуры. Секунды не подумав, Козлов, тогдашний заведующий отделом прозы, предложил им весь шкаф со всеми рукописями, включая Сережины папки. Не хочется вспоминать реакцию Довлатова, когда он пришел, наконец, за рукописями. Был там гнев, желчь, недоумение, обида. Но была для него в этом макулатурном применении его рассказов и мрачная символика».

Еще одно воспоминание — Натальи Антоновой: «Насколько я знаю, он не хотел уезжать… Мне он говорил так: “Это моя родина, что бы здесь ни происходило, это мой язык, моя культура, моя литература. Я хочу жить здесь”. Но в стране началась масштабная подготовка к Олимпийским играм. Года за два начат и очередную чистку: всех неблагонадежных решено было отправить или в тюрьму, или в сумасшедший дом, или за границу. Вот тогда за Сережей и начала всерьез охотиться милиция, и это в значительной степени определило его решение»

Олимпиада, значит! Да, главных неприятностей от наших

властей ждать надо именно тогда, когда они готовятся к самым пышным своим торжествам. Вспоминаю трехсотлетие Петербурга. Ждали премьеров всех стран, поэтому центр города сделали «невъездным» для всяческого вульгарного транспорта. При этом время от времени именно в центре города организовывались обязательные массовые гулянья. Впуск и выпуск туда осуществлялся через оставленные узкие лазейки-кордоны, почему-то особенно пристальные на выходе. Поэтому в центре время от времени образовывалась Ходынка (похоже, со времен ее в нашей стране коренным образом ничто не переменилось). Люди спасались в близлежащих дворах — и там уже давали себе волю, как понимают ее у нас. Однажды гуляющие, заскучав на лестнице, выбили мою дверь — так что и моя жизнь оказалась вовлеченной в народные торжества. Поставить дверь на новые петли было невозможно — фургон с монтерами не пропускали в мой район, видимо, подозревая в них террористов. Так что я жил тогда с открытой дверью, у всех на виду. Потом вдруг пришел милиционер и долго выяснял у меня, что всё это значит. Да, когда Медный всадник власти грохочет по мостовой, «бедным Евгениям» лучше прятаться!

…Вспоминаю и более удаленную от сегодняшних дней Олимпиаду 1980 года. Там картина была прямо противоположная — весь город был как-то зловеще пуст. Въезд иногородним вообще закрыли. Помню, как мы с моим другом выехали на его машине и пугливо колесили по пустым улицам под бдительными взорами бесчисленных милиционеров. Так что Довлатов, одним вызывающим видом своим разжигающий «законную ярость» блюстителей закона, в тот светлый праздник никак бы не вписался.

Сережа говорил Андрею Арьеву: «Если бы я знал, что меня посадят, а потом я выйду и буду писателем, я бы остался». На это Арьев ответил: «Ты выйдешь, конечно, но совершенно неизвестно, кем ты станешь!» О своих злоключениях, окончательно «выпихнувших» его за рубеж, Довлатов написал в своем рассказе «Мной овладело беспокойство», опубликованном, вместе с его портретом, в парижской «Русской мысли», когда автор был еще в Вене, — благодаря этой публикации Довлатов и прибыл в Америку героем… но не дай бог никому пройти через это «геройство»!

«В июне (1978 года. — В.П.) радио «Свобода» транслирует мою повесть “Невидимая книга”. А восемнадцатого июля меня арестовывают…

“Что? Прокурора вызвать? А по рылу не хочешь?” Ни единого распоряжения без пинка. Ни единой реплики без отборного мата.

Голые нары без плинтуса. Вместо подушки — алюминиевая миска… За любое нарушение режима — избиение, карцер, брандспойт».

Вспоминает Арьев:

«Однажды Сережу просто забрали на улице в милицию. Избили и дали пятнадцать суток. Он действительно эти две недели в тюрьме просидел… Что касается формального обвинения, то в его деле написали, что Сережа милиционера, который пришел проверять у него документы, спустил с лестницы… Когда мы с Борей Довлатовым пришли разбираться и все выяснять, нам начальник милиции цинично сказал: “Если бы ваш друг действительно это сделал, ему бы дали шесть лет. А так всего пятнадцать суток”… Сережа попал под пресс».

Неутомимо работает советская машина — но, вопреки всякой логике, на пользу не себе, а тем, кто попался ей под колеса. Чем туже тетиву натянут — тем дальше летит стрела! Действительно, тут и поднялся шум на весь мир! Сам Довлатов написал об этом так:

«Забрали без повода и выпустили без объяснений. Может, подействовали сообщения в западных газетах, да и по радио упоминали мою фамилию. Не знаю…»

Довлатов, как всегда, верен лишь своей версии, той, которая зачем-то нужна ему. А там — хоть трава не расти. «Не знаю», мол, хотя, конечно, знал! Вспоминает обиженная Люда Штерн:

«О том, что 18 июля 1978 года Довлатов арестован и получил 5 суток за хулиганство, мы услышали по голосу Америки. Мы очень боялись, что в процессе отсидки за хулиганство ему подкинут вдобавок какую-нибудь антисоветчину и закатают далеко и надолго. Многие сразу же бросились на его защиту. И не только литературные знаменитости. Наш общий друг, ныне покойный Яша Виньковецкий, связался с Андреем Амальриком, и они подняли на ноги и “Голос Америки”, и Би-би-си, и “Свободу”. Мы с Витей названивали в Ленинград, поддерживая и обнадеживая Нору Сергеевну. У меня был доступ к таким известным журналистам, как Роберт Кайзер из “Вашингтон пост” и Патриция Блейк из журнала “Тайм”, коих я и задействовала. Думаю, что и наши усилия не пропали даром. Довлатова выпустили без добавочного срока. И 24 августа они с Норой Сергеевной вылетели в Вену».

Помню Сережины проводы, на которые я пришел не очень охотно. Понимал, что это его, а не моя игра. Поучаствовать можно, и даже вроде бы нужно… ведь наш человек. Пришел я, помнится, с опозданием. Ну что ж… по довлатовским нотам, все правильно. Уже пустая, без всякой мебели квартира. Прямо на

полу в большой комнате какие-то подозрительные личности, явно уже не из «основного состава» провожающих, из статистов-отщепенцев. ни в чем не знающих меры: все разошлись уже, а эти сидят, выпивают, несут какую-то околесицу, явно уже к досаде Сергея… статисты, желая выделиться, всегда переигрывают. Довлатов, деликатности ради, погремел пустыми бутылками — мол, сейчас найдем выпить. Да ладно, не надо. Проводы уже выдохлись. Отметился — и ладно. А то еще скажут — испугался. Мы молча обнялись, даже слегка поцеловались. Ничего больше сказать я не мог.

Была ли зависть, ощущение того, что вот — он уедет и спасется, а мы здесь пропадем? Нет — ни в малейшей степени. Главное, что я тогда чувствовал: да неважно, в сущности, где! Хоть в раю, хоть в тюрьме, а лет пять все одно должно пройти, прежде чем из просто наблюдательного человека выработается писатель. Да лет пять еще, как минимум, уйдет на то, чтобы все поверили, наконец, что вот этот вот тип, вроде бы известный им со всеми потрохами, — настоящий писатель. Поначалу в это не верит никто, даже родители — причем родители почему-то не верят особенно долго. Так что. куда ни беги, а время все равно не обманешь — «отмотать срок» хоть здесь, хоть там все равно придется. Место, конечно, имеет значение, но кто сказал, что Ленинград в литературном плане хуже Нью-Йорка? Хотя и Нью-Йорк в этом плане не беден, но мне тогда казалось — да и сейчас кажется, — что ленинградская школа богаче. И школа жизни, и школа литературы.

Так что никакой зависти к перелету Довлатова я не испытывал — так же как и не питал радужных надежд на здешнюю жизнь. Моя первая книга «Южнее, чем прежде» вышла в 1969 году. Никакого советского резонанса я не получил, наоборот — редакторов пожурили. Поэтому следующая книга, «Нормальный ход», вышла лишь через семь лет. Осуществлена она была теми самыми методами, над которыми так издевался нетерпеливый и еще недостаточно тогда литературно созревший Довлатов. Та самая грустно вздыхающая редакторша Фрида Кацас — надо отметить, что тайной своих вздохов она не делилась, держала всё в себе, — года четыре держала мою книжку в столе и лишь потом, с появлением рассказов получше, решилась показать ее начальству — иначе бы сразу зарезали. В момент прощания, помню, у меня была очередная заморочка с книгой, было тяжело. Но и у Довлатова в Америке все пошло не так уж быстро и легко. Как гениально сказал он сам: «Литература в опасности — это нормально». И какая разница — где? Америка, Купчино… Какая разница? Так что обнялись мы с Довлатовым на прощанье кратко

и без рыданий. Дела! Я спустился по темной лестнице, хлопнул дверью на ржавой пружине и вышел на улицу.

Отлет его лучше всех запомнила Эра Коробова (главная «биографиня» Довлатова, Люда Штерн была уже в Бостоне — и могла уже только встретить его на новом месте). Эра вспоминает отлет — «вплоть до того момента, когда за ним — и Глашей — задраили дверь самолета»…

«…Именно за ним, потому как в недлинной очереди покидающих он был последним. Хотела написать “замыкающим”, но замыкающим был не он, а следовавший за ним с автоматом наперевес и казавшийся малюсеньким пограничник. Все, кто был впереди по трапу, поднимались, оборачиваясь, но уже торопливо. Их быстро втянуло внутрь, и на середине трапа остались только двое. Сергей поднимался к самолету спиной, с руками, поднятыми высоко над головой, помахивая огромной бутылью водки, уровень которой за время ожидания отлета заметно понизился. Двигался медленно, задерживаясь на каждой ступени. Вторым был пограничник, который настойчиво и неловко подталкивал Сергея, и тот, пятясь, как-то по частям исчезал в проеме дверцы.

На наших глазах прощальный лихой жест превращался в панический, опасность — в комическую ситуацию и все вместе — в довлатовский литературный эпизод (в прозу его так и не вошедший). Жаль, что эта сценка не была запечатлена на пленку — Лева Поляков был уже в Нью-Йорке, там же была и Нина Аловерт. Ныне снимок обошел бы весь читающий мир и послужил бы тем самым “недостающим перевальчиком” из одной половины жизни замечательного писателя и человека в другую».

Тут невольно хочется воскликнуть: да, другие были времена! Нынче не то что с огромной бутылкой водки, выпиваемой на ходу, — с флаконом одеколона в самолет не пустят!

Вскоре среди умеренно — и неумеренно, — пьющей интеллигенции прошел слух: пьяного Довлатова сняли с самолета в Будапеште! Ура! Наши уже в Европе гуляют! Но, как и всегда с Довлатовым, сообщение отдавало мистификацией… Разве Будапешт они пролетают? Неважно! Главное — довлатовская легенда уже работала, готовя будущий его апофеоз. Из книги Людмилы Штерн «Довлатов, добрый мой приятель»:

«Уже через несколько дней в разных, как сейчас принято говорить, средствах массовой информации появились его статьи с выражением признательности тем, кто принял участие в его судьбе. Меня несколько удивило, что Сергей благодарил спасителей "выборочно”, то есть “сердечно обнимал” влиятельных защитников, кто и в будущем мог бы оказаться ему полезным.

Целый ряд друзей, в том числе и мы с Виньковецким, нигде упомянуты не были».

Сам писатель Довлатов смеялся над такой «выборочной благодарностью», рассказывая не вполне достоверную историю о том, как подарил поэту Глебу Горбовскому шапку, а тот потом хвастался, что шапку подарил ему Андрюха Вознесенский. Теперь и ему самому, конечно, было важно получить «шапку» от самых знаменитых — ведь от них зависела будущая его судьба. Впрочем, почуяв обиду Люды и всех неназванных им, в частном письме из Вены он поблагодарил и ее: «…Тебе спасибо в первую очередь». И поделился проблемами новой жизни:

«Перспективы мои туманны, но увлекательны. Печататься зовут все. Но! Либо бесплатно, либо почти бесплатно — (“Эхо”, “Грани”, “Время и мы”, либо изредка — "Континент” и американская периодика: “Русское слово" и "Панорама"). Проффер говорит — реально поступить в аспирантуру. Или добиваться статуса в периодике. Или катать болванки у Форда. Мне подходит всё».

Довлатов, как обычно, хитрит, прибедняется. «Подходит все» — да не все! Ситуацию он осознает трезво — пока что его несет «подъемная сила», энергия политического скандала, пафос разоблачения «империи зла» — но эта кампания скоро спадет и репутацию ему не сделает. Сам Довлатов чуть спустя издевательски написал и об этом — вот, мол еще одна «безымянная жертва режима»! Этот «пинок» еще некоторое время будет нести его, но надо, не теряя времени, набирать и собственную скорость! Выстраивание писателем своей судьбы — одна из увлекательнейших тем для исследователя.

Теперь он должен был делать карьеру, засучив рукава. Своих защитников он уже расставил по рангам, теперь пора навести порядок в иерархии друзей. Вслед за «благодарственным письмом» Люде Штерн он пишет ей другое письмо, тоже из Вены: «О твоей рукописи “Двенадцать калек” говорят много хорошего…» Повесть Людмилы «Двенадцать коллегий» переименована Довлатовым насмешливо и высокомерно. Он жесток, причем жесток намеренно — «всяк сверчок знай свой шесток». Пора «строить» своих людей как надо. И не за океаном, а уже здесь, в сказочной Вене.

Более важным людям, от которых теперь зависит его судьба, он пишет гораздо почтительнее. Суть ясна: пора уже устанавливать свою «литературную иерархию» и занять в ней почетное место. Как сделаешь, так и будет! И начинать надо сейчас, не ожидая прилета в Нью-Йорк. Там его ждала полная неопределенность — как жить, чем зарабатывать, как строить

отношения с американцами, которых он до того знал только по романам Хемингуэя и Фолкнера.

Впрочем, жизнь и тут оказывается совсем не сказочная. Нельзя сказать, что «свободный мир» принял его абсолютно равнодушно. Их с Норой Сергеевной и собачкой Глашей поселяют в отеле с пышным названием «Адмирал», специальный фонд выплачивает пособие — 4700 австрийских шиллингов в месяц, на троих, считая собачку. Сумма неплохая — целых 360 долларов, голодная смерть не грозит. Конечно, европейские бюрократические конторы с советскими не сравнить — все аккуратно и четко, все улыбаются, и того хамства, с которым проводила его Родина, здесь нет и в помине. Но здесь, хоть вежливо и с улыбкой, но тоже порой говорят неприятные вещи. Фонд вдруг сокращает дотации, потом вдруг там вообще заводят речь об отсутствии денег. Тут больно не разгуляешься — надо сосредоточиться.

Нужно пройти медосмотр, что здесь, в отличие от России, отнюдь не просто — поликлиник в советском понимании нет, все надо устраивать и организовывать самому. Необходимо пройти собеседование в посольстве США — нотам пока даже не называют сроков приема! Для Довлатова это, конечно, суровое испытание. В России в последнее время он как-то выпал из социальной жизни, презирал и ненавидел всякого рода «конторы» — но и тут, оказывается, надо ходить и улыбаться, в сущности, унижаясь. Но Довлатов сумел взять себя в руки, сорганизовался и показал себя вовсе не разгильдяем, каким считался в России, а человеком ответственным и собранным — Запад уже начал оказывать на него благотворное воздействие.

Бюрократические формальности, необходимые для вылета в Америку, затягиваются невыносимо. Может, их мучают специально: вдруг не выдержат и откажутся? Но что тогда? Назад в Россию? Но это невозможно и даже опасно: там он явно на особом счету — даже письма от друзей к нему не доходят, да и его письма вряд ли к ним дошли.

Он мечтает соединиться с семьей, обрести, наконец, покой. Но ждет ли его там покой? Доходят сведения, что трудностей жизни, в том числе и бытовых, в Штатах не меньше, чем в России. Есть «Невидимая книга» в издательстве «Ардис» у Карла Проффера — но станет ли она «видимой», произведет ли эффект, сделает ли его известным на Западе литератором?

Ситуацию он оценивает трезво — в отличие от многих других эмигрантов, почему-то уверенных, что у трапа самолета для них расстелют ковровую дорожку. Увы! Пока что его несет «подъемная сила», энергия политического скандала, пафос

разоблачения «империи зла» — но эта кампания скоро спадет и репутацию ему не сделает. Сам Довлатов чуть спустя издевательски написал и об этом — вот, мол, еще одна «безымянная жертва режима»! Этот «пинок» еще некоторое время будет нести его, но надо, не теряя времени, набирать собственную скорость.

Он «проверяет» здесь свою популярность, с успехом выступая перед аудиторией эмигрантов — и с отчаянием понимает, что принятый «литературный уровень» тут значительно ниже, нежели был в покинутой им России — здесь читатели воспринимают его прежде всего как зубоскала, автора «хохмочек про Совдепию» — многие и уехали для того, чтобы такого наслушаться всласть, а всякая там «серьезная литература» обрыдла им еще в советской школе. Неужто такой путь, «обреченный на успех», ему здесь и предстоит? Мучаясь от этого, он создает несколько беспощадных карикатур его здешних слушателей и доброжелателей. Одна из первых важных, но мучительных встреч на Западе — встреча с дядей Леопольдом, ограниченным и самодовольным буржуа, перед которым Нора Сергеевна унижается, надеясь, что он оплатит ей дорогостоящее лечение зубов.

Довлатова, вроде бы, зовут в Париж, его приглашают печататься все знаменитые эмигрантские издания — «Эхо», «Грани», «Континент», «Новое русское слово», «Панорама». Оторванный от «русских соблазнов», весьма для него губительных, он активно пишет и печатается. Судя по гонорарам, а скорее их отсутствию, пока что его оценивают не слишком высоко. Главная его надежда на Западе — Бродский. Иосиф обещает помочь ему с переводами — а пока не очень определенно советует заняться «этнографическими очерками» о России. Проффер, вместо того, чтобы просить прислать новую книгу, советует ему поступить в аспирантуру — то есть, говоря грубо, отстать от него. Приходят и другие «ценные» советы от друзей — «изучить глубинку» американской жизни, встать на конвейер Форда… Довлатов осознает, что пока что никто, даже самые расположенные к нему люди, не верят в высокое его предназначение — его еще предстоит доказать!

«Венский вальс» все кружится и кружится на одном месте. «Отъездные» дела вовсе не продвигаются — или продвигаются чуть-чуть, почти не заметно. Но и эти скорбные обстоятельства, как уже не раз было в жизни Довлатова, мы должны благодарить. Разогнавшийся, но надолго «приторможенный» в Вене писатель, не находя, куда приложить его бешеную энергию, написал здесь с начала до конца «Заповедник» — в общем-то первую свою крупную вещь, открывшую его замечательный, хоть и совсем не

длинный «золотой список». Почему именно Вена, вовсе не главная, «пролетная» точка его маршрута, оказалась столь плодотворной? Догадаться нетрудно. Здесь к нему пришла, наконец, ясность — и конец прежней неопределенности. Сколько лет он болтался в этой неопределенности, «как цветок в проруби». И лишь покинув Россию, почувствовал: все! Больше не надо приспосабливаться к советскому строю — можно выкинуть это из головы! Пиши что хочешь — итак, как считаешь нужным. Теперь — он почувствовал — можно впервые писать без оглядок, без задней мысли, без глупых надежд кому-то угодить. И — замечательный, безжалостный «Компромисс» и мог появиться лишь тогда, когда о любых компромиссах — как ему тогда казалось, — можно забыть навсегда и больше «не болеть ими». Вена для Довлатова оказалась «желанным изгнанием», почти пушкинским Болдином — здесь он впервые почувствовал «дыхание свободы», и результат оказался потрясающим. Спасибо, старая Вена!

И вот — ему. Норе Сергеевне и собаке Глаше объявлен, наконец, срок вылета в Америку — 22 февраля 1979 года.

…Эта картина страшно волнует даже тех, кто прилетает в Америку ненадолго: вдруг рассеивается мгла над океаном, и почти достают до крыла скалистые глыбы небоскребов. Совершенно другая, неизвестная жизнь!

Глава пятнадцатая. Совсем другие берега

В Америке я тоже оказался — но не совсем так, как планировали мы в переписке с Довлатовым. Хотели обняться, выпить, вместе выступить, посетить знакомые ему фонды и издательства… сорвалось. Я не успел, а он — поторопился… Но все же я оказался там. Через два дня после известия о смерти Довлатова (а значит, и об отмене организуемой им встречи), в скалистой коктебельской бухте, где я только что вынырнул из глубины, вдруг показалась моя дочурка, явившаяся из Ленинграда, и вскользь сообщила, что ко мне дозванивается некто Голышев: «Что-то насчет Америки». В библиотеке коктебельского Дома творчества я нашел телефон Виктора Голышева, замечательного переводчика-американиста и давнего друга Бродского. Оказалось, что Иосиф приглашает нас в Америку. В самолете (до аэропорта мы с Голышевым не виделись) выяснились подробности. В Коннектикут-колледже, одном из вузов, где Бродский преподавал, родителями одного студента, убитого в Нью-Йорке, был учрежден в память о нем специальный фонд для проведения специальных семинаров и конференций. В тот год была задана русская тема, и Бродский пригласил в Штаты Голышева, а также московскую поэтессу Таню Бек и меня — видимо, из какой-то благодарности родному городу.

И вот — сутолока и гвалт аэропорта имени Кеннеди. В угол душного, без окон, зальчика, похожего на бункер, абсолютно кубическая, до невозможности черная негритянка-полицейская утрамбовывает, напирая всей своей массой, «беспаспортных», то есть не имеющих американского паспорта, чтобы могли спокойно и неторопливо пройти те, кто этот паспорт имеет. Мы с завистью взираем на них: еле живой старичок, расхристанный и явно не совсем адекватный хиппи… Они — граждане Америки. Наконец, выпускают и нас… Нечто похожее, наверное, испытывал и Довлатов. Вот узкий выход в тесный, темный тоннель. Плотный человек в шоферской фуражке держит табличку с нашими фамилиями…

Хоть я прилетел в Америку совсем не навсегда — трудности американской жизни испугали. Теснота и шум необыкновенные! Открываешь дверку машины и сразу захлопываешь — на улице пекло. И — пробка: с боков дрожат огромные, дышащие жаром и бензином самосвалы, впереди изогнутая, бесконечная гирлянда красных сигнальных огней. Со всех сторон, и впереди, и сзади — только машины, и более ничего. Кажется, что этот город вообще не для людей. Сопровождающий нас студент колледжа (родом,

как выясняется, с Украины), ведет по телефону (я впервые вижу телефон без проводов) бесконечный разговор по-русски с каким-то знакомым, с которым собрался пересечься в Нью-Йорке для передачи каких-то бумаг. Тот тоже где-то движется в таком же «железном потоке». Они дважды назначают место пересечения: у нас бы это было просто — договорились, вышли из машин и обнялись, а тут оба раза неумолимые автомобильные колонны проносят их мимо — место то самое, но по времени разошлись, а припарковаться негде. Суровый город! Еще одна попытка, в другой точке переплетения трасс, — и снова не удается остановиться и выйти. И мы, так и не встретясь ни с кем в Нью-Йорке, выходим на хайвей, и через некоторое время уже катим по дороге, прорубленной в высоких серых скалах Новой Англии.

Утром в небольшой аудитории мы общаемся (естественно, по-русски) с юными славистами. Рядом что-то вроде кухоньки с кофейной машиной, и я слышу, как профессорша Сюзан Рут разговаривает по телефону: «Иосиф? Уже выезжаете? Да, все уже здесь. Скоро увидитесь».

Я вдруг чувствую, что волнуюсь. Ну что такого, успокаиваю я себя, старый приятель, с которым мы пересекались то на Литейном, то на Пестеля, то в гостях… Правда, с ним и раньше-то было разговаривать нелегко: его рваная, небрежная речь, нищая надменность в сочетании с тяжкой стеснительностью заставляли его то дерзить, то краснеть. А теперь, когда он взлетел к недосягаемому, стал «нобелиатом», вообще непонятно, как с ним себя вести. Чуть ли не первый приступ робости за всю жизнь…

Наконец, Голышев, сидящий лицом к окну, вдруг произносит:

— О! Его зеленый «мерседес»! Приехал!

И вот в прихожей, она же кухня, послышались быстрый скрип половиц и абсолютно вроде не изменившаяся картавая его речь. Ну что он там застрял? Кофе с дороги?

Я осознаю, что волнение — не только от предстоящей встречи с гением, который из знакомых твоих перешел вдруг в разряд великих. Еще более страшна встреча со Временем. Проходят десятилетия, когда ты, плывя по течению, не видишь действия времени — и вот теперь тебе предстоит столкнуться со Временем лицом к лицу. И вот он входит:

— П'гивет, Валег'а. Ну — ты изменился только в диамет'ге.

— Ты тоже.

На самом деле — на нем отпечаталось все до грамма, и «зарабатывание» Нобелевки, и недавний инфаркт.

Потом мы выступаем в большой аудитории, крутом амфитеатре. Встреченный овациями, поднимается Иосиф и, картавя, читает:

Я входил вместо дикого зверя в клетку,
Выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке…

И переждав аплодисменты — этот же стих по-английски…

Потом я летел на машине к Нью-Йорку, и восторг переполнял меня: хорошо мы, питерские парни, гуляем в Америке!

Восторг мой в равной степени обнимал всех наших тут… эх, жаль Серегу не придется увидеть!

Потом я оказался в какой-то квартире, где меня должен был забрать старый петербургский друг Игорь Ефимов… Передача «клиента» с рук на руки в огромном Нью-Йорке, как я понял уже, — операция очень сложная и ответственная. Вид из окна мрачен и неприветлив: серые плоские крыши до горизонта, с какими-то мрачными бочками наверху (как выясняется, пожарными). Я попытался расслабиться под душем — и получил вдруг зверский удар в темя: душ тут не гибкий, а жесткий — как штык из стены.

Выпадаешь в комнату — душно! Хочешь открыть окно — но оно не распахивается как у нас, а сдвигается… Нет! — хозяин задвигает обратно, лучше не надо: негры мгновенно взлетают по пожарной лестнице и тащат все, что успевают схватить. Ржавая лестница-гармошка висит и на противоположной стене, и там окна тоже задвинуты — в такую жару!

— У нас, кстати, довольно благополучный район! — заметив мое уныние, произносит уязвленный хозяин.

— Ну конечно, конечно! — бормочу я.

…Да. Нелегко, я гляжу, покорить Америку! Скорее она покорит тебя! А каково тому, кто приехал сюда навсегда и с ужасом видит, что все здесь другое, ничего из прежней твоей жизни к этому не подходит. Хозяйка квартиры, которая в прежней своей жизни явно постеснялась бы говорить нечто подобное, вдруг сообщила мне шепотом, что даже время в Нью-Йорке идет совершенно иначе… все наши это чувствуют, но боятся об этом говорить.

Наконец, появляется хмурый, озабоченный Игорь Ефимов — мы здороваемся с ним абсолютно спокойно, словно и не разлучались на столько лет… Проезжаем по огромному, головокружительному мосту над Гудзоном и въезжаем в какую-то деревеньку с обшарпанными домиками. И это — Нью-Джерси? Америка?

Выходит почти не изменившаяся Марина, и мы обнимаемся с ней несколько душевней, чем с Игорем. Впрочем, теперь и он подобрел и повеселел. Признался, что каждый раз, выезжая в

город на машине, волнуется, как на экзамене… И вот эта зелененькая «дачка», похожая на комаровские халупы советского времени, — их «американский дом»? До отъезда они имели большую квартиру в знаменитом писательском доме на канале Грибоедова, где на стенах не хватает места для памятных досок, — продолжали, так сказать, традиции. Въехали в квартиру аж после самого Юрия Рытхэу! А тут… говорят, бегают еноты — разоряют, жалуются все, мусорные баки, потом мусор снова приходится собирать. Но главное, оказывается — Ефимовы должны за этот дом огромную сумму, которую приходится выплачивать ежемесячно. И попробуй только пропустить платеж!

— Так что, — Игорь кивнул на почтовый ящик у ограды, — вот он, ящик Пандоры! Каждый раз суешь руку с опаской, словно там может быть змея. Но на самом-то деле — хуже: опять какой-нибудь убийственный счет! То опять за дом — чего только не придумывают, или из типографии, или, не приведи господи, какой-нибудь штраф или повестка! За что тут меня только не вызывали! Не так давно безумный Шемякин подал на меня в суд! На миллион долларов! За оскорбление чести его отца!

— Не понимаю… Ты знал, что ли, его отца?

— Да знать его не хочу! В глаза его не видел! Сам же Шемякин его и оскорбил, как старого чекиста! И потом вдруг переменил взгляды, как многие здесь, на ультрасоветские и подал в суд на меня — за то, что я опубликовал его же текст!

— Странные тут у вас развлечения!

— Да… тебя многое тут удивит!

Как-то мне раньше казалось, что все уехавшие сюда, единомышленники, друзья… и мы, оставшиеся дома, тоже им друзья — с этим радостным чувством я и ехал сюда. С любовью, восторгом, с предложением совместного сборника — мы же, в сущности, «ленинградская школа», братья, из одного гнезда!.. А гнездо-то, похоже, осиное!

— Вот так! — вздыхает Игорь. — Пока книжка выходила, Шемякин надел фуражку и сапоги и, так сказать, полностью преобразился… И я уже виноват перед ним. Слава богу, судья, умная негритянка, спустила на тормозах…

Все знаменитое ефимовское издательство с пышным названием «Эрмитаж», страстная и почти недостижимая мечта всех здешних русских, жаждущих напечататься, оказалось заключено в одном обшарпанном компьютере. Все делается в нем, потом диск с макетом книги отдается в типографию, среди массы других заказов от других таких же «издателей». День на третий моего пребывания друг Игорь мужественно отложил все дела и выкроил день отдыха. Мы заехали в типографию по дороге на

рыбалку — вот уж не думал, что в Америке рыбалкой займусь! Одеты были, соответственно, в затрапезу, и в помещение нас долго не пускали… Вот она, здешняя литературная жизнь! Еще мы зашли там на почту, и я с некоторым удивлением понял, что Игорь отправляет и получает бандероли довольно-таки далеко от дома! Это зачем? Ефимов, человек стойкий, несгибаемый, неунывающий, преподнес мне это, как интересную американскую диковинку: «Тут от адреса зависит все — и прежде всего, твоя репутация. И этот адрес чуть-чуть престижнее, чем то место, где мы живем. Представляешь?» Да-а, непросто тут все…

Нью-Йорк, как и вся Америка, вскоре понял я, жестко делится на «зоны престижа». Чуть не тот адрес — и на работу определенного уровня тебя не возьмут. И глядишь, бандероль с таким обратным адресом даже не распечатают! Напряженка во всем!

Мы сели в его машину и стали углубляться в глухие леса. Вот уж не думал, что так близко от Нью-Йорка лежит настоящая тайга! В тайгу ли я стремился, с таким подъемом собираясь сюда?

— Сегодня ночью я думал, — произнес Игорь, — и решил — нет! Твое предложение — совместный сборник «Два берега» издавать не буду. Интерес ко всему русскому тут стремительно сжимается, как шагреневая кожа.

И чего я тогда приехал? Мы некоторое время ехали молча. Да. Суровая страна! За «зеленым морем тайги» вдруг показалась макушка какого-то небоскреба и снова спряталась. Машина, скрежеща, лезла по склонам.

— А какая у тебя машина? — решил я перевести разговор на более приятную Игорю тему.

— А такая, — усмехнулся он, — что дочка просит к самой школе ее не подвозить — выходит за квартал!

Да-а! Жизнь! Дочку его мы уже однажды везли в Нью-Йорк из ихнего Нью-Джерси, и она всю дорогу не сказала ни слова и презрительно отворачивалась, когда к ней обращались. Ничего не поделаешь, переходный возраст (потом, кстати, она стала веселой и толковой, и очень родителям помогала). Такую же стадию «перелома», как я узнал, проходила тогда и дочь Довлатова Катя… Потом мы ехали молча — Игорь окончательно и безнадежно погрузился в тяжкие мысли.

— Кстати, эту книгу о Шемякине мне твой друг Довлатов подбросил! — скрипя рычагами, вдруг произнес Игорек.

А я-то думал, что все тут друзья… как прежде! А тут явно враждебное — «твой друг!» Ведь Игорь книги Довлатова тоже выпускал, но мне почему-то не показал… подробности я узнал позже.

Когда мы вернулись с суровой, но безрезультатной рыбалки, Марина (заменившая Довлатова на «Свободе»), торопливо печатала, поглядывая на часы… У нас такой озабоченной я ее не видал.

Довлатов умер летом, а я оказался в Америке (как мы с ним и договаривались) в знойном октябре. Конечно, смерть его, столь драматическая (хотя вроде бы любая смерть драматична, но его — особенно), взбудоражила всех. Кто-то сказал мне, что на похоронах его не было ни одного американца, даже его литагент где-то задержался и не приехал. Что ж… чужбина! Потом издалека, из вагона сабвея показали мне его дом — «точечный», как у нас называли такие. Недалеко от дома еврейское кладбище «Маунт-Хеброн», где он и похоронен. Идти туда не было желания. Что ему сказать? Тогда еще его судьба казалась мне проигранной… Я позвонил Лене. Выразил соболезнование, спросил — как она теперь будет жить?

— Спасибо, — проговорила она. — Жить буду как всегда. Печатать. Одна буквочка — один цент.

Мы простились, и я повесил трубку. Что я мог ей сказать в утешение? Оглушительная довлатовская слава грянула чуть позже — и тогда я даже не представлял, насколько тщательно она подготовлена всей его жизнью.

Позже я оказался в Квинсе — в том самом районе, где жил, и чуть было не сказал «умер», Довлатов. Но нет, умер он не здесь… речь об этом еще впереди. В Квинсе я прожил день у Беломлинских, моих ленинградских друзей, которым меня сдал озабоченный, загруженный делами Ефимов. Район этот тогда был еще вполне приличный, немецко-еврейский. Чистая широкая лестница с цветами на площадке… для тогдашней российской жизни, где все стремительно разваливалось и нищало, это казалось чудом. Но выглядели Беломлинские посуровевшими, встревоженными. В Ленинграде Миша и Вика были вполне шикарными светскими людьми, преуспевающими и в то же время легкими, красивыми и беззаботными, завсегдатаями лучших питерских мест. Вместе с другой парой друзей — Ковенчуками — они любую вечеринку превращали в праздник. Когда Беломлинский и Ковенчук начинали дружески издеваться друг над другом, народ ликовал. Каждая фраза — алмаз! Здесь они как-то не веселились… Да и то! В те годы я без испуга не мог понять — как вот за эту квартирку, гораздо более скромную, чем их квартира на Петроградской, можно платить девятьсот долларов в месяц! Для нас это — год разгульной жизни (квартплата тогда нас еще не тревожила). Рано утром — я еще спал — Миша отбыл на работу. Работал он — знаменитый у нас

художник! — всего лишь метранпажем в газете «Новое русское слово»… крепко связанной, как выяснилось, и с жизнью Довлатова, но об этом речь тоже впереди. Пока мы не знали толком ни довлатовских книг, ни его нью-йоркской одиссеи. «После смерти, — как изрек Довлатов, — начинается история»… Но тогда она еще только начиналась.

Мы попили с Викой чайку… Хорошо бы чего-нибудь покрепче — прибыл я к ним накануне, честно сказать, «на бровях». В Питере я бы все быстро организовал!.. Но тут, честно сказать, даже излома выйти страшно — все совсем непривычно и непонятно. Нечто подобное, как мне показалось, испытывала и Вика.

Вздохнув, я достал свои американские «планы действий», пододвинул телефон. Чего же так страшно? Вроде бы старым знакомым собираюсь звонить?

Но такой непонятный страх испытывали, оказывается, многие — честно признавались. Вика и в Питере была несколько напряженной, резковатой — я вспомнил ее раздражение, когда Довлатов вылез на обсуждение вместо нее. Но там ее резкость как-то оправдывалось ее высоким положением — Беломлинские стояли в общественном мнении очень высоко!.. А здесь больше веяло отчаянием и неуютом.

— Хорошая у тебя записнуха, Валера! — проговорила Вика. — Но у Довлатова она была больше раз в шесть! Амбарная книга! И там буквально по минутам было расписано — куда поехать, кому позвонить, даже как разговаривать! «Застенчиво», «туповато», «высокомерно»!

— Да? — удивился я. — А я и не знал Серегу таким!

— Стало быть, ты вообще его не знал! — отрубила Вика. — Хотя, надо заметить, во всей своей красе он только здесь себя показал. Была у меня уже четкая договоренность, — продолжила Вика, — работать на «Свободе»… и вдруг на моем месте Довлатов. При этом изображает, как всегда, недотепу… мол, ряд нелепых случайностей — и вот результат! Плечами пожимает! Сказала ему — «ах ты, хитрый армяшка», — резко выпаливает Вика, сама наполовину армянка.

Да, у нас до такого — во всяком случае, в нашем кругу, не доходило. Все мы были союзники, единомышленники, друзья!..

Поздно вечером возвращается Михаил, устало садится, вынимает из портфеля две баночки пива, протягивает мне.

— На. Мучаешься небось?

Я благодарно киваю. Даже слезы вдруг катятся из глаз. Да, сильно я устал в этом суровом городе! Слезы текут и текут. Добрей человека, чем Миша, я в жизни не знал. Но таким, как

здесь, я его не видел: буквально серый от усталости! У нас он делал одновременно с десяток модных книг, выпивал с друзьями, заходил в редакции, где все обожали его, радостно приветствовали. Тут, похоже, не обожают… Одно слово — «метранпаж»!

— Хотел с утра тебя похмелить. Забежал в магазин, взял две баночки пива. Вдруг кассирша, ни слова не говоря, вынимает их из моей корзины — и убирает. До одиннадцати, оказывается, нельзя!

Да, у нас такое было лишь в тоталитарные времена, и мы добились (хотя бы в этом пункте) свободы. А тут — гляди-ка! Пока мы обсуждаем это, румянец постепенно возвращается на Мишино лицо. Глаза веселеют…

Утром, после долгих подробных разговоров с Мишей по телефону, за мной заехал Игорь Ефимов, чтобы отвезти к Пете Вайлю. «Экспедиция» эта готовилась и обсуждалась по телефону долго и тщательно, с присущей Игорю основательностью. Тут с коммуникациями, как еще раз почувствовал я, сложнее в тысячу раз; попасть из района в район, да еще в нужное время — задача алгебраическая. И как они только живут!

Суровый, озабоченный Игорь, наконец, появляется — на этот раз почему-то без машины: таков расчет. Я благодарю Беломлинских, и мы едем невероятно сложным маршрутом (один я бы точно тут пропал!) к Вайлю в Верхний Манхэттен. Проехав через Гарлем, где мне вдруг стало страшно от облика пассажиров в вагоне метро, мы вышли в Верхнем (Северном) Манхэттене и вскоре поднялись по шикарной мраморной лестнице, позвонили — и в прихожей нас встретил Петя Вайль. Фотографии его я уже видел, но в жизни он оказался еще прекраснее — бородатый, огромный, добродушный. Мы обнялись с Петей, и Ефимов тут же ушел. Как я уже понял, в сверхплотной нью-йоркской жизни это постоянная практика — передавать гостя с рук на руки, чтобы он не мешал твоей жизни и делам. Мы с Петей тоже сразу спустились, сели в метро. Вышли в центре, пошли по знаменитой Пятой авеню, которая вблизи оказалась вовсе не такой уж шикарной, как представлялось.

Мои отношения с Вайлем были давние и радостные, хотя до того дня — лишь заочные. Вайль и его блистательный соавтор и друг Саша Генис в тот приезд интересовали меня сугубо эгоистически. Тем более что в моей жизни они появились гораздо раньше, чем в довлатовской. Проживая в Риге и еще не дебютировав в литературе (хотя уже, наверное, что-то замышляя), они оба независимо друг от друга полюбили мои книги. Сойдясь на этой почве, написали совместную статью «Гротески Валерия

Попова» и напечатали ее в рижской молодежной газете, которая, как все прибалтийское тогда, имела некоторый флёр западного свободомыслия. То была одна из первых статей про меня, за что я им бесконечно благодарен, — но и они, как я думал, должны быть благодарны мне, поскольку из-за меня познакомились и стали постоянными, а потом и знаменитыми соавторами… Куда ж им теперь-то? Но, как оказалось к моей досаде, — было куда!

Первые полчаса в Нью-Йорке мы почему-то (и это после такой заочной близости!) общаемся с Петей слегка скованно, напряженно, чуть ли не неприязненно… Как мы разобрались чуть позже, уже в пьяном счастливом откровении, каждый из нас ждал от другого большей задушевности и не находил. К счастью, мы быстро сообразили зайти в бар, и чуть было не погибшая от жажды наша дружба ожила! И тут, в баре, наконец-то расчувствовавшись, мы все это душевно с ним подтвердили.

— Когда мы с Генисом тут болтались, голодные и безработные, — сказал Петя, — то лишь цитатами из Попова и кормились! «Поймали бабочку, убили, сделали суп, второе — три дня ели!»… А когда летели в Америку — страшно было, смотрели с ужасом вниз, на ледники Гренландии, и тоже вспоминали тебя: «Подумаешь — десять километров всего! На такси — трешка!»

Вот оно, счастье! Не зря я мучился, летел сюда! Вот оно, признание! Мы, ясное дело, выпили еще — и стало совсем чудесно! Потом мы как-то мгновенно (не то что раньше мучались-добирались) оказались с Петей в довольно скромном офисе «Свободы» на Бродвее, где вскоре, таинственно усмехаясь, появился и Генис. В отличие от благодушного Деда Мороза Вайля, Саша Генис внешность имеет несколько злодейскую, пиратскую… взгляд его дерзок, насмешлив, реплики язвительны. Но как же я люблю его за это! Мы обнялись и с ним.

Пока готовилась передача, я осматривал редакцию. На дальней стене была приколочена «Доска информации», вся заполненная вырезками из газет. В большинстве это были довлатовские некрологи — на русском и на английском. Надо же, как их много! Но той огромной довлатовской славы, что вскоре обрушилась на нас, я все еще не предвидел. Петя пока что рассказал мне, как мучился Довлатов на «Свободе», горевал: «Уродую рассказы, превращаю их в передачи. Кошмар!» Рядом на стене был приколот один из прелестных, отнюдь не безобидных довлатовских шаржей: Рой Медведев, один из весьма заметных тогда «прогрессивных политиков». На рисунке был изображен рой маленьких медведей, вьющихся возле Спасской башни Кремля…

Скоро там передача начнется? Скорей бы сказать все, что хочется — и продолжить! Жажда замучила!

— Ну, пошли! — сказали Саша и Петя.

Они честно выполнили все обязательства «первой любви». Провели со мной замечательную беседу в эфире, где я позволил себе полностью распоясаться… Потом вели литературное мое выступление в русском центре (которое затевал еще Довлатов, но — увы). Встреча прошла замечательно, хотя была для меня несколько необычной. Публика, конечно же, была специфической. На первых рядах сидели, как говорил язвительный Генис, белогвардейцы, «участники Ледового похода» — им было интересно узнать, как именно погибает Россия на данном этапе. Следующие ряды занимали бородатые, в свитерах бывшие наши доценты-диссиденты. С этими мы были, конечно, поближе — у некоторых из них в руках я видел даже свои книги… но больше их, конечно, интересовали шаги перестройки, и главное — как там Собчак? Ощущения, что пришли слушать именно меня, как-то не создавалось. Помню, я долго читал рассказ, и особенно меня раздражала роскошная молодая пара в заднем ряду. «Эти-то зачем пришли? Ничего интереснее в Нью-Йорке не нашлось?» После выступления он и она подошли ко мне и скромно сказали, что когда уезжали из Харькова, то из всех книг (вес багажа был ограничен) взяли только мои. Вот оно — счастье! После выступления ко мне подошел симпатичный бородатый Гриша Поляк и подарил довольно увесистую монографию о Довлатове… Солидно издано! Только тут я начал понимать, что Довлатов в Нью-Йорке еще присутствует… Но не удивился — прошло ведь каких-то два месяца после его смерти.

Потом мы с Петей и Сашей оказались в китайском ресторане, потом — в корейском, потом, зайдя в сказочный, фантастический для приезжего той поры винный супермаркет «Ликвор» напротив редакции «Свободы», мы снова оказались на «Свободе», но уже без эфира, успешно заменив его алкоголем… После, по утверждениям Гениса и Вайля, мы были еще кое-где, но я этого уже не помнил. Потом они напечатали шикарный материал про меня в духовно близкой им сан-францисской «Панораме»… Так что, повторяю, по своему долгу «первой любви» они расплатились полностью. А я в конце того первого вечера ехал куда-то в автобусе, изумляясь вдруг появившимся пальмам (как оказалось, я ехал к Ефимову), и ликовал! Вот теперь-то, мечтал я, когда мы с Петей и Сашей окончательно сблизились и закрепили нашу любовь, теперь-то и поднимется, наконец, мой монумент нерукотворный! Я конечно, как честный товарищ, вскользь интересовался Довлатовым, тем более что они работали вместе на «Свободе»… что-то ведь должно остаться от этой их работы? Волновался за Сережу… ну и, конечно, главным образом за себя. Я, наивный, еще не

представлял, что пьедестал уже прочно и навсегда занят Довлатовым — и теперь эти мои американские воспоминания годятся лишь для того, чтобы плавно и ненавязчиво перейти от них к его американской жизни…

У Довлатова мы читаем, что никто в Америке его не встретил, жена спокойно ушла на работу, оставив ему дома только записку. Конечно же, это слишком сурово, чтобы быть правдой. Заботливая и верная Лена вместе с повзрослевшей и похорошевшей Катей, конечно же, встретили его и отвезли домой, где уже хлопотала, готовя яства и накрывая стол, верная их подруга Наталья Шарымова. И конечно, был торжественный прием, на который Лена созвала всех знакомых, кто мог быть Сергею приятен или полезен.

Сначала они жили в не очень хорошей квартире (хозяина ее Довлатов назвал почему-то «красноармейцем и белорусом»). Нос приездом Сергея собрались с силами и переехали в сравнительно дорогой и безопасный Квинс. Форест-Хиллс, «Лесные холмы»! Это был последний его дом — о чем он, конечно, еще не знал.

Лена уже работала в газете «Новое русское слово», главной русской газете Америки, — то есть Довлатову уже было куда пойти для начала. И очень скоро он получил возможность убедиться, что и тут «правят бал» люди отнюдь ему не близкие, и «русский дух» тут совсем не тот, который он хотел бы жадно вдохнуть.

Миша Беломлинский рассказывал мне, что для рекламы одного фильма в газете «Новое русское слово», где он, напомним, работал метранпажем, а заодно рисовал, он довольно целомудренно изобразил обнаженную женщину. В ответ пришли десятки, если не сотни возмущенных писем — причем большинство из них на имя главного редактора Андрея Седых, — с требованием уволить «распоясавшегося мазилу». Ну чем не Советский Союз, причем самых худших времен?

При этом всяческая пошлость жизни, на Родине сдерживаемая суровой цензурой, тут обрела свободу. Смотрю «литературную страницу» одной из русских газет, выходивших тогда в США:

> Знаешь что? Я вас люблю.
> Берегитесь — к вам десант!
> Я сегодня проявлю
> Эротизма чудеса!

Стоило ли для этого бросать прежнюю жизнь и, рискуя второй половиной жизни, пересекать океан? Для кого-то, видимо,

стоило: вот она, свобода слова, «эротизма чудеса»! Но как для Довлатова?

Многие, и думаю, не без основания, утверждают, что в первое время он был подавлен. Вместо привычных тихих и прямых улиц с родными названиями — длиннющие магистрали, зачастую без домов и без названий, а лишь с номерами. В районе, где он жил, если я правильно помню, проходит весьма неказистая и, кажется, чуть ли не двести какая-то улица (счет ведется с Манхэттена). Там уже через час непривычного приезжего утомляет пестрая мешанина незнакомых и непонятных (причем навсегда непонятных) лиц и языков…

Этнические сдвиги в Америке происходят значительно быстрей, чем во всем мире, хотя они и во всем мире происходят довольно быстро. Через три года мы с Беломлинским приехали на ту же станцию метро, и я, поднимаясь на эскалаторе, собирался увидеть все тот же сравнительно европейский, респектабельный Квинс.

— Когда выйдешь из метро — не падай! — сказал вдруг Михаил.

— А что такое? — встревожился я.

— Сам увидишь.

Я вышел — и встал с раскрытым ртом… Где я? Уж не Индия ли это? Люди в чалмах, с фиолетовыми отрешенными лицами, движутся неторопливо и величественно. Дымок сладких воскурений, заунывная тягучая музыка…

— Вот так! — произнес Миша — Теперь весь район такой! И произошло это как-то вдруг. Словно мы с Викой на ковре-самолете перелетели! И теперь — только их лавки, их магазины, их еда. Всюду их речь — а тебя они словно не видят и как бы не слышат!

Мы долго с ним шли, а Индия и не думала кончаться, наоборот, становилась все «гуще».

«Ну и где же тут наши читатели?» — подумал я.

Такой вопрос, думаю, встал и перед Довлатовым. Уезжали вроде все дружно, в едином порыве… а тут попробуй кого-то отыщи! Даже доехать друг до друга в этом городе, похожем на лабиринт, — уже проблема… А главное — зачем? Опять ругать советскую власть? Тут это никого не интересует. И кого интересует он? Это там, в России, он был для штатных защитников демократии лакомым куском, «еще одной безымянной жертвой режима», а тут… какой к нему интерес? Нет никаких надежд, что все кинутся радостно к нему с криками: «Наконец-то!» — этого не будет никогда… стоило ли приезжать сюда, что бы в этом убедиться? Писать одно за другим сочинения

про «большевистский ад»? На это уже есть Солженицын — его мощью, его материалом не обладает больше никто, с ним не потягаешься… Значит, все? Финиш? Жалкая жизнь на пособие?

Пожалуй, первым спасением для него тут, как и в таежном селении Чинья-Вырок, оказались письма. Вот — можно писать что хочешь и что думаешь, и уже понемножку осваивать подступивший хаос, при этом пока не ломая голову, куда и зачем пишешь, кто это прочтет… Просто начать выстраивать буквы и впечатления для близких людей, оставшихся в Ленинграде. Этот читатель надежный и в то же время строгий, халтуру не пропустит и форму поддержит. Уж они-то, его старые верные читатели, не забудут и оценят его! Что бы он делал тут — и особенно вначале — без них?

Вот письмо Юлии Губаревой, жене старого приятеля:

«Здравствуй, милая Юля! Мы были очень рады твоему письму, хотя жизнь, в общем, печальна. Сложность в том, что я, довольно хорошо представляя себе ваши обстоятельства, не в состоянии изобразить — свои. Мы здесь живем не в другой стране, не в другой системе, а в другом мире, с другими физическими и химическими законами, с другой атмосферой.

<…> У нас, действительно, раз и навсегда решена узкая группа проблем (примитивная еда, демократическая одежда), но к этому чрезвычайно быстро привыкаешь. Здешняя жизнь требует от человека невероятной подвижности, гибкости, динамизма, активного к себе отношения, умения приспосабливаться. Разговоры на отвлеченные темы (Христос, Андропов, Тарковский и прочее) считаются в Америке куда большей роскошью, чем норковая шуба. Никакие пассивные формы жизни здесь невозможны, иначе пропадешь в самом мрачном, буквальном смысле.

Законов мы не знаем, привычная юридическая интуиция в этих условиях — бесполезна, достаточно сказать, что… я почти беспрерывно нахожусь под судом. Меня судили за плагиат, клевету, оскорбление национального достоинства, нанесение морального ущерба (Глаша укусила вонючего американского ребенка), а сейчас нас с Леной судят за двенадцать с половиной тысяч долларов, которые мы взяли в банке для нашего приятеля и которые он не хочет (да и не может) возвратить.

Второе, что делает здешнюю жизнь иногда совершенно невыносимой — это постоянная борьба за свою безопасность. Мы живем в самом криминальном городе мира, в Нью-Йорке за год убивают две тысячи человек (побольше, чем в Афганистане), среди которых десятки полицейских, здесь фактически идет гражданская война.

…Кроме того. Нью-Йорк город жутко провинциальный, все черты провинции — сплетни, блядство, взаимопересекаемость. Все острят, смеются, при этом жутко необязательны, ничего не хотят делать.

Из моих 2500 стр. печатать целесообразно одну шестую, остальное — макулатура. Пятнадцать лет бессмысленных страданий!

Моя растерянность куда обширней средних эмигрантских чувств. В газетах обо мне пишут. По радио говорят. Дважды выступал почти бесплатно, но с успехом. Книжки выходят и будут выходить. Есть четыре издательских предложения. Все — несолидные. Ни денег, не престижа. Есть халтура на радио Либерти. В “Новое русское слово” пиши хоть каждый день…»

…И станешь одним из сотен пишущих туда и читаемых лишь такими же старыми, доживающими свой век эмигрантами. Да-а! Все надо было начинать здесь сначала, как когда-то он начинал в Ленинграде — обозначить себя, сделать стопроцентно узнаваемым… Здесь, увы, было не так уж много людей, кто знал его «подвиги» в Ленинграде, Таллине или Пушкинских Горах. Другой бы решил, что этого вполне достаточно, и так и остался бы в гордой безвестности. Но не таков Довлатов!

Здешних читателей и почитателей надо было создавать заново, с нуля. Будучи поспешно опубликованными, его сочинения могли бесследно исчезнуть в море американского «самиздата» — все графоманы, вырвавшись на свободу, немедленно начали что-то издавать… Затеряешься! Надо сначала встать на какое-то возвышение, чтобы для начала все увидели и разглядели тебя. И Довлатов вычислил, как всегда, гениально. Газета! Новая газета! Книгу с очередными «жалобами страдальца» могут прочитать и забыть — а газету, которая должна стать «общим голосом» всех вновь приехавших, уже никто не пропустит, все будут знать!

И Довлатов, как Илья Муромец, встает с лежанки.

Глава шестнадцатая. Чеканный профиль командора

К счастью, он оказался не один: рядом были талантливые люди, чувствующие примерно то же, что и он. И главными его неоценимыми сподвижниками той поры стали талантливые — и что немаловажно, весьма деятельные и веселые Петр Вайль и Александр Генис, сработавшиеся еще в Риге. А здесь, в Нью-Йорке, они сразу оценили и полюбили Довлатова, и эта «тройка нападающих», на мой взгляд, стала в русском Нью-Йорке самой результативной. С товарищами уже было жить легче, уже было перед кем покрасоваться, с кем толково поговорить. Дружба это определила и их судьбу, и судьбу Довлатова. Первыми, кто оценил здесь Довлатова по-настоящему и сделал эту оценку достоянием общественности, были, безусловно, Вайль и Генис. Тут уже наклевывается нечто вроде «лицейского братства» — хотя возраст их был далеко уже не лицейским. Но взаимная поддержка, критическая точность, почти полное совпадение вкусов, свобода от политической оголтелости — все это сделало их союз веселым и продуктивным. О Пете и Саше можно много сказать, я до сих пор с удовольствием читаю их книги. Но для биографии Довлатова важнее всего то, что именно из их слов все четче и ясней стал вырисовываться «чеканный профиль командора». Вспоминает Александр Генис:

«Как только Довлатов появился в Америке, он пошел в редакцию «Нового русского слова», где к тому времени уже работала его жена Лена. Там мы и познакомились. Мы невероятно быстро нашли общий язык, может быть, потому, что уже немножко знали друг друга по публикациям… Эта встреча стала для меня очень радостным событием, потому что после этого началось самое интересное в моей жизни в эмиграции — дружба с Довлатовым. Общение с ним всегда было праздником, особенно для тех, кто ценил и любил слово. С ним было очень приятно делиться словами».

Свидетельствует Петр Вайль:

«С его появлением день получал катализатор: язвительность, злословие, остроумие, едкость, веселье, хулу, похвалу. Довлатов был живой, чего не скажешь о большинстве из нас… Сергей ненавидел все, что не является литературой. От купания брезгливо отказывался. Зато он любил — и умел разговаривать о литературе, и умел стать в любом разговоре — главным».

Оказавшись в Нью-Йорке, я первым делом хотел посмотреть

места, где они проводили время. Саша Генис привез меня в богемное Сохо — узкие улицы, невысокие обшарпанные дома… Это был совсем не типичный Нью-Йорк. Саша остановился у маленького неказистого домика. «Вот главная картинная галерея в мире! Кто здесь не выставлялся — мировой знаменитостью считаться не может. Хотя логика у хозяина порой странная… Во всяком случае, из наших пока никто сюда близко не подходил — ни Шемякин, ни Неизвестный, ни Комар и Меламид…»

Потом он с гордостью показал мне знаменитое богемное кафе, в котором нет ни одного повторяющегося стула! После этого мы зашли в кафе «Борджиа», которое было менее новаторским, но зато более уютным — и тоже знаменитым: «Однажды мы здесь в компании с Довлатовым проговорили почти весь день! И когда официантка, оказавшаяся русской, в конце с удивлением спросила нас — о чем можно разговаривать четыре часа, — мы сказали: “О Гоголе!”»

В разговорах этих ковалась их дружба, их союз.

«Он безошибочно, — продолжает Вайль, — выискивал свои ниши, вроде ежесубботней поездки на блошиный рынок, где самозабвенно рылся в барахле, одаривая потом знакомых дурацкими диковинами, а потом тех же знакомых выставляя с его же диковинами еще большими дураками…

Попадая в поле зрения довлатовской прозы — устной или письменной — ты вовлекался в высокий круг обращения, иначе не достижимый. Высота задавалась его мастерством.

Пьянство защищал: “Если бы, допустим, в апреле семнадцатого Ильич был бы таков, что не смог бы влезть на броневик?” Но водка не приносила Сергею радости. Покончив с запоем, он бросался исправлять испорченное — отдавал долги, извинялся, замазывал семейные и деловые трещины».

Как вспоминает Генис, Довлатов, неожиданно для всех, не проявил ни малейшего этнографического интереса к Нью-Йорку, отнесся к великому городу без достаточного почтения, а хищно и цепко сразу же взял лишь то немногое, что нужно было ему для его литературы. И такую дерзкую, даже демонстративную самостоятельность Довлатов проявлял во всем. «Чистил» себя, а также действительность под свою неповторимую прозу.

«…К блатным Довлатов относился пристрастно, говорил с восхищением о их языке, воображении, походке. Не без гордости Сергей принимал и свою популярность у бывших зэков… Обожал ошибки и опечатки. Настаивал на необходимости такой купюры: “Опечатка допущена с ведома автора”. Ошибка, уверял он, окружена ореолом истинности.

Любил Довлатов только несчастных. Всяческую ущербность

он принимал с радостью. Даже с торжеством. Сергей был одержим не грехом, а прощением. Ошибка делала сюжет. Встретив сильного, он не унимался до тех пор, пока не представлял его слабым. Способность делать ошибки, говорил он, встроенное в нас страхующее устройство. От добродетелей не приходится ждать пощады».

Довлатов не любил пафоса и многозначительности. С многозначительным видом произносятся, как правило, банальности или опасные вещи. Банальностей он не терпел. «Все, что общеизвестно — неверно», — сказал его знаменитый коллега. И мы любим Довлатова за то, что он снял с нас привычные, казавшиеся необходимыми ржавые вериги всяческих догм, считавшихся прежде вечными. Он не просто «чесал языком», как многие доморощенные «мыслители», вырвавшиеся на волю, где их никто таки не оценил. Довлатов создавал веселые, но очень четкие и даже жесткие каноны новой жизни, новой литературы.

Он был первым, кто мужественно отрекся от всего, что было сделано прежде — дабы не подпасть под чужое влияние, не быть расплющенным чем-то значительным, но чужим, сделанным до него. И в этом — его гениальность. Только так можно было создать что-то свое.

Больше всего его слух был навострен на «благородное хамство», научившееся в нашей жизни то и дело прятаться то за благородство, то за «высокие цели» — такое он ненавидел больше всего и пресекал мгновенно. Довлатов писал, что из всех писателей хочется походить только на Чехова. Действительно, их многое объединяет, в том числе стойкое отвращение к пафосному вранью. А ведь многие из наших соотечественников явились на Запад в облике борцов с тоталитаризмом (странно, что при таком их количестве тоталитаризм не исчез) — и продолжали «изображать из себя» и здесь. Наиболее показателен случай на «Свободе», когда высокопарный правозащитник, ссылаясь на свою высокую миссию, отказывался отдавать долг бедной женщине-фотографу: «Я тут с тоталитаризмом борюсь — а вы меня долгом попрекаете!» Таких Довлатов «спускал с лестницы» мгновенно. «Благородное» хамство бесило его больше всего. Поэтому он сразу стал врагом многих диссидентов, оказавшимися тут, на воле, далеко не благородными. Его беспощадная меткость не различала своих и чужих — к своим он даже относился более насмешливо и безжалостно — с чужих-то что взять, а вот когда свои проявляют «сволочизм», этого прощать нельзя. Поэтому те, кто пытался скрыть свою корыстную суть «правильной политической ориентацией», разоблачались им особенно едко — и тем ничего не оставалось, как мстительно объявлять его

«розовым», чуть ли не красным — потому, мол, он и замахивается на «идолов свободы». Но у свободы идолов быть не должно. Беспощадный и требовательный его взгляд одинаково низко оценивал демагогов любых направлений. Его «максимы» всегда низвергают идолов, вызывая ропот и гнев идолопоклонников. Одна из самых скандальных его цитат гласит: «После коммунистов я больше всего не люблю антикоммунистов».

Его острый, резкий стиль письма и жизни и составил ему славу, и приблизил смерть. Со всех сторон ханжи и политические фальшивомонетчики объявляли его внутреннюю свободу и свежесть слова «безнравственными». Но он от этого становился лишь жестче. Мало кто взял на себя такое, как он, — и не испугался, и заявлял о себе все увереннее и резче. Порой он в своих порывах был слишком крут: «Бей своих, чтобы чужие боялись!»

Петр Вайль пишет:

«…Дело еще в том, что его все любили. При Довлатове вели себя, как в компании с манекенщицами — шутили чаще, смеялись громче, жестикулировали развязнее. Сергей капризно менял фаворитов, следуя своей чудовищно запутанной эмоциональной логике… которую, я думаю, он запутывал специально, чтобы никто не мог уловить закономерности, чтобы все ждали опасности и работали бы изо всех сил — на него».

Даже своих любимых Вайля и Гениса он то и дело муштровал и подвергал насмешкам. Например, за их любовь к путешествиям и новым впечатлениям называл Ганзелкой и Зигмунтом… то были чешские путешественники, объехавшие весь мир и вызывавшие, естественно, жгучую зависть советского обывателя. Ошибок и даже мельчайших отступлений от установленных им жестких канонов речи и поведения он не спускал даже ближайшим друзьям — и скорее порывал с ними отношения, чем прощал. Вайль вспоминает «два года вражды, с его стороны несправедливой, изощренной, талантливой, довлатовской».

Довлатов подчинил себе всех! Даже Вагрич Бахчанян, великолепный художник, знаменитый еще со времен «Юности», мудрец и остряк, автор афоризмов, которые сразу же подхватывал весь русский Нью-Йорк и которого называли Ходжой Насреддином эмиграции, при Довлатове робел и боялся ляпнуть лишнее.

Однажды Вайль и Генис, устав болтаться с бутылкой по улицам, решили зайти к Наташе Шарымовой, которая славилась умением быстро и хорошо приготовить все, что принесут. Я помню хитрую и обаятельную Шарымову по Ленинграду — и здесь она не пропала. Довлатов писал, что она и в Америке легко

может взять интервью у любой знаменитости. И вот, поболтавшись по улицам и купив рыбу в обертке, Вайль и Генис зашли к ней. Компания за ее столом вяло оживилась — обрадовавшись, видимо, только бутылке. Беседа двигалась кое-как… И вдруг с кухни повалил дым: Шарымова второпях кинула жарить рыбу прямо в обертке. Дым заволок всю квартиру — и только тогда из спальни вдруг появился недовольный и опухший Довлатов в халате и грозно оглядел гостей… Так он завоевывал плацдармы, обосновывался, окапывался в этом городе-спруте.

Порой его безапелляционность и, как бы сказать, размашистость вызывали протест, казались чрезмерными:

«Лучшей вещью в литературе он считал "Капитанскую дочку". Он мечтал о читателе плачущем: “Кто смеет обижать сироту?” Он на самом деле переживал, по-кавказски непомерно, неурядицы близких и даже дальних, иногда искренне забывая о том. что сам был причиной бед и расстройств… Взяв слово, он не уступил бы его Свифту. Точное слово об уличном бродяге (сказанное им самим) было ему ценнее музея Метрополитен, в котором он так ни разу и не был».

Весьма требовательно он относился к юмору — хотя некоторые непритязательные читатели любят его именно как юмориста. На самом деле, юмор у него вовсе не сыпался из мешка, как у надоедливых эстрадных смехачей, а работал экономно и точно. Генис рассказывает, как они с Вайлем дали Довлатову листы с записями курьезов, происшедших на радио… Радостно слушали, как Довлатов, читая, хохотал («ухал», по меткому наблюдению Гениса) — а потом вышел к раскрасневшимся, ожидающим похвал авторам и разнес их за бессмысленную, нецелевую трату смеха.

Но больше всех грехов он ненавидел благополучную банальность, привычку к многозначительным штампам. Издевательски рассказывал об общем знакомом, который многозначительно и медленно изрекал: «Мы с Жанной решили… что у нас в холодильнике… всегда будет для друзей… минеральная вода». Тут он был снайперски меток и беспощаден. На этой ярости и стоит большинство его рассказов.

В то же время он чурался всякой масштабности, плакатности, «общественной значимости». Он начисто исключил из своих интересов все чрезвычайное. Он и шага бы не сделал, чтобы увидеть что-то диковинное в природе или в жизни. Был равнодушен к блистательным историям, которые уже состоялись, как шедевр и не нуждались в рассказчике. Признавал шедевры только своей работы. Избегал героических персонажей, так же как и отъявленных, законченных мерзавцев. «Законченный» — так о

чем тут говорить? Он писал о заурядном — вот тут ему было что делать. На этом фоне мастерство заметней. «Только пошляки боятся середины, — писал он в «Ремесле». — Чаще всего именно на этой территории происходит самое главное».

Но главное, что предстояло сделать Довлатову в Америке, — стать лучшим из местных русских писателей. Пока что круг местных знаменитостей, культивируемых издательствами и прессой, вызывал у него отчаяние. Он не мог уловить секрета успеха, принципа отбора «лучших». Как же ему в эту категорию попасть? Неужели все определяется только политикой, кастовой поддержкой, заговором снобов? Ему не нравился весьма модный в те годы Зиновьев, политический беженец, написавший разоблачительную книжку про русский город Заибанск, а потом ставший крупным политологом. Чтимый в узких кругах славистов Мамлеев, со зловещей медлительностью, свойственной маньякам, рассказывающий о жизни вампиров в советских условиях, вызывал у Сергея тоскливое недоумение. Изысканно-скучную «Палисандрию» Саши Соколова, весьма чтимого в «Ардисе», вернул, едва открыв. Лимонова считал талантливым, но отвратительным. Претил ему и авангардный изыск новых модернистов, в то время как бы очень чтимый на Западе — правда, лишь в узких университетских кругах, по долгу службы обязанных поддерживать «новые веяния» в России. Все не то! Есть ли где-то вообще на земле литературная справедливость — или он из тоталитарного СССР переехал в прекрасно организованный сумасшедший дом? В письме Юлии Губаревой он жалуется:

«<…> Третья проблема — человеческие отношения. Я, например, дружу с Воннегутом, но когда у него было 60-летие, он позвонил и сказал: “Приходи в такой-то ночной клуб к одиннадцати, когда все будут уже пьяные…” Меня позвали как бы с черного хода… Дома мы все воевали с начальством и были дружны, как подпольщики, здесь начальство отсутствует, инерция неутихающей битвы жива, и поэтому все воюют друг с другом. Многие героические диссиденты превратились либо в злобных дураков, как М., либо (как это ни поразительно) в трусов и приживалов из максимовского окружения, либо в резонеров, гримирующихся под Льва Толстого и потешающих Запад своими китайско-сталинскими френчами и революционно-демократическими бородами. Почти все русские здесь рядятся в какую-то театральную мишуру, Шемяка (Михаил Шемякин. — В. П.) украсил себя масонскими железными цапками, спит в сапогах, потому что снимать и одевать их — чистое мучение… Вообще здесь очень много старых песен, вывернутых наизнанку, стойкие антикоммунисты до странности напоминают отставных

полковников в сквере. Кругом бродят герои Ильфа — любимцы Рабиндраната Тагора и отцы русской демократии… Потеряно тоже немало, дома не печатали, а здесь нет аудитории».

Кроме того, что перечислил Довлатов, был еще русский Брайтон-Бич, место разгула бывшего «совка», воплотившего здесь свои нехитрые идеалы. Шапки-пыжики, дубленки, рестораны с коллективным исполнением танцев всеми работниками учреждения… Через несколько лет, когда Советский Союз исчез, — он сохранился лишь здесь, на этом островке затонувшей Атлантиды.

Вот такой читательский круг! Были, правда, и читатели интеллигентные — огромное число кандидатов наук, в основном технических, математических, физических, оказались вместе с Довлатовым в «новой жизни» и были поначалу также растеряны и не очень востребованы. Они воспитывались на прекрасной литературе, столь обильно появившейся в России в семидесятые — восьмидесятые и, по сути, сделавшей новую эпоху. Они привезли в своих чемоданах Искандера, Трифонова, Аксенова, Битова, но, конечно, жаждали своего, здешнего писателя, певца новой, пока еще не очень осознанной ими жизни… Иначе — зачем же они сюда плыли? Где их Гомер? И Довлатов эти их ожидания утолил — поэтому и стал так любим и популярен.

Но сперва ему надо было прорваться сквозь «джунгли безумной жизни» — здешние джунгли были погуще советских и к тому же мало изучены. Несомненно одно — ориентироваться на узкую «фокус-группу» технической интеллигенции с ее изысками он не стал — здесь он должен был стать первым писателем для всех, кто читал по-русски и оказался на этом «островке». Для более мелкой цели ему не стоило эту одиссею затевать. Задача перед Довлатовым стояла нелегкая: сколотить из всей этой пестрой толпы свою аудиторию, писать то, что соединило бы их всех, сплотило бы в радости узнавания себя. Другой аудитории у него тогда не было. Не было пока даже и этой. Но у него здесь был колоссальный шанс, за которым, думаю, он сюда и приехал, сознательно или бессознательно — шанс стать главным, лучшим русским писателем эмиграции. В России, где уже блистало столько новых литературных имен, это было маловероятно. Ценой долгих усилий, останься он в Ленинграде, он мог бы лет через пять войти в десятку лучших, что вряд ли бы его привлекло… а здесь место литературного кумира было свободно. Надо было только его занять. А прежде — осознать, как это сделать.

В некотором роде он стал здесь писать для дикарей, не обремененных никакой прежней культурой. Вернее — рванувших

сюда как раз за тем, чтобы все прежнее оставить. В этот «забытый груз» входили не только портреты Брежнева и Андропова, закрывавшие по праздникам их окна. Заодно хотелось — гулять так гулять! — отбросить все прежние тяготы, включая и школьные уроки литературы, нудные сочинения на тему «Поиски смысла» или «Зов долга», длинные поучительные абзацы с деепричастными оборотами. Это тоже хотелось сбросить как задубевшую кожу — массам нужен был новый, «свой в доску» писатель, вышедший из двоечников, а не учителей. И Довлатов этим «свойским» писателем стал.

Аудитории действительно поначалу не было — «начитались в СССР достаточно, вот где уже сидит!» Все бессознательно или сознательно понимали, что именно благородная, зовущая к сочувствию и пониманию, возвеличивающая бедных и несчастных, великая русская литература и привела к той «справедливости», которой они уже вполне накушались в СССР… хотя классики вроде бы призывали не к этому, но уж здесь они явно ни к чему. Достаточно нас пичкали ими, начиная со школы, — и к чему это привело? Первая гениальная находка Довлатова в том, что он не пошел путем «высокопарно-назидательным», характерным для русской литературы, сразу отверг путь «великого писателя» — всегда, увы, напичканного идеологией, политикой, социальностью, государственностью и, что самое страшное, — знанием того, как спасти человечество. Довлатов сразу же от всех этих «вериг» отказался — и этим сразу же завоевал доверие и симпатию.

В одной из статей о Довлатове я высказал крамольную, но, по-моему, верную мысль — понятия «великий» и «хороший» в писателе несовместимы. Хороший писатель, решив вдруг превратиться в великого, хорошим быть перестает. Великий становится на котурны, примеряет, как в костюмерной, чьи-то рясы, доспехи, тащит трибуну, прикладывает к лицу чьи-то бороды и пенсне, величественно поднимает голову… Хороший писатель свободен от этого всего и пишет лишь то, что чувствует, что волнует его на самом деле. Великого заносит, он пишет то, что, по его мнению, спасет человечество (а на самом деле, может и погубить). Довлатов всяческие котурны сразу отбросил — поэтому он навсегда среди нас, а не в облаках.

«…Я тут зашел в книжную лавку Мартьянова и попросил Довлатова и Уфлянда. Старик Мартьянов бодро закивал. И вынес мне Алданова и Кюхлю. В жизни всегда есть место комплексам».

Гениальным ходом, конечно, было открытие газеты «Новый американец». Замечательные статьи Довлатова в ней сразу сделали его первым — он попал «в настрой» новой волны

эмигрантов из России, в тот тон разговора, которым они говорили до отъезда и продолжали говорить тут. Довлатову ли его не знать? В этом тоне написаны и его книги. И когда он начал их выпускать, все прежние надутые кумиры стали лопаться, как мыльные пузыри.

Мало быть просто хорошим писателем — еще лучше попасть в какое-нибудь «течение». И Довлатов в отличие от многих в такое «течение» попал. В те годы (сейчас в это трудно поверить) главной темой интеллигентских разговоров был отъезд. Об этом говорили и думали все — примерно как в тридцатые годы о спасении челюскинцев. Многие из уехавших томились: ну вот, уехали — и что тут получили, не считая колбасы, которой и в России теперь навалом? Для «людей духа» это был больной вопрос — ведь не за дубленками же они приехали сюда. И вот теперь они могли радостно воскликнуть — их переезд был оправдан: «Довлатов! Довлатова мы здесь получили! А там бы он загнулся наверняка!» Атак все, оказывается, было сделано ими правильно. Довлатов оказался главным героем для всех уехавших, их идолом, их Орфеем, воспевшим и прославившим их рискованное путешествие. С ним их жизнь обрела смысл, даруемый лишь литературой, — за что на него и обрушилась массовая любовь. А потом, поскольку ветер в те годы явно «дул с запада», что было вполне оправдано, Довлатов стал кумиром и оставшихся на родине.

Александр Генис утверждал:

«Довлатов всегда стремился именно к этому — обрести массового читателя. Он был искренне убежден, что пишет книги для всех, что только такие книги и стоит писать. Довлатов не доверял эзотерическому творчеству, морщился, встречая заумь, невнятицу, темное многословие в чужом тексте. Сам Сергей жестоко высмеивал интеллектуальный снобизм, писал предельно просто».

Проза Довлатова действительно образец той «массовой культуры», которую так часто и неоправданно презирают в России — и именно поэтому «хавают» вместо нее нечто совсем уж невообразимое, не имеющее отношения ни к культуре, ни к массам.

И теперь я подхожу к самому главному, что надо сказать — но язык не поворачивается. Этот подвиг «литературного Геракла», совершенный Довлатовым, может поразить, и даже вызвать протесты… Он отбросил вообще всю литературу, которая была до него — да и при нем! Зачем входить в уже известную реку — только воду мутить! Отбросил не только советскую литературу, но и классическую — с ее многозначительными пейзажами,

глубокомысленными пышными абзацами, рассуждениями о судьбах человечества, ходе истории… Сгрузил! Не повез!

Эта старая мебель сделала бы его груз неподъемным — и он решился все это выбросить. Все «духовные и художественные ценности», которыми нас достали еще в школе, тщетно искать в сочинениях Довлатова. Он начал с чистого листа — никаких «застарелых пятен». Знатоки отмечают у Довлатова вовсе не те достоинства, за которые обычно хвалят русского писателя, — минимализм, краткость, дисциплину. Одобряют то, что он упразднил даже синтаксис. Избегал, как уже известно, прилагательных, не говоря уже о причастных, а тем более деепричастных оборотах. Хватит! Не в советской школе! Вырвались, слава богу! За это даруемое им чувство облегчения, свободы от многовековых догм — «гора с плеч!», — Довлатов так любим. Что-то подобное, помню, смеясь, рассказывала Марина Рачко, жена Игоря Ефимова, после обсуждения ее стихов: «Наш руководитель сказал: твои стихи любят за низкий моральный уровень!»

То, что Довлатов всегда ставит своих непутевых героев ниже читателя, и по морали, и по удачливости, и что изображаемый им автор тоже всегда попадает впросак и в прогар, сразу же привлекает к нему симпатии и любовь читателей. Иванушка-дурачок — всегда наш любимый герой.

Даже обычно насмешливый и высокомерный Александр Генис восторженно принял Довлатова:

«Впервые прочитав его, я сразу понял, что наконец-то у нас появился писатель, о котором я мечтал. В то время (в особенности по сравнению с нашим) русская литература была довольно богата, но ей явно не хватало легкого веселого голоса, который был моментально узнаваем со страниц книги Довлатова "Невидимая книга”».

Пожалуй, самый точный и проницательный комплимент: «Его достоинство в том, что он собственным стилем не обладает». Но достигнуть этой «незримости стиля» не так просто и легко. Невозможно, кажется, соскрести все ракушки псевдокультуры (к этому понятию Довлатов относил почти все). Так и лезут в строку «крупные мысли», многословные излияния, имеющие вид глубокомыслия, звенят в ушах залетевшие еще со школы звонкие фразы, которые так и хочется повторять. Очистить борт от ракушек — большая работа: ракушки попадаются красивые и даже роскошные — сразу «культурные люди» оценят и начнут хвалить… Нелегко избавиться от всех знакомых и уже апробированных штампов, особенно «высокоинтеллектуальных», или, скажем, «объединяющих всех людей доброй воли!» Примут

на ура! Сколь сил и мужества ушло у Довлатова на освобождение от всего этого — он пробился через обвинения в легковесности, в отсутствии «задач современности» и т. д. И он своего достиг. Специально чтобы отрешиться от постороннего шума, сосредоточивался лишь на словах, придумывал занятия с ними, например — начинать все слова во фразе с разных букв. Сосредоточившись на этом, пропускал все лишнее мимо ушей, мимо своей совершеннейшей прозы.

Довлатов «поставил на уши» всю традиционную критику — привычные расхожие похвалы для него никак не годились и могли даже оскорбить. В неумении расчленить и проанализировать Довлатова признается даже Александр Генис, вообще-то к рефлексии не склонный: «Мука для критика — округлая ладность довлатовской прозы. Ее можно понять — но не объяснить. Чем сложнее автор, тем легче его толковать. На непонятных фразах легче разгуляться. Зато простота — неприступна».

Неприступна потому, что негде прицепиться и, прицепившись, начать рассуждать о всяческих «из-мах», лакунах, вторых смыслах, доступных лишь посвященным (к коим неизменно причисляют себя критики, уверенно ставя себя не только выше читателей, но и выше автора). С Довлатовым этот номер не проходит. Добавлять к нему что-то — все равно что одевать Аполлона. Тут все «прилипалы», зарабатывающие на писателях, отлипают. Поэтому и я обрываю свои несовершенные рассуждения, попытки «расщепить» и объяснить совершенства довлатовского стиля. Казалось бы, чистая, без примесей вода есть самое натуральное и самое распространенное ее состояние. Ан нет — самое редкое. И достигаемое с наибольшим трудом!

Как правильно сказал Пушкин, с которым у Довлатова действительно есть кое-что общее, прежде всего — легкость и видимая простота: «Первый признак ума есть просторечие!» И это в огромной степени относится к Довлатову. Помню, когда я дал почитать Довлатова дачному соседу, плотнику Виталию, он сказал: «Как легко читается!» Но «обтесывать» такой текст надо долго — это всякий мастер понимает. Вот «рецепт», угаданный Генисом: «В его предложении слова крутятся до тех пор, пока они с чуть слышным щелчком не встают на свое место. Зато их потом оттуда уже не вытрясешь». Слава богу, никакими буфетами и «славянскими шкафами» Довлатов свою прозу не загромоздил. Правильно отмечают, что его программный рассказ — «Лишний», о безумном таллинском журналисте, который предпочел карьере удар ногой по мещанскому подносу с рюмками. Суть — ненависть не просто к советскому, но и ко всему устоявшемуся, заплывшему

жиром, самодовольному. Любой шикарный литературный стиль, любое «веяние», в том числе и благородное — уже пижонство, снобизм, несвобода. Довлатов воспринимал это мучительно и бежал как от чумы. Он и уехал, сбежал от всех «измов», в том числе и прогрессивно-либеральных, которыми бы его обязательно «нагрузили» на Родине — и только здесь, на американском «необитаемом острове», он стал свободен, как Робинзон Крузо, и мог делать свое. Его называют беспринципным — в действительности у него были свои жесточайшие принципы, но отнюдь не те, что приняты среди «широких писательских масс». Он — отдельный. Все у нас — и русская классика, и советская литература, и последующая — все стояло на традиционных «моральных устоях». Но — не Довлатов! Поэтому, надо признать, что на русской березе рассказы Довлатова не выросли бы никогда, ни при какой политической погоде. Потребовалась Америка, с совсем иной литературной шкалой.

О литературном стиле Довлатова точнее всего, может быть, сказал проницательный Бродский:

«Сережа был прежде всего замечательным стилистом. Рассказы его держатся более всего на ритме фразы, на каденции авторской речи. Они написаны как стихотворения: сюжет в них имеет значение второстепенное, он только повод для речи. Это скорее пение, чем повествование… Жизнь превращается действительно в соло на ундервуде, ибо рано или поздно человек в писателе впадает в зависимость от писателя в человеке, не от сюжета, а стиля».

Вот цитата из довлатовских «Наших»:

«— Наш мир абсурден, — говорю я своей жене, — и враги человека — домашние его!

Моя жена сердится, хотя я произношу это в шутку.

В ответ я слышу:

— Твои враги — это дешевый портвейн и крашеные блондинки!

— Значит, — говорю, — я истинный христианин. Ибо Христос учил нас любить врагов своих…

Эти разговоры продолжаются двадцать лет. Без малого двадцать лет…»

Вчитайтесь в это не спеша, с удовольствием, и вас начнет сладко укачивать равномерный, неторопливый ритм. Проза редко так воздействует на читателя. Я перепечатывал эту цитату поздно вечером, уже усталый. Прочитал цитату в компьютере… Что-то не то, какая-то неправильность, негармоничность. Глянул в книгу: чутье не обмануло… Вместо «моя жена» напечатал просто «жена» — и отрывок как-то «сдулся». Поправил. Перечитал еще. Опять

что-то зацепило, уже в конце. Ну и Довлатов! Каждую букву чувствует! Долго вглядывался — и нашел! У Довлатова: «Говорю — я истинный христианин», а я напечатал: «Говорю я, — я истинный христианин». Два «я» подряд! У Довлатова такой ляпсус невозможен. Главное обаяние его прозы — абсолютная музыкальность — глубоко скрытая тайна всеобщей к нему любви.

* * *

Наиболее полно и глубоко исследовал довлатовский стиль его друг Андрей Арьев:

«… Интересовало Довлатова в первую очередь разнообразие самых простых ситуаций и самых простых людей… Вслед за Чеховым он мог бы сказать: “Черт бы побрал всех великих мира всего со всей их великой философией!”… В литературе Довлатов существует так же, как гениальный актер на сцене, — вытягивает любую провальную роль. Сюжеты, мимо которых проходят титаны мысли, превращаются им в перл создания. Стиль Довлатова — “театрализованный реализм”… Довлатов создал “театр одного рассказчика”».

В чем состоит главное читательское счастье при чтении Довлатова? Сам он назвал это «счастьем внезапного освобождения речи». И не только речи, а души — от обязательных, но уже измучивших тебя оков и вериг. Я бы сказал, что это — гибельное освобождение, что особенно впечатляет читателя. Когда герой моего любимого рассказа «Офицерский ремень» рядовой Чурилин вместо необходимых оправданий на суде вдруг произносит то, что ему хочется: «Да что тут рассказывать… Могу и тебя пощекотить!» — его ждет за это дисциплинарный батальон. Но душа наша взлетает радостно вместе с его душой: «И мы так хотим — и вот мечта наша исполнилась!»… хоть и не в нашей жизни. Мало кто решается на такую свободу — и из героев, и из писателей. Довлатов — одиночка, «один в поле воин», поэтому так и заметен.

Но это вовсе не значит, что и в практической деятельности Довлатов был одинок. Созданием своей «гвардии» он занимался усиленно. У этого Робинзона Крузо было, как минимум, «семь Пятниц». Помимо верных Вайля и Гениса, которые, мерясь с ним, выросли в самостоятельных писателей, в «гвардии» состоял любящий и преданный, хоть и не слишком практичный Гриша Поляк, хозяин маленького издательства «Серебряный век», очень много сделавший для Довлатова и при жизни, и после. Он был еще и просто приятель-сосед, необходимый даже такому

уникальному типу, как Довлатов, — они с Гришей в редкие минуты отдыха любили прогуливаться возле дома. Главные книги Довлатова были сделаны и изданы с помощью Игоря Ефимова в его издательстве «Эрмитаж» — и без этой помощи еще неизвестно, что бы с ним стало.

Опираясь на лучшее, что осталось «там», и нередко вспоминая своих ленинградских наставников и коллег, Довлатов, конечно, больше думал о «здесь». Тут, в Нью-Йорке, его действительно ждала прорва работы, надо было «протолкаться» на достойное место, разобраться в хаосе и все выстроить в нужном порядке. Здесь Довлатова интересовали друзья только полезные, а бесполезные, ставшие героями его книг, слава богу, остались за кордоном. Здесь его больше интересовали отношения с Бродским — и тот, конечно, был главным, хоть и недосягаемым примером. И не только в мастерстве владения пером. Бродский, «в багрец и золото одетая лиса» (по определению старого друга Рейна), показал блистательный пример делания новой карьеры на новом месте. Конечно, и старый груз пригодился… но где были бы и Бродский, и Довлатов, понадеявшись в Америке лишь на славу политических изгоев! Это лишь старт — а вот теперь надо уже грести по-настоящему. Пора уже не об «империи зла» кудахтать, а навести уже свои порядки тут, где возможности гораздо больше, и упустить их — настоящая глупость. Известно, что очень мало внимания уделяя «проклятому социалистическому прошлому» — какой теперь в этом смысл? — Бродский уйму сил потратил на установление своей «диктатуры» на новом месте. В гостях у него все, кто вообще удостаивался такой чести, сидели за столом строго по рангам, а наверху — он. Он сразу повел себя как нобелиат — и стал им. Многих (в том числе и меня) он поразил в самое сердце историей с Василием Аксеновым, которого он сразу после появления его на Западе тут же пристроил на «самую нижнюю полку», используя все свое уже немалое влияние. А Аксенов так любил его! Помню, растроганно рассказывал, как приходил к родителям Бродского в дни его рождения… И — вот так! Нечего на Олимпе толкучку устраивать!

Конечно же, Бродский работал в основном на себя и «сработал» что надо… и в то же время именно он помог Довлатову по максимуму — «навел» на него отличную переводчицу Энн Фридман, с которой Довлатов отлично сошелся (смысл этого слова довольно широк). Бродский привел к Довлатову и крупного литературного агента Вейдле, который занимался лишь «звездами» ранга Беккета и Салмана Рушди и сделал из Довлатова почти такую же звезду. В «семерку», я думаю, мы не уложимся — много сделали для Довлатова и Лев

Лосев, поэт и профессор (он же бывший друг по журналу «Костер» Леша Лифшиц), и переселившаяся из Ленинграда в Бостон бесценная Люда Штерн, героиня их «почтового романа». Даже Соловьев и Клепикова при всей их озлобленности тоже работали на него, сами того не желая.

Василий Павлович Аксенов, самый любимый тогда русским читателем, казалось бы, и должен занять трон первого русского писателя на Западе. Уехал он из России во славе… но здесь как-то потерялся, сменил тему, стал несколько суетливо «писать для Запада». Однако здешних «дегустаторов» в русских писателях интересовало совсем другое — и Аксенов вроде как сам добровольно уступил трон… или виной тому был «тычок» Бродского? Запад как-то странно и неожиданно все переиграл по-своему: признанный и знаменитый Аксенов ехал в Америку за лаврами — и «пролетел». Довлатов ехал с чувством крушения, беды, ненужности — и стал интересен и любим.

К Аксенову Довлатов, хоть и оценивал его книги невысоко, относился с симпатией. Все-таки наш человек… и даже в том, как он промахнулся тут, есть что-то симпатичное, человеческое. Значительно более пристрастным было его отношение к «идолам эмиграции, тупым и надменным, как партийные вожди». Этих уже не столкнешь! Поругивал он даже уважаемого им Солженицына — ведь тот навсегда, казалось, закрыл лагерную тему, в то время как именно здесь Довлатов планировал свой успех. Но все к лучшему: Солженицын, даже не зная об этом, «вытеснил» Довлатова с широкой дороги на его правильный, никем до него не пройденный, путь. С Солженицыным, ясное дело, «бодаться» Довлатов не стал, себе дороже, и даже посылал ему свои книги с почтительной надписью. Но сразу же дистанцировался от него в литературном отношении — и правильно сделал. В России он вряд ли мог пробиться наверх (я имею в виду вовсе не советскую, а неофициальную, самиздатскую литературу) — а тут у Довлатова явно был шанс стать «первым парнем на Ньюйоркшине».

Много сил и таланта он потратил на то, чтобы в письмах и статьях словно бы «невзначай» выстроить всех писателей по ранжиру. Ни в грош не ставил эмигрантскую «самодеятельность», прославившуюся в местных «многотиражках». Считал, например, никем довольно популярного среди эмигрантов одесского литератора Аркадия Львова. Довлатов чтил только писателей настоящей, суровой литературной школы, которых в эмиграции тоже было немало. При всех издержках там были серьезные издательства и сильная литература, и Довлатов отлично в этом ориентировался. В письмах он сокрушался, что никто из

уважаемых им серьезных русских писателей не оказался в Нью-Йорке: Владимов и Войнович— в Германии, Максимов, Некрасов и Синявский — в Париже. На самом деле, я думаю, нью-йоркское «безлюдье» было ему по нраву. Быть главным «посланником» русской литературы в Нью-Йорке, — должность почетная уже сама по себе. Не думаю, что он, находясь в Ленинграде, даже в случае благополучно сложившейся судьбы, мог называть даже про себя Владимова, автора нашумевших «Трех минут молчания» и «Верного Руслана», запросто и непринужденно Жорой, а Максимова — Володей. Тут, с высоты нью-йоркских небоскребов он делал это как-то естественно, невзначай — и слегка даже поучающе…

В письмах весьма чтимому им Израилю Меггеру он «дружески» советует ему написать «искреннюю исповедь». Непринужденно оказывается он «на дружеской ноге» и с Владимовым, хотя еще несколько лет назад представить их «в одном весе» было просто невозможно. С присущей ему виртуозностью Довлатов находит «мостик»… когда-то давно, в Комарове под Ленинградом, на даче у Черкасовых, он познакомился с прелестной девушкой Натальей Кузнецовой, врезавшейся ему в память навсегда… И вот теперь она оказалась женой Владимова: «Может быть, она помнит печального мальчика на даче у Черкасова?» И место хорошее для знакомства — не в подворотне ведь какой-нибудь.

И дальше — получив, правда, уже от Владимова вполне положительную оценку его творчества, — пишет ему уже вполне непринужденно и даже грубовато, на правах старинного друга семьи: «“Руслана” своего вы просрали!»

Дальше он пишет уже напрямую Наталье, как старый верный друг:

«Милая Наташа! Мужья всегда заняты — поэтому я тревожу Вас!

Георгий Николаевич всем очень понравился… Но он уже проворонил “Руслана”. Проворонит и все. Сейчас американские журналы пишут о русских на западе, составляя стандартную обойму, начиная список с обязательных фамилий — Солженицын, Бродский, далее, почти неизменно — Войнович, Аксенов, блуждающие, но все же часто упоминаемые Синявский, Максимов, и наконец, за последние годы прибавились мы с Лимоновым, реже — Мамлеев, Алешковский и Соколов.

Вам (Владимову) нужно сюда приехать хотя бы на 2 недели, обзавестись литагентом и адекватным переводчиком. Чтобы эта поездка не была разорительной, надо выступить в 3–4 городах…»

После чего четко ориентирует Владимова в нью-йоркской

издательской жизни:

«Среди других издателей Ефимов выделяется своим демократизмом (на фоне “Ардиса”), своей порядочностью (на фоне “Руссики”), своей интеллигентностью (на фоне Габи Валка), и своей ответственностью (на фоне “Серебряного века”)… Просьба от Ефимова — не печатать “Чемодан” как книгу — только россыпью…»

Здесь имеется в виду публикация Довлатова в «Гранях». Когда Владимова, хоть и ненадолго, делают главным редактором этого журнала, Довлатов чувствует себя на этом плацдарме уже вполне уверенно: рекомендует Владимову «способных рижан» Вайля и Гениса, а также Ефимова, Людмилу Штерн, Парамонова, профессора Сермана — и даже Шарымову, хотя и имеет с ней конфликты в газете. «Шарымову привлечь стоит, она умеет доставать мировых знаменитостей… взяла бы интервью у Милоша Формана, Вуди Аллена. Уверен, что она и до Сола Беллоу может добраться!» Не забывает и о себе: «Ефимов сказал мне, что “Грани” планируют создать раздел коротких рецензий. Я написал для “Свободы” сотни таких». Из других русских писателей, живущих в Америке, упоминает лишь вскользь «теперешнего поскучневшего Солженицына». Он отлично «чует лес» — не зря друзья с детства называли его Серым.

«Беспринципный», но осмотрительный Довлатов «видел поле» очень хорошо. Он не забыл — и оценил — и покинутый российский берег. Литературных кумиров в Ленинграде у него не осталось, но людей уважаемых, научивших его достоинству, стойкости, трезвому взгляду он очень ценил и отблагодарил. Он всегда помнил своего «первого учителя» Давида Яковлевича Дара, мужа Веры Пановой, с которой ему потом пришлось развестись, — «ворчливого гнома» с неизменной трубкой во рту, «выпыхивающего» вместе с вонючим дымом точные и безжалостные литературные оценки. Когда Довлатов «стал подниматься», до него начали доходить злобные «фырканья» Дара и даже призывы его, Довлатова, избить за то высокомерие, с которым он отзывался в прессе о бывших своих соучениках, например Губине и Шигашове, — значительно более талантливых, по словам Дара, чем Довлатов, но не обладавших его «армянско-еврейским темпераментом». Оправдываясь, Довлатов вступил с Даром в переписку. Он понимал, что самую точную оценку своих творений он получит именно от него и других старых питерских интеллигентов. Гордясь своей принципиальностью и уважением к старшим, Довлатов сам приводил безжалостную оценку Даром своего романа (правильно, кстати, не напечатанного) «Пять углов»:

«Что же касается моего ненаписанного романа — то, во-первых, он написан, во-вторых, настолько плохо, что я даже удивился, перечитывая эти 650 страниц. Действительно — роман “Пять углов” я написал еще в Союзе и с невероятными трудностями переправил в Америку. Когда-то хорошо сказал о нем вздорный и чудесный человек Дар: “Как Вы умудрились написать роман одновременно страшно претенциозный и в то же время невероятно скучный?” Действительно — все испорчено на химическом уровне. Роман мне не написать, как бы я этого ни желал… Как и Чехову, который пожертвовал своим здоровьем и жизнью, ради романа поехав на Сахалин, но так романа и не создал».

Чтил и благодарил Сергей и другого своего литературного… нет, не учителя — наставника из Ленинграда, у которого он недолго занимался в объединении при «Советском писателе», — замечательного Израиля Моисеевича Меттера. Чувствуя, что будущая слава его — в России, он не порывал с тем берегом, отправляя туда нежные и проникновенные письма.

Колоссальной его удачей на пути к популярности оказывается работа на радиостанции «Свобода» — с его приходом станция обрела «наш» голос, «нашу» интонацию.

«Свободу» Довлатов ценил: «Звук сохраняет то, что теряет письмо». Здесь он участвовал в весьма популярной передаче о культуре — «Поверх барьеров», а также вел собственную авторскую программу. Передачи его были так же внешне просты и незатейливы, как его рассказы: обходясь без политических и философских нагромождений, они показывали жизнь гораздо точней, чем всякого рода воззвания и манифесты политиков. Помню его передачу о ремонте купленного им ранчо в Катскиллских горах. «В Советском Союзе, — рассказывал он, — я стал бы выпендриваться, искать плотников и маляров, тратиться — а в Америке, где почетен всякий труд, я купил пилу, молоток, гвозди и сам все с удовольствием починил». Магнетический его голос звучал во многих ленинградских — и не только ленинградских квартирах. Старый школьный друг Дмитрий Дмитриев, давно потеряв его из вида, в экспедиции на Тянь-Шане вдруг узнал в приемнике голос Довлатова, был очарован, восхищен и с тех пор слушал его передачи регулярно. Аж до Тянь-Шаня достал! Благодаря «Свободе» Довлатов стал популярнее у нас, чем все писатели, живущие в России. Поэтому, когда он «вернулся» к нам своими книгами — он был уже всем близкий, свой… Не раз я слышал в разговоре знакомых из самых разных слоев фразу: «Вчера Серега рассказал…» Фамилию можно было уже не спрашивать — все и так было ясно.

Хотя ничто, увы, не проходит бескровно. Поскольку скрипты передач нужно было писать регулярно, он страдал, когда бесценный материал, который мог бы стать отличным рассказом, «улетал» в эфир. «Пишу рассказы — а потом специально порчу их для радио!» — жаловался он друзьям. Главные сочинения он писал по своему чутью, а здесь должен был их подгонять под разные шаблоны, испытывая постоянное давление с разных сторон, — его обвиняли в русофильстве и тут же в русофобстве. Он переживал, что Вайль и Генис давно уже в штате радиостанции — а его все «шпыняют», не доверяют, держат на кабальной «договорной» основе…Да, тяжело человеку свободному в разгороженном пространстве! Не пройти, не разбив лица! Популярность тоже требует крови — но только так и дается слава.

Довлатов оказался гениальным мастером пиара, хотя тогда это слово было нам незнакомо (да и в Америке только обретало права). Как красиво он, например, подает свое знакомство с переводчицей: «Очаровательная Анн Фридман повергла меня в любовь и запой». Даже запой пригодился для создания неповторимого образа!

И еще один непревзойденный пиаровский ход: «Дело осложнялось тем, что “Зона” приходила частями. Перед отъездом я сфотографировал рукопись на микропленку. Куски ее мой душеприказчик раздал нескольким отважным француженкам. Им удалось провести мои сочинения через таможенные кордоны. Оригинал находится в Союзе. В течение нескольких лет я получаю крошечные бандероли из Франции. Пытаюсь составить из отдельных кусочков единое целое. Местами пленка испорчена (уж не знаю, где ее прятали мои благодетельницы)».

У кого не возникнет интерес к этому сочинению после столь пикантного способа его транспортировки? Заодно этим оправдывается некоторая рваность текста.

Преодолев полосу дискомфорта, неизбежную для любого «неместного», Довлатов постепенно разбирается в американской литературной жизни, вписывается в нее — и оценивает восторженно: «На семь моих книжек по-русски — в нашей прессе четыре с половиной рецензии, но один мой «Компромисс» на английском — 30 американских рецензий! Русские не платили, да еще пытались уязвить. А американцы платят по 5 тысяч долларов за рассказ, конкретно и доброжелательно».

Действительно, лишь Довлатов удостоился одобрительных рецензий не в эмигрантских, а в настоящих американских журналах. Он один собрал больше, чем все остальные русские за рубежом (исключая, разумеется, Солженицына и Бродского) рецензий в прессе, в том числе и в американской, и почти все эти

рецензии — восторженные:

«…Большинство читателей будут читать его как можно медленней, чтобы отсрочить ужасный момент прощания с этой прозой».

«…Сборник Довлатова заставляет вспомнить фильмы Бастера Китона — герой проходит через ужасные происшествия с абсолютно бесстрастным лицом».

«Щемящий юмор достигается продуманным соотнесением простых предложений. Стереотипные славянские крайности замечательным образом отсутствуют».

«…Можно только надеяться, что он продолжает одеваться так же плохо и писать столь же чудесные рассказы».

И вершина его карьеры — публикация его рассказов в престижнейшем «Ньюйоркере». Так высоко не поднимался здесь ни один русский писатель… да и из американских далеко не все удостаивались такой чести. Недаром ему «завидовал» сам Курт Воннегут! Из письма Довлатова И. Меггеру:

«…А теперь — когда мне, извините, случилось запить в Лиссабоне, то меня купали в душе и контрабандой сажали в самолет два нобелевских лауреата — Чеслав Милош и Бродский. При этом Милош повторял: “Я сам люблю выпить, но тебе уже хватит”».

Постепенно Довлатов становится самым знаменитым русским прозаиком эмиграции. И хотя хитрый Довлатов стремился в любой компании представиться непутевым Шурой Балагановым — «чеканный профиль командора» проступает все четче.

Глава семнадцатая. Новый компромисс

Еще один из нью-йоркских подвигов Довлатова — открытие в Нью-Йорке параллельной (а точнее — перпендикулярной) русской газеты. Елена Довлатова вспоминает:

«Естественным образом появилась газета — “Новый американец”. Президентом газеты стал Борис Меттер (журналист, племянник Израиля Моисеевича Меттера. Главным редактором газеты сделался Довлатов. — В. П.). Возникла определенная конфронтация между ежедневным “Русским словом” и еженедельным “Новым американцем”».

В отличие от «Нового русского слова», устоявшегося уже давно и, можно сказать, — застоявшегося, никак не соответствующего настрою остроумных вольнодумцев, понаехавших из российских столиц, Довлатов в своих постоянных заметках в «Новом американце», в рубрике, называемой «речь без повода, или колонки редактора», сразу находит нужный тон, на лету ловит то, что в действительности «новые американцы» испытывают на новой земле, — и сразу становится для них своим:

«Советское государство — не лучшее место на земле. И много там было ужасного. Однако было и такое, чего мы вовек не забудем. Режьте меня, четвертуйте, но спички были лучше здешних. Это для начала. Продолжим. Милиция в Ленинграде действовала оперативней. Я не говорю про диссидентов. Про зловещие акции КГБ. Я говорю о рядовых нормальных милиционерах. И о рядовых нормальных хулиганах… Если крикнуть на московской улице «Помогите!» — толпа сбежится. А тут — проходят мимо. Там в автобусе места старикам уступали. А здесь — никогда. Ни при каких обстоятельствах. И надо сказать, мы к этому быстро привыкли. В общем, много было хорошего. Помогали друг другу как-то охотнее. И в драку лезли, не боясь последствий. И с последней десяткой расставались без мучительных колебаний. Не мне ругать Америку. Я и уцелел-то лишь благодаря эмиграции. И все больше люблю эту страну Что не мешает, я думаю, любить покинутую Родину…»

Точнее многих других написал о тоне газеты, установленном Довлатовым, Александр Генис — вместе с другом Петей они, естественно, сразу же стали Довлатову «правой и левой рукой»:

«Мы говорили на языке дружеского фамильярного общения. Этот язык, кстати, совершенно не освоен русской прессой. В советское время газетный язык был сугубо официозен. Самое занятное, что американская пресса, которая отрицала всякий официоз, изъяснялась точно так же, только с антисоветскими

обертонами».

Интересно, что Довлатова в газете интересовала исключительно ее форма, а вовсе не содержание. В этом он был совершенно прав, потому что тогда важно было не то мы говорим, а как мы говорим. На всех планерках Сережа без конца повторял, что будет судить лишь о стиле, но не о содержании статей. Именно он целенаправленно создавал этот чистый, ясный язык, в котором был юмор, обаяние дружеской беседы. Но не было никакой вульгарности, никакого стеба, который завладел постсоветской прессой. Конечно, именно благодаря этому языку мы пользовались огромной популярностью среди читателей. Они впервые убедились, что газета может говорить по-русски нормально.

А поскольку лучше других владел этим Сергей Довлатов — то, естественно, слава и любовь новой эмиграции досталась ему. Теперь уже он был известен всем, находился в центре внимания… Старая эмигрантская пресса, естественно, сразу зачислила его во враги. Маячили и другие проблемы… Нелегко было устроителям газеты, выросшим в СССР, привыкшим к тому, что любая газета, как и любое дело, сразу снабжается всем, включая идеологию, самостоятельно выходить на сквозняк, в пустоту, где абсолютно никто не помогал им, а скорее — наоборот. Однако — они «попали в жилу», и даже, как неожиданно оказалось, в новую социокультурную программу Соединенных Штатов.

«В общем, — сообщает Довлатов в “Ремесле”, — дело пошло. Мы получили банковскую ссуду — 12 тысяч долларов. Что явилось причиной немыслимых слухов. Относительно того, что нас субсидирует КГБ. Мы все радовались. Мы говорили: “Это хорошо, что нас считают агентами КГБ. Это укрепляет нашу финансовую репутацию. Пусть думают, что мы богачи…”»

Язвительный Генис, который, как и Довлатов, тоже порой сгущал обстоятельства «ради красного словца», написал, будто редакция существовала в столь стесненных условиях, что летучки приходилось проводить в туалете. Однако фотографии показывают нам вполне просторный и светлый американский лофт, где за столом вполне приличные и умственно полноценные люди.

Елена Довлатова, которая тоже работала в «Новом американце», пишет:

«Создатели газеты, и Довлатов в том числе, стали очень известными личностями в мире русской эмиграции. Естественно, это было наиболее ярко выражено в Нью-Йорке, потому что газета выходила именно здесь. Но “Новый американец” распространялся и по другим штатам и городам, у него были подписчики в самых

разных местах. При этом сотрудники газеты тоже ездили по стране, как звезды. Их действительно узнавали, знали и любили, может быть, благодаря особой тональности этой газеты. От этой газеты ждали не сухой информативности, а разговора с читателем — и это для нас было внове».

Однако дело это погибло. Как всегда — не из-за недостатков идеи, а из-за несовершенства, увы, исполнителей. Ко всеобщему удивлению, оказалось вдруг, что люди здесь, даже обуреваемые самыми лучшими идеями, порвавшие с проклятым советским прошлым, вовсе не порвали с прежними своими личными недостатками, напротив, почему-то решили, что как раз здесь и можно дать им волю. Те моральные и аморальные ужасы, с которыми Сергей столкнулся в «Новом американце», многократно превзошли, по его отзывам, все то, что он пережил в Таллине. Этот «компромисс» оказался похуже прежнего. «Газета пачкает руки», — как с удивлением говорил мой тесть, который, выйдя на пенсию, пошел работать в киоск и вечерами долго не мог отмыть свои ладони.

Вдруг неожиданно (или ожиданно) стало проясняться, что основная суть жизни не так уж зависит от политической системы — и там, и тут миром правит глупость, хамство, безвкусица. И это «море глупости» все больше захлестывает крохотный остров «Нового американца» — отзывами «простых читателей», все более шаблонными и тупыми указаниями руководства — в данном случае хозяина газеты. И «Новое русское слово», над которым Довлатов блистательно издевался и которое было, конечно же, «на два этажа ниже» «Нового американца», оказалось гораздо ближе и родней широким читательским массам… А круг читателей газет намного шире, чем читателей книг, значит — и средний уровень их ниже. Чем ниже берешь — тем популярней будешь! Этот закон победил сейчас и у нас — и не только в журналистике, но и в литературе. Довлатова это, конечно, убивало. Ехал, ехал и вот — приехал! Прав, оказывается, Есенин, назвавший свои очерки о Нью-Йорке «Железный Миргород». С «нарастанием неустанной заботы руководства» о «генеральной линии» приходилось идти все на более и более позорные компромиссы с собственными убеждениями, а главное — вкусами. На смену опостылевшей, но с детства привычной и понятной советской идеологии хозяин газеты стал вдруг усиленно насаждать идеологию сионизма, что для наших людей, выросших атеистами, казалось совсем уже неприемлемо и стыдно. Несколько раз через силу Довлатов поставил свою подпись под подобными материалами — но такой «компромисс» вызывал у него не меньше протеста, чем предыдущий. Так мы

скоро дойдем до лозунга «еврейское — значит, отличное!» — пародируя советские лозунги и мучась новыми, заметил он.

К тому же появились и неизбежные экономические трудности, которые и привели, в конце концов, к краху газеты. Вся эта история описана Довлатовым в «Ремесле» — как обычно, в совершенно фантастическом преломлении. Герои повести Мокер, Баскин и Дроздов весьма отдаленно напоминают реальных сотрудников «Нового американца» — Бориса Меттера, Евгения Рубина и Алексея Орлова, — а верным Вайлю и Генису в произведении вообще не нашлось места. Нина Аловерт, тоже работавшая в «Новом американце», оценивает ситуацию, думаю, более объективно:

«Конечно, никто в редакции не умел вести финансовые дела. Даже наш финансовый директор Боря Меттер ничего не понимал в американском бизнесе, так я думаю теперь. Последний конфликт, который привел к распаду “ Нового американца”, был связан, насколько я понимаю, с финансовым недоразумением. Боря не знал, куда ушли деньги. Конечно, никто их не присваивал. Просто законы американского финансирования были всем нам совершенно неизвестны».

Однако Сергей уже четко расписал роли в новой, на сей раз «Американской трагедии», и остановить его было невозможно. Все уже нарисовалось в его новом катастрофическом (такие он только и признавал) сюжете: Вайль внешне приятный, но неискренний, Генис — искренний, но неприятный… И это только про его ближайших друзей… об остальных даже страшно подумать! По свидетельствам самых благожелательных очевидцев, именно он был и сценаристом, и режиссером многих газетных склок и упивался ими, как самым ценным, что только может быть. Он сам создавал конфликты и, как опытный «разводила», гневно вставал на защиту им же попранных прав. «И это сгодится!» — отсчитывал его безжалостный счетчик. Довлатов в «Ремесле» приканчивает уже ненавистную ему газету реальным пожаром. На самом деле пожара не было — газету сжег огонь, который бушевал в людях изнутри и никаким брандспойтам был не подвластен. И конечно же — главным «поджигателем» был Довлатов. Он же стал и основным погорельцем. Будь он другим человеком — он мог бы вполне комфортно, и особенно «не поступаясь принципами», работать до сих пор и в газете «За кадры верфям», и в «Советской Эстонии», и даже в «присмиревшем» «Новом американце»… но что бы мы тогда имели вместо Довлатова? А ему был нужен «пожар» — и там и тут! Без пожара жизнь недостаточно ярка! И Довлатов с болью переживает теперь нью-йоркский «компромисс»:

«Дело в том, что мне жутко опротивело все связанное с газетой. Ситуация такова. Нами правит американец Дэскал, еврей румынского происхождения (уже страшно! — В. П.). Он не читает по-русски и абсолютно ничего не смыслит в русских делах. Это — самоуверенный деляга, говорит один, не слушает, отмахивается и прочее. Довольно хорошо знакомый тип нахального малообразованного еврея. То, что он не знает русского языка, — с одной стороны, хорошо. Это дает простор для маневрирования и очковтирательства. С другой стороны, его окружает толпа советников, осведомителей, интерпретаторов и банальных стукачей. Стучат в трех направлениях. Первое — Довлатов не еврей, армянин, космополит, атеист и наконец — антисемит. Это крайне вредный стук, потому что наш босс рассчитывает получать деньги на газету от еврейской организации, и кажется — уже получает. Второе — что я ненавижу диссидентов, издеваюсь над ними и так далее. Третье — Довлатов завидует таким великим писателям, как Эфраим Севела и Львов, и еще — Солженицын, борется с ними, не публикует и так далее. Если б я окончательно разложился в моральном плане, я бы мог говорить боссу что-то вроде того, что Солженицын и диссиденты — главные антисемиты нашей эпохи и прочее. Но это — слишком. Хотя вообще-то я сильно разложился, я это чувствую. Я здесь веду себя хуже и терпимее ко всякой мерзости, чем в партийной газете. Но и стукачей там было пропорционально меньше, и вели они себя не так изощренно. Боря Меттер, например, оказался крупным негодяем. Орлов — ничтожество и мразь, прикрывающийся убедительной маской шизофрении. Он крайне напоминает распространенный вид хулигана, похваляющегося тем, что состоит на учете в психоневралгическом диспансере. Короче, мне все опротивело».

Итак — очередная довлатовская катастрофа, еще один перспективный сюжет. Однако катастрофа — это довлатовская стихия, и всегда он «выносит из огня» что-нибудь ценное, как булгаковский Арчибальд Арчибальдович — балычок. Вот одна из «драгоценностей», вынесенных им из того пламени: «В редакции люди особенно уязвимы, ибо они претендуют на большее, чем газета способна им дать».

Он и сам вышел из того огня сильно обгоревшим — причем сильнее других… ну что ж — это вполне соответствует системе Станиславского. Халтуры Довлатов не прощал ни другим, ни себе. Газета, как и все в его жизни, — была черновиком будущих его сочинений — но каждый такой «черновик» давался нелегко. Тут Довлатов и получил еще одну рану в сердце… а сколько их было уже получено. И сколько еще предстояло получить?

Глава восемнадцатая. Довлатов в «Эрмитаже»

Как ни бахвалился Довлатов тем, что ни разу в жизни не был ни в Эрмитаже, ни в театре, ни в каком другом учреждении культуры — все же с одним «Эрмитажем» судьба его повязала крепко. В какой-то момент своей американской одиссеи Довлатов вдруг ясно осознал, что издаваться ему в Америке в общем-то негде.

Вышедшая в издательстве «Ардис», в городке Анн-Арбор возле Детройта, его «Невидимая книга» так и осталась, в сущности, невидимой, не произведя никакого потрясения окружающей жизни. Он и сам называет это сочинение в самом его начале «записками литературного неудачника». Американский издатель, заинтересовавшийся записками писателя, живущего и страдающего в России, почему-то совсем не взволнован судьбой этого неудачника, ставшего «американским» и живущего теперь в Нью-Йорке. Знаменитый Карл Проффер, который с риском для себя вывез рукопись «Книги» из Советского Союза, теперь, когда Довлатов здесь и вполне доступен, мало интересуются им. Может, Сергей и интересовал его только лишь как «еще одна безымянная жертва режима», а теперь, когда он жертвой быть перестал, — интерес улетучился?

«Однажды после жуткого запоя Вольф и Копелян уехали на дачу. Так сказать, на лоно природы. Наконец, вышли из электрички. Копелян, указывая пальцем, дико закричал:

“Смотрите! Смотрите! Живая птица!”

Увы, я оказался чрезвычайно к этому делу расположен. Алкоголь на время примирял меня с действительностью…»

Подробности этих запоев, пожалуй, по-настоящему интересовали только их — Вольфа, Эдика Копеляна (племянника знаменитого актера) и самого Довлатова. И немногих их приятелей — там, дома. Теперь Довлатову предстояло покорить Америку! Этим — навряд ли. Но — чем? И — кого?

Довлатов, как мы уже знаем, не любил работать над своими рассказами в одиночку, предпочитая советоваться с достойными людьми на каждом этапе рукописи, и лишь таким способом «доводил» сочинение. А здесь и ориентироваться было не на кого. Своим друзьям, Вайлю и Генису, зубоскалам и авангардистам, он не очень-то доверял, да и что толку их слушать — все равно не издадут. Да и готовых рукописей, кроме «Компромисса», написанного в Вене, у него в начале американской жизни не

было. Все его россказни о том, что якобы он вернулся из армии с готовой «Зоной» в рюкзаке — вымысел. И вся эта глава призвана показать, какой долгой и скрупулезной работой, причем в постоянном контакте с издателем и редактором (правда, в одном лице), сопровождалось создание «коронных» его вещей в том окончательном виде, в котором все мы их, к счастью, прочли. И без этой совместной работы главные довлатовские шедевры, особенно «Зона», могли бы не появиться или предстать перед нами в виде значительно более рыхлом. Нужна была огромная работа, чтобы «Зону» дописать, правильно «склеить» (у Довлатова, по сути, была лишь россыпь несостоявшихся рассказов) и главное — правильно все сориентировать.

Дело в том, что у Довлатова было одно слабое место, весьма уязвимая ахиллесова пята, которая при другом раскладе могла бы его погубить — и как писатель он бы не состоялся. Он прекрасно писал короткие рассказы, безошибочно определял их центр тяжести и объем, но отнюдь не столь безупречно и уверенно соединял их в крупные книги, компоновал, постоянно «пересыпал» лучшие свои рассказы из одной «корзины» в другую. Так, до конца своих дней он сомневался, надо ли замечательный рассказ «Лишний» держать отдельно, или включить в цепочку других рассказов, составляющих «Компромисс»… А нужен ли он там, не потеряется ли, не поблекнут ли его достоинства? Довлатов такими вопросами долго мучился и все не мог их решить… К надвигающемуся (но так, увы, и не надвинувшемуся) пятидесятилетнему юбилею он загорелся новой, на мой взгляд, безумной идеей — рассыпать все старые, принесшие ему славу вещи и издать все отдельными, независимыми рассказами (от чего они, несомненно, сильно проиграли бы) под «оригинальным» заголовком «Рассказы»… Зачем? Талантом монтажа, выстраивания, столь важным в достижении художественного результата (Эйзенштейн говорил, что кино — это монтаж), Довлатов явно не владел. Он настолько любил свои рассказы и так волновался за них, что никак не мог подобрать им правильный порядок и «связку».

И тут необходим был крепкий, объективный помощник, равный по силе Довлатову — другому было бы с ним не совладать.

В Америке, где особенно силен раскол именно в «русской колонии», найти правильный адрес не так-то просто. И Довлатов правильный адрес находит. Теперь уже ясно, что никакие другие «адреса» не привели бы к созданию лучших его вещей — «Зоны», «Компромисса», «Чемодана». Трудно теперь себе это вообразить — но такое могло случиться, если бы не… Но — в Анн-Арборе, у

Проффера работает верный друг Игорь Ефимов! Что может быть крепче и благороднее старой дружбы! Как не вспомнить те славные «толковища» у Ефимовых на Разъезжей, где все были свои… Было ли что-нибудь душевнее этого? Нет!

Одновременно почти и уезжали, и вместе бились на пересадке в Вене, и деловой, дотошный Игорь помогал всеми силами и Норе Сергеевне, и ему. Ефимов — один из самых обязательных, ответственных, серьезных людей, с которыми свела его эта жизнь. Тем более (Довлатов знает все тайны и слухи) Ефимов под крылышком Проффера организовал собственное издательство «Эрмитаж» — сначала вроде бы в помощь Карлу, а потом… Говорят — Проффер не совсем уже доволен этим… И поскольку Ефимов явно собирается постепенно отделять свой «Эрмитаж» — ему тоже нужен новый яркий писатель: вместе подняться! В жизни Довлатова и Ефимова, я думаю, это было самое удачное решение! Без этого (чур-чур!) оба могли бы пропасть. Бизнес-план, как бы назвали это сейчас, Довлатов создает в своей голове мгновенно. Для начала надо предложить растущему, но еще не окрепшему «Эрмитажу» рекламу книг в Нью-Йорке, в том же треклятом «Новом американце», после чего развивать деловое сотрудничество дальше. Америка — другая страна, и если только напирать на «старую ленинградскую дружбу» — вряд ли сладится дело. А Ефимов известен своей осмотрительностью, основательностью… а вот на это — пойдет наверняка. Глупо отказываться от такой возможности… История деловых и человеческих отношений с Игорем Ефимовым — одна из самых важных и самых драматичных глав довлатовской жизни.

Америка — не Россия. Тут все должно быть выстроено на четкой взаимной выгоде. Для начала Сергей предлагает бесплатную рекламу ефимовских книг в Нью-Йорке — в том числе и в созданном им «Новом американце». Толковое начало! А мы в это время в Питере все делали медленно, грустно и почти безнадежно. Мы не спеша писали свои сочинения и несли в издательство, которое, как мы почему-то были уверены, обязано нас печатать! В Америке, увы, такой уверенности не было никогда — все приходилось создавать своими руками.

Мы же, отдав наши шедевры, гордо ждали, пока нас там издадут (или зарубят). А в это время писали новые шедевры, пили, с переменным успехом ухаживали за дамами… Конечно, некоторые интриги мы проводили, какие-то свои тайные ресурсы использовали, но настоящая хватка и, главное, — темп были в Америке. Только так что-то и можно сделать там!

Довлатов начинает помогать Ефимову в Нью-Йорке. Ефимов пока еще далеко, в Анн-Арборе. Все непросто. Вот — реклама

аксеновского «Ожога», изданного в «Эрмитаже», помещенная в «Новом американце», попалась на глаза администрации, и за нее потребовали заплатить. Непринужденно Довлатов рассказывает и о своих литературных делах: в Америке его оценили, в самый престижный журнал «Ньюйоркер» взяли уже второй его рассказ и заказали еще три. Намечаются отношения с издательством «Фаррар, Страус и Джиру»… Звучит красиво! Но — книгу издать пока негде, даже с уже готовыми набором и обложкой, не говоря уже о какой-то ее рекламе! Довлатов сознается, что только теперь оценил удачу с первой своей «Невидимой книгой», изданной Проффером… теперь о такой удаче нельзя и мечтать.

Смысл этих признаний понятен: нужен хороший, понимающий, добросовестный издатель, и лучше старого друга Игоря Ефимова никого нет!

И мысль эта — абсолютно правильная, подарившая большую удачу обоим — и Довлатову, и Ефимову.

«Компромисс», написанный еще в Вене, вроде как двигается в издательстве «Серебряный век» — но этот «Серебряный век» состоит, в сущности, из одного Гриши Поляка, преданного друга и соседа Довлатова. Именно такой — чисто «соседской», домашней может получится и книга…О непрактичности Поляка, о его неумении рекламировать и продавать Довлатов не раз говорил. Поэтому, не обижая Григория, Довлатов передает «производственную часть» работы над книгой в «Эрмитаж», платит Ефимову деньги за качественный набор. Плодотворное их сотрудничество началось в декабре 1980 года.

Довлатов умеет быть благодарным — публикует отрывки из романа Ефимова в «Новом американце». Ефимова — явно не без влияния Довлатова, — признают даже весьма радикальные и насмешливые Генис и Вайль.

Жизнь Довлатова, как воронка, все уже и уже «сходится» к занятиям исключительно литературой — все остальные сферы его деятельности подчиняются ему в значительно меньшей степени, нежели литературный текст.

Финансовые неприятности, внешнее давление, требования хозяина делают для Довлатова работу в «Американце» все более неприемлемой. Весной 1981 года его увольняют с радиостанции «Либерти» («Свобода») — как ни странно, за либерализм.

А Ефимова увольняет Карл Проффер — тоже «за подрывную деятельность», то есть за создание конкурентного «Эрмитажа» под крылышком «Ардиса».

Как это, увы, часто бывает, удары судьбы толкают пострадавших в правильном направлении — «так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». Самое тесное сотрудничество Ефимова

и Довлатова предстает неизбежным — и только так они могут сами спастись, и сделать самое главное дело — слепить и издать самые лучшие, самые совершенные довлатовские книги, причем наилучшим для той ситуации образом.

Но продвигалось все нелегко. Довлатовский «Компромисс», изданный с помощью Ефимова, продается плохо. Сейчас, когда «Компромисс», неоднократно переизданный в России, снова и снова мгновенно раскупается, трудно поверить в столь трудный «старт» этой замечательной книги. Но, видимо, не все сразу. Нужно время и немалые усилия, что бы читательское сознание «повернулось» в нужную сторону.

Трудно сейчас представить это, но Ефимов не очень верил и в успех «Зоны» — книги, побившей сейчас все издательские рекорды. Все должно «дозреть» — и на это опять же уходят время и силы, который не так уж и много. Ефимов считает, что лагерная тема уже изжила себя, тем более — после Шаламова и Солженицына. Неповторимый довлатовский взгляд на эту тему, вероятно, еще не был четко осознан — и Ефимовым, и даже Довлатовым. Всё это предстояло еще «поймать».

Пока они прикидывают, как соединить отдельные рассказы в «Зону» — то ли разбитым на части солдатским письмом, то ли связующей сценой товарищеского суда. Теперь мы, прочитывая «Зону» на одном дыхании, и не представляем себе, сколь несовершенные варианты скрывались когда-то под этим названием.

Не готов к печати, оказывается, и «Заповедник» — много чего в нем предстоит усовершенствовать. Обсуждается какая-то неизвестная нам глава о защите диссертации «Пушкин в народном сознании», предлагаются нелепые, на наш теперешний взгляд, названия — «Дикий тунгус», «Ныне дикий тунгус»… Как мы знаем, «Заповедник» Довлатов писал еще долго. Их общение — хотя Ефимов по-прежнему живет в Анн-Арборе, — весьма живое, активное, душевное. Они обсуждают отнюдь не только дела, но и семейные новости, передают приветы женам и детям. Что может быть важнее старой дружбы, возникшей еще в Ленинграде? Ведь именно в коммуналке Ефимова все перезнакомились и подружились — и это самое лучшее, что с ними случилось в жизни.

Активная работа Довлатова в «Новом Американце» и на радио «Либерти», и его рассказы, добравшиеся в конце концов до читателя, делают его все более популярным. Постепенно и «коренная» Америка, говорящая на английском, а не только русская эмиграция, «различают» Довлатова. У него появляются переводчицы (почему-то именно переводчицы — роль мужского

обаяния в литературных делах никто не отменял), у него есть агент — американец, его порой печатают в «Ньюйоркере», но все это как-то вяло — для настоящего большого успеха в настоящей Америке нужно что-то еще. Довлатов не раз пересказывал свои занудные разговоры с агентом: «Где же успех? Где же известность?» Самый простой ответ был такой: прежде всего, нужен роман, слава может начаться (или не начаться) только с романа. Даже признанные классики начинали с романов и лишь потом позволили себе «роскошь» — писать рассказы. У Довлатова задача более сложная — сделать роман из рассказов! Поэтому они так страстно и упорно ищут с Ефимовым необходимую «сцепку». Получился ли роман? Пожалуй, нет. «Зону», как и все последующие довлатовские произведения, трудно назвать этим именем. Поэтому Довлатов и не стал популярен среди американцев. Но они с Ефимовым гениально слепили что-то такое, что идеально подходит для нас, для нашей дерганой жизни, мало похожей на плавное повествование романа.

В январе 1982 года Довлатов получает восторженное и, как положено, слегка ироническое письмо от Курта Воннегута, одного из знаменитейших тогда американских прозаиков, высоко оценившего его рассказ в «Ньюйоркере». Довлатов скромно пересылает письмо Воннегута Ефимову — не пригодится ли для обложки «Зоны»? Тем более, что рассказ «По прямой», расхваленный Воннегутом, входит в «Зону». В последнем, пришедшем к нам, варианте «Зоны» такого рассказа нет. Во всяком случае — нет такого названия. Значит, работа над «Зоной» еще не закончена. В феврале 1982 года Довлатов сообщает Ефимову, что сдаст «Зону» к 1 мая, а пока что посылает двадцать страниц.

Увы, отношения столь разных людей — скрупулезного, обстоятельного, придирчивого Ефимова и излишне размашистого, увлекающегося Довлатова, не могли долго быть безоблачными.

«Зона» почти готова — и Довлатов заводит речь о романе «Пять углов». Он, похоже, написан еще в России и для теперешнего Довлатова это — пять шагов назад. Но без романа, как утверждают все, настоящим американским писателем не станешь. Ефимов принимает идею романа слегка настороженно, хотя и не отвергает с порога. Не всегда, увы, в их диалоге удавалось говорить прямо и откровенно обо всем, приходилось сдерживаться. Но — сказывается усталость, напряжение в их отношениях нарастает, все чаще срываются слова, которые раньше удавалось сдерживать.

Довлатов вдруг вскользь сообщает о страшном запое,

поломавшем весь график его обязательств. Ефимов в ответ язвительно замечает — странно предаваться запоям при столь блистательных литературных успехах и полной семейной идиллии. Ефимов не мог не замечать, что литературные дела Довлатова, всегда прикидывающегося клоуном и недотепой, идут гораздо лучше, чем у него. Довлатова печатают лучшие американские журналы, им интересуются переводчицы, его приглашают на престижные конференции… С Ефимовым ничего похожего не происходит. А Довлатов, при всем при том, позволяет себе еще и запои!

Конечно, Довлатов обозначает свое участие в конференциях самым нелепым, случайным (привел, мол, один друг), да и сами конференции изображает карикатурными, чуть ли не позорными… Но Ефимова этими «довлатовскими штучками» не проведешь — обида, наконец, прорывается в нем.

Смертельно обижает его и то, что Довлатов поддерживает, оказывается, неплохие отношения с Проффером — хотя, вроде бы, при разрыве Проффера с Ефимовым горячо поддерживал Игоря. Ефимов, конечно, требует невозможного — чтобы Довлатов, страстно мечтающий о возобновлении отношений с самым престижным русскоязычным издательством, грубил бы его хозяину, мстя за «поруганную честь» друга. И Ефимову бы Довлатов не помог — и свои надежды на «Ардис» погубил бы… Он шел своей дорогой, однако все эти «компромиссы» тяжело ложились на его сердце, и оно, в конце концов, не выдержало…

Довлатов делает героические усилия, стремясь к примирению, понимая, как Ефимов важен для него. По просьбе Ефимова он отдает его роман своему литагенту, сильно мучаясь при этом — не распространится ли негативное мнение агента (которое он уже предчувствует), на его, довлатовское творчество? Агенты — мнительный народ. Через некоторое время Довлатов вынужден сообщить Ефимову, что агенту роман не понравился.

Довлатов пытается наладить отношения Ефимова с Проффером — на одной из конференций заводит с Карлом разговор об Ефимове и якобы добывает у него признание, что он был неправ. Но Ефимову это мало что дает. Да и Проффер, столько сделавший для русской литературы, вдруг рано (глупо говорить — незаслуженно рано) умирает — успев, правда, благословить вышедшую в «Ардисе» уже без него книгу Довлатова «Наши».

Тем не менее, добросовестный Ефимов, получив от Довлатова окончательный вариант «Зоны», не скрывает своего восторга — и выпускает «Зону», и всячески способствует ее успеху, поднявшись над всем тем, что портило их отношения.

Вот так вот, в таких мучениях и трудах — причем, совместных, — и образовалась, наконец, «Зона» — через двадцать лет после того, как Довлатов покинул лагерь! А некоторые еще считают его писателем «легкого жанра»! Нет — ни легкой жизни, ни легкого творчества ему не досталось. Этапы работы над рукописью зафиксированы в «письмах издателю», включенных в текст «Зоны». Трудно все проходило… Зато — появился шедевр!

«Алиханов был в этой колонии надзирателем штрафного изолятора, где содержались провинившиеся зэки.

Это были своеобразные люди.

Чтобы попасть в штрафной изолятор лагеря особого режима, нужно совершить какое-то фантастическое злодеяние. Как ни странно, это удавалось многим. Тут действовало нечто противоположное естественному отбору. Происходил конфликт ужасного с еще более чудовищным. В штрафной изолятор попадали те, кого даже на особом режиме считали хулиганами…

Должность Алиханова была поистине сучьей. Тем не менее, Борис добросовестно исполнял свои обязанности. То, что он выжил, является показателем качественным.

Нельзя сказать, что он был мужественным или хладнокровным. Зато у него была драгоценная способность терять рассудок в минуту опасности. Видимо, это его и спасало. В результате его считали хладнокровным и мужественным. Но при этом считали чужим…»

Трудно оторваться и не читать дальше эту упругую, приятную на язык прозу. Но — приходится отрываться… Книгу эту я пишу не для того, чтобы показать, что у Довлатова получилось (это вы все уже с наслаждением прочли), а для того, чтобы показать, как это получаюсь.

Сотрудничество их продолжалось еще долго. После «Зоны», Довлатов — уже в 1985 году, — вручил Ефимову и свой «Чемодан», и тоже не совсем еще в «упакованном» виде… И опять начались сложные переговоры — что делать? Издавать такую маленькую книжку отдельно — несолидно, никто не купит, надо что-то придумывать. Довлатов, по настоянию Ефимова, дописывает, «в страшных муках», как сообщает он, еще 14 страниц. Да — нелегко это всё получается. Вместе с предисловием Ильи Сермана (старого знакомого Довлатова, тоже бывшего ленинградца) книга составляет теперь 140 страниц. Можно издавать. Ефимов настоятельно советует Довлатову включить в книгу замечательный рассказ «Лишний» о таллинском журналисте Буше, подсказывает ход — пусть Буш тоже что-то подарит рассказчику… Это не получилось. Довлатов, как бы в шутку, набрасывает начало одной из будущих рецензий: «Кучка

эмигрантского барахла вырастает в книге Довлатова до символа бедной, великой, многострадальной России…»

И вот «Чемодан» (любимая моя, и не только моя довлатовская книга) выходит в свет!

Ура!

Следующую рукопись Довлатова, «Ремесло», Ефимов воспринимает без энтузиазма, указывая, что уж больно она связана с конкретикой, понятной далеко не всем, напоминает сведение счетов с живущими совсем рядом…

* * *

Но — главное дело сделано! Лучшие книги Довлатова вышли в Америке. Ура! И вклад Игоря Ефимова неоценим. Безусловно — это самые результативные годы для Довлатова. Притом, замечательно сотрудничая с Ефимовым, Довлатов сохраняет деловые отношения с его врагом Проффером и уже после смерти Карла, когда у руля «Ардиса» встает его красавица жена Эллендея, издает там «Наших». Издает «Представление» в неоднократно хулимой им «Руссике». Издает сенсационный альбом весьма небезобидных анекдотов про самых известных писателей с фотографиями Марианны Волковой в издательстве «Слово». Но все удачи имеют оборотную сторону, и плата за все — неотвратима.

Идиллия в отношениях писателя и издателя не могла продолжаться долго. Как мы уже знаем, Довлатов, сознательно или нет, всегда стремился к состоянию непокоя, неустроенности, методично разрушая любые отношения — с друзьями, женщинами, начальством.

Довлатов долго звал Ефимова переехать из маленького Анн-Арбора. но когда Ефимов переехал в Нью-Йорк, точнее — в Нью-Джерси, откуда прекрасно виден Манхеттен за рекой, — отношения их стали портиться стремительно и уже безвозвратно.

Оказалось, что в неспешной переписке, когда есть время подумать, гораздо легче поддерживать добрые отношения, чем вблизи. Живя в одном городе, хоть и в разных его частях, они снова общаются по почте — но почта приходит быстрее, и тон переписки уже другой. Ефимов уже не скрывает обид. Вблизи он «разглядел» Довлатова гораздо подробней. Письма Довлатова всегда были его шедеврами, почти такими же совершенными, как рассказы. В жизни, увы, поддерживать такой уровень у Довлатова уже нету сил. Он не может уже сдерживать свою далеко неоднозначную натуру, в которой черты весьма неприятные

преобладали порой над приятными.

Ефимов оскорблен тем, что Довлатов в течении восьми месяцев (?!) ни разу не смог приехать к нему, в том числе и на важные для Ефимова семейные праздники. Что это, как не пренебрежение старой дружбой?

Довлатов тоже не может уже скрывать накопившейся антипатии — все же они долго мучили друг друга, совместно работая, и злоба накопилась. Цепляясь к одному из писем Ефимова, он обвиняет его чуть ли не в воровстве — в продаже экземпляров книги «Компромисс», не принадлежащих Ефимову… начисто при этом забыв, что сам же просил Ефимова их продавать.

Ефимов с присущей ему скрупулезностью перечисляет, наконец, все те, мягко говоря, «шероховатости», которые Довлатов позволял себе. Неискренность, нежелание помочь коллеге, двуличие, но главное обвинение — мизантропия, нелюбовь к людям, интерес лишь к бедам, происходящим с людьми, сочинение — причем весьма талантливое, — злостных сплетен, губительных для тех, кого они касались.

Довлатов не отрицал многих ефимовских обвинений и в оправдание свое лишь сообщал, что у него почти год болеет мать, и что алкоголь, с которым он пытается порвать, остается его единственным «горючим», позволяющим передвигаться по городу и позитивно общаться с людьми, а без алкоголя — исчезает все.

Его исповедь абсолютно откровенна, она режет сердце. В полном отчаянии он говорит, что не осуществилась главная мечта его жизни: стать профессиональным писателем, жить на гонорары… а халтуры убивают его!

Он, по его признанию, убедился в том, что у него нет настоящего таланта. Все лучшее, по его словам, уже опубликовано, но сенсации не произошло и не произойдет.

Тут он, безусловно, ошибся. К счастью для нас — но к несчастью для себя.

С таким вот «приговором», вынесенным себе, он и ушел.

Глава девятнадцатая «Смертью героя…»

Цена успеха — жизнь… Формально конец его жизни выглядит апофеозом. Вспоминает Евгений Рейн, всегда особенно чуткий к внешней, чувственной стороне жизни:

«Когда я впервые увидел его после отъезда, перерыв в наших очных отношениях составлял десять лет. Я ждал его в садике, примыкавшем к квартире Бродского на Мортон-стрит в Гринвич-Виллидж. Раньше назначенного срока отворилась калитка и вошли Лена и Сережа. Если Сережа и переменился, то только в том смысле, что он стал еще (хотя куда бы!) больше, заметнее, красивее. От природы элегантный, он был со вкусом, даже как-то празднично, одет. Мне он показался свежим и сильным, каким бывает человек после купания или лесной прогулки. Все в его жизни было правильно, он был на месте, он был хозяином своей судьбы и своего дела. Вот чего недоставало ему. И теперь его новая жизнь так ему шла.

…Мы отправились бродить по городу. Сначала по Манхэттену, потом взяли такси и отправились на Брайтон-Бич. Меня поразило — он и здесь был известен, любим. Его весело приветствовали в магазинах, на океанском берегу, в барах, куда мы два или три раза заходили. Наступил обеденный час, и он повел Лену и меня в ресторан “Одесса”, где снова оказался желанным и знаменитым гостем. Я замечал, как ему приятно все это. И кроме того (а может быть, это важнее всего), за всем этим стояли уже вышедшие книги — “Зона”, “Компромисс”, “Наши”, “Заповедник”, “Иностранка” — и они говорили сами за себя».

Слава Довлатова достигла России, все ликовали, и поток радостных друзей хлынул в Америку — времена уже позволяли это. Радовался и замечательный питерский поэт Виктор Соснора:

«Меня поразила юность Елены и цветущий вид Довлатова. Такая красивая дружная пара, отличный автомобиль, начало заграничной славы Сергея, начало денег».

И — начало конца. Стоит тут вспомнить хоть и недоброжелательные, но точные слова Елены Клепиковой:

«Причин для безрадостного в тот последний Сережин год было много: и радиохалтура, и набеги московско-питерских гостей, и его запои на жутком фоне необычайно знойного, даже по нью-йоркским меркам, того лета. Что скрывать — у Довлатова был затяжной творческий кризис. Ему не писалось — как он хотел… Была исчерпанность материала, сюжетов — не только материальных, но и жизненных. Его страдальческий алкоголизм в эти месяцы — попытка уйти, хоть на время, из этого тупика, о

который он бился и бился. Очень тяжело ему было перед смертью. Смерть, хотя и внезапная и случайная, не захватила его врасплох».

При всей его фантазии и дерзости в обращении с жизненным материалом — «реальная основа» у каждого его сочинения должна быть, в этом он сразу признался, — и раньше эта реальная основа всегда была. Прежде он смело, со знанием и пониманием погружался в родные пучины (барак, ипподром, совхоз), и все получалось живым и убедительным. Теперь он никуда уже погрузиться не мог. Америка, как таковая, была ему не по зубам — и он с отчаянием понимал это. Мечты об освоении чужого культурного пространства, с которыми он ступал на берег Нового Света, не сбылись — как не сбылись ни У кого из русских эмигрантов, не исключая даже любимого и почитаемого американцами Набокова. Наиболее «далекая» экспедиция в глубокую реальность из «мелкой обывательской лужи» эмигрантства изображена Довлатовым в рассказе «Третий поворот налево» — Алик и Лора перепутали поворот, оказались в американской глубинке (таких «глубинок» и в Нью-Йорке полно), ужасно испугались — и страшный неф своим «жезлом» показал им, куда ехать. Нет уж — спокойней вернуться в свою «лужу».

Да что говорить — даже заурядной мещанской жизни русской колонии Брайтон-Бич он не знал — кроме, пожалуй, кабаков. В тот мир его не влекло. Он сделал героическую попытку заглянуть в эмигрантскую жизнь чуть шире своего круга — журналистов и творческих людей, — и потерпел неудачу. Оказалось, что ему это неинтересно. В письме Науму Сагаловскому 21 июня 1986 года он пишет резко: «“Иностранка” в “Панораме” — говно». Он не мог сделаться другим. «Определиться — значит, сузиться». Хозяином он был лишь на своем участке, «шаг в сторону — расстрел». Это понимал даже Бродский. Когда мы с ним в Коннектикут-колледже встали в очередь в университетскую пиццерию, я предложил ему перейти улицу и зайти в другую пиццерию, гораздо более красивую и, главное, — пустую. «Нет уж! — усмехнулся Иосиф — Тут меня знают все, а там — никто!» Но тот свою роль лишь для узкого круга воспринимал как избранность, а Довлатов — задыхался. Плыть уже ему было некуда.

Знакомая писала ему в письме: «Ну какой ты американский писатель, ты, которого вспоминают до сих пор у пивных ларьков от Разъезжей до Фонтанки»?.. С отчаяния он даже делает попытку освоить современную Россию. В рассказе «Встретились, поговорили» эмигрант с набором готовых фраз и роскошных подарков едет в Россию к брошенной жене — и терпит фиаско. Но все равно — это уже рассказ не про Россию, а про эмигранта,

больше похожий на фельетон, там нет ни «дыхания жизни», ни знания современной России, которая за годы отсутствия Довлатова изменилась бесповоротно… Тупик? И — запоздалый триумф. Все его шедевры уже выходили подряд — и лучшие, и средние, и даже лишние. Готовился триумф в России — но он с отчаянием понимал, что все это вещи, которые сейчас гремят, — старые, новых он не написал. И похоже, уже не напишет… Другой бы на его месте вполне бы успокоился сделанным и почивал на лаврах. Но то был бы другой… который бы этого не сделал и не написал. Нам нужен был именно Довлатов. А он в тот год — кончался. Нина Аловерт, замечательный фотограф — ей мы обязаны почти всеми американскими фотографиями Сергея, — съездив в Россию, сказала ему: «Слушай, в Ленинграде тебя цитируют в каждом доме. Ты такой знаменитый!» Он ответил: «Да, я знаю. Но поздно».

Довлатов мрачно шутил, что «сгорает» сразу на четырех работах — газета, радио, семья и алкоголизм. И все четыре стали приносить только одни страдания. «Нет в жизни счастья!» Лопнула — причем с вонью, — любимая прежде газета «Новый американец», которой отдал столько времени и крови. Радио «Свобода», которым он так дорожил духовно и материально, все больше оказывается «неродным» и словно бы и нисколько не благодарным ему… и там одни враги!

И вот — рухнуло еще одно, может, самое главное дело — его замечательная и плодотворная работа с Ефимовым. И другого такого уже не будет! Читаешь конец их переписки — уже не дружеское и даже не деловое общение, а, цитируя Ефимова, какие-то «Архивы страшного суда»! После крушения газеты, работы на «Либерти», рухнуло и главное «строение» Довлатова — он сам! Довлатов никогда не считал себя ангелом, но все же он, как и все люди, предпочитал себя оценивать положительно. И вдруг — разоблачение! Причем вполне убедительное, по-ефимовски дотошное, аргументированное, доказательное: скрупулезно перечислены все его «милые хитрости», о которых он тайно знал и сам, но вот они выставлены — и что? Перевешивают все прочее?

Мир Довлатова рушится! Мало ему сомнений в своих рассказах — выходит, что и как человек он — дерьмо? Причем все свои подлости, он, оказывается, ловко маскирует, успешно использует! Этот «итог» карьеры ему трудно принять спокойно. Утонули все «киты», на которых прежде стояла его жизнь — и оказывается, что и ему самому впору топиться!

Полный моральный крах! Он был циничен достаточно, чтобы ловко делать дела, но не настолько, чтобы не воспринимать

обвинения друзей, пусть даже бывших. Можно, конечно, сказать, что главное в его жизни — творчество. Но при зрелом размышлении оказывается, что его книги уже не книги, а «перечень улик». Список его книг (лишь самых значимых!) впечатляет:

«Невидимая книга» — «Ардис», 1977.
«Соло на ундервуде» — парижская «Третья волна», 1980.
«Компромисс» — «Серебряный век», 1981
«Зона» — «Эрмитаж», 1982.
«Чемодан» — «Эрмитаж», 1986.
«Представление» — «Руссика», 1987.
«Не только Бродский» — «Слово», 1990.
«Записные книжки» — «Слово», 1990.
«Филиал» — «Слово», 1990.

И каждая его новая книга — ступенька к славе. А для души его — ступеньки в ад. В «Невидимой книге» он высмеял, хоть и прославил, любимых ленинградских друзей. В «Зоне» герой в конце почти теряет человеческий облик. Автор бросает, вместе с местом службы, любимую девушку… Но не оставаться же было там? «Компромисс» — обижены верные друзья и сослуживцы, брошена любимая женщина и дочь… Но не оставаться же было там! Знаменитейший «Заповедник»!.. Ужасное поведение автора, отъезд в Америку — от полной безнадежности — жены и дочки. «Наши». Ради красного словца автор, в полном соответствии с пословицей, не пощадил не только отца, но и всю родню. «Филиал». Отомстил литературной братии и главному «врагу», мучившему его всю жизнь, — Асе. Каждый шедевр оставил рану в сердце, и оно болело все сильней. Ради книг — сколько пролито крови, и своей, и чужой. Кровь — единственные чернила? Но стоят ли книги этого?.. Стоят! Но как вынести такую цену?

Созданные им книги — единственное, что спаслось, — выходили все большими тиражами, слава росла — но это уже словно было отдельно, уже не имело к его измученному телу — и такой же душе, — прямого отношения. Похожая история изображена в «Мартине Идене» — успех книг, слава летит вверх, как бабочка, и тут же идет физическая гибель автора, исчезновение изодранной, уже ни на что не пригодной «оболочки». Талант «выпивает» человека, весь сок достается шедеврам — а человек, обессиленный, падает и гибнет.

Свою раннюю смерть Довлатов предчувствовал, хоть и боялся, и пытался как-то осмыслить ее, «поднять высоко». Напившись, что всегда сопровождалось у него приступом отчаяния, он читал гениальную «отходную», сочиненную его другом, «примеряя» ее на себя:

…Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто,
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,
Вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто,
Чьи застежки одни и спасали тебя от распада.
Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон,
Тщетно некто трубит в свою дудку протяжно.
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
С берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно.

И Лена, отыскав Сергея по телефону в очередном загуле, мрачно спрашивала хозяев дома или просто друзей: «Ну что? Харон уже ищет драхму?»

К сожалению, уже никакие застежки, цитируя того же Бродского, не спасали его от распада.

«Уплыл» и последний кит, на котором он мог бы еще стоять, последняя надежда на спасение — нормальная семья. Довлатов отдал много страсти, усилий и переживаний своей семье (всем своим семьям) и, может быть, сделал для нее (них) намного больше, чем обычный рядовой обыватель… но тот дает самое главное — ощущение стабильности, надежности, устойчивости. Вспомним знаменитое «семейное времяпровождение», изображенное Петровым и Ильфом: основательный, солидный глава в минуту досуга уютно и неторопливо выпиливает лобзиком игрушечный сортир… только крючочек остается накинуть! Конечно, это пародия, но схема семейной идиллии именно такова. Но такого бы Довлатов не вынес. Он бы повесился от такого уюта! Помнится, он говорил Рейну, что не намерен тратить время «на починку фановой трубы», как и на любое другое «нормальное времяпровождение»…

Конечно, нормальной семьи, «ноева ковчега», у него не было. Все больше «дичала» Катя — с детьми в переходном возрасте это бывает всегда, кроме того, она хорошо понимала, что ей предстоит «находить себя» в американской жизни, и ее экстравагантные искания пугали Сергея. Лену Сергей всю жизнь изображал «неизменной, как скорость света». Но и она не могла бесконечно выдерживать выходки мужа (прежде всего, ужасные запои) — и ее отношение к Сергею, конечно, менялось. Суровость ее можно понять: она не могла «задушевно» выпивать с мужем, понимая, во что это выльется, а без этого он уже не мог… Сын Коля, который в детстве так радовал отца своей живостью, непосредственностью — Довлатов называл его «маленькой фабрикой по выработке положительных эмоций», — с годами как-то замыкался, мрачнел. Все главные «точки опоры» ушли из-под

ног. О том говорит и фотография, полученная мною незадолго до его смерти: Лена и Сергей сидят на кухне рядом, но как-то по отдельности. Надпись на обороте: «Вот какие мы теперь мрачные». Родной дом казался ему суровым, и он «искал счастья» в других местах.

Андрей Арьев, посетивший Довлатова незадолго до его смерти, вспоминает, что встретил его Сергей трезвым, бодрым. За столом пил лимонад, весело говорил, что с пьянством покончено… Только Лена почему-то при этом мрачно молчала. Довлатов возил Арьева по Нью-Йорку, замечательно рассказывал — и только в музеи принципиально не заходил, гордился, что так и не побывал ни в одном музее. Ждал друга в машине. В один из дней они поехали в «берлогу» к Константину Кузьминскому, бывшему земляку, весьма известному в литературных кругах составителю замечательного сборника неофициальной русской поэзии «Голубая лагуна», включившей многих талантливых поэтов — Уфлянда например. Дом Кузьминского весьма экстравагантен, да и сам он подчеркнуто богемен — по легенде, никогда не встает с дивана и не одевается, обходясь халатом. По помещению бегали многочисленные собаки — Кузьминский зарабатывал разведением и продажей борзых. Конечно, в столь задушевной обстановке, да еще при встрече старых друзей Кузьминского и Арьева, столько лет не видевшихся, не напиться было нельзя.

Арьев проснулся в какой-то абсолютно незнакомой, но аккуратной квартире… По виду из окна понял, что находится в том же самом доме, но на другом этаже. Но главное — было абсолютно непонятно, что делать, куда податься? Тут с улицы послышался свист, и Арьев увидел на той стороне улице Довлатова с какой-то роскошной блондинкой. Они зашли в квартиру, Довлатов бегло познакомил Арьева с дамой, они спустились, сели в ее машину, и она отвезла их к дому Довлатова в Форест-Хиллз. «Но что меня слегка удивило, — вспоминает Арьев. — что мы остановились на расстоянии нескольких домов до подъезда Довлатова. И оставшееся расстояние до подъезда прошли почему-то пешком. Но особого значения я этому не придал — мало ли что? Тем более что Довлатов по пути зашел в магазин». На блондинке Арьев тоже как-то не зациклился, вскользь подумав — мало ли, поклонница.

А между тем это была журналистка Алевтина Добрыш — с ней Довлатов познакомился еще в 1984 году, и именно она оказалась рядом с ним в последние часы жизни и, как могла, пыталась его спасти. Но в тот момент Арьева больше волновало другое: в магазине Довлатов купил ему две бутылки пива и

какую-то непонятную бутылочку — себе. «Что это?» «Да так, лимонад!» — отмахнулся Довлатов. И с этого начался безумный запой. Довлатов лежал на диване и пил одну бутылку водки за другой. Как только очередная бутылка кончалась, он орал: «Лена! Водки!» — и та вынуждена была бежать в магазин, потому как из-за малейшего промедления Довлатов начинал крушить посуду и мебель. На Арьева он уже не обращал никакого внимания. На второй день, не выдержав, Андрей съехал от него… И вернувшись в Ленинград, сказал в отчаянии: «Всё! Долго он так не протянет!» О болезни Довлатова — замечательные стихи его друга Льва Лосева:

Я видал: как шахтер из забоя,
выбирался С. Д. из запоя,
выпив чертову норму стаканов,
как титан пятилетки Стаханов.
Вся прожженая адом рубаха,
и лицо почернело от страха.

Ну а трезвым, намытым и чистым,
был педантом он, аккуратистом,
мыл горячей водою посуду,
подбирал соринки повсюду.
На столе идеальный порядок.
Стиль опрятен. Синтаксис краток.

Помню ровно — отчетливый бисер
его мелко-придирчивых писем.
Я обид не держал на зануду.
Он ведь знал, что в любую минуту
может вновь полететь, задыхаясь,
в мерзкий мрак, в отвратительный хаос.

Бедный Д.! Он хотел быть готовым,
оттого и порядок, которым
одержим был, имея в виду,
что, возможно, другого раза
нет, не вылезешь ты из лаза,
захлебнешься кровью в аду.

Думаю, что у Сергея уже не было сил на то, чем он занимался всю жизнь — пытаться отделить писателя Довлатова от его несчастного, непутевого героя. Долгое время это ему — в конце уже из последних сил — удавалось, но силы закончились.

Наверно, уставший еще в России Довлатов все-таки надеялся на американское счастье — и то, что здесь ему пришлось ничуть не легче, а временами и тяжелее, доконало его. Мне рассказывали о его жалобах: «Приходится “говнять” рассказы для радио — и к хорошему их после этого уже не вернуть!» В России никто его не печатал, но никто и рассказов его не уродовал — а тут он делал это своими руками! «Американская мечта» потребовала от него отдать ей последние свои силы. Руки Довлатова, которыми он как-то еще отстранял от себя своего героя, обессилели. И вот произошла эта неизбежная и роковая встреча. Писатель и его герой соединились, наконец, на смертном ложе. Сюжет, будто взятый из «Портрета Дориана Грея». Настоящий писатель и обязан, наверно, погибнуть «смертью героя» — иначе он просто дезертир. Если он сумеет увильнуть в конце, то это как-то чувствуется уже и в начале, и строки «не звенят». У Сергея они «звенели».

О неизбежности этой «роковой встречи» автора и героя писал замечательный американский писатель Фрэнсис Скотт Фитцжеральд. Мне кажется, именно он — близнец Довлатова; судьбы их, нервных, задерганных, измученных компромиссами, очень похожи… Не могу сейчас отыскать ту важную цитату из Фитцжеральда, но суть ее такова: как же так вышло, горюет Фрэнсис, что я стал с грустью относиться к грусти (имея в виду грусть своих персонажей), с болью — к боли, трагически — к трагедиям? Всегда между мной и героями была прозрачная, но спасительная стена! Но рано или поздно она рушится, и писатель умирает смертью своего героя, которого он породил и который его прославил… Если твой герой неприкаянный неудачник — так и умирай. Уж тут-то «шустрить», портить песню? И Довлатов последовательно пришел к такому концу. И еще одно — достигнув ценой многих компромиссов писательской славы, он при этом не достиг ни финансового, ни социального статуса нормального обывателя, пусть даже из эмигрантов. У него не было денег на счету — в случае поступления на счет, по свидетельству Арьева, они были бы тут же изъяты за долги, поэтому он таскал деньги «мячиками» в карманах и безрассудно их тратил — все одно их было не легализовать… У него в отличие от всех других все же как-то сориентировавшихся в новой жизни, не было даже медицинской страховки — на это, в постоянных долгах и нужде, денег не нашлось. «Если я завтра сломаю ногу, — мрачно шутил он, — буду лежать на тротуаре, пока она не срастется»… На самом деле все вышло еще хуже, чем в этой зловещей шутке: он из-за этого умер.

И вот — воспоминания Алевтины Добрыш, «последнего

свидетеля»:

«21 августа у меня день рождения и я попросила Сережу сделать мне подарок — выйти из запоя. Хотя сам процесс этого возвращения в жизнь был ужасен совершенно. В это время он начинал галлонами пить молоко. Его все время тошнило, и вдруг стал страшно болеть живот. Неподалеку от нас жили Кузьминские — Костя и Эммочка. У Кости тоже постоянно случались запои, поэтому мы с его женой часто советовались. В тот день я побежала к Кузьминским, рассказала о Сережиной боли в животе. Мне очень хотелось заварить ему ромашковый чай, но ромашки ни у Эммы, ни у меня не было. Тогда я позвонила художнице Тане Габриэлян: я знала, что у нее всегда есть много всяких трав. Была уже ночь, но Таня не спала и разрешила мне приехать. Я вышла из дома и села в машину. Я увидела, что у меня пропала иконка: видимо, кто-то заходил в мою машину. Мне стало жутко. Тем более что в эти дни он много говорил о смерти, о том, что этот приступ его болезни может очень плохо кончиться. Я помню, когда он при мне в последний раз разговаривал по телефону с Норой Сергеевной, он как бы прощался с ней. Он все время повторял: “Я тебя очень, очень люблю. И все, что ты говоришь про мои книги, для меня очень много значит”.

Когда я вернулась, увидела, что он разговаривает с Костей Кузьминским. Я позвонила одному знакомому доктору и стала уговаривать Сережу поехать в клинику, раз он плохо себя чувствует, или по крайней мере поговорить с врачом. Но он отказывался, всегда считал себя здоровым, хотя незадолго до этого ему диагностировали цирроз печени — специально, чтобы он бросил пить.

После этого чая Сереже стало немножко легче, он уснул.

Я даже не могла себе представить, что его боль в животе может быть как-то связана с сердцем. И он, конечно, тоже. Около шести утра Сережа меня разбудил: “Алечка, Алечка! Ты знаешь, у меня ужасно болит живот”. Я решила: надо срочно собираться и ехать к врачу. Сережа пошел мыться в душ, а я стала ему искать чистое полотенце. Я зашла в ванную и увидела, что Сережа падает. Я подскочила к нему, и меня испугала его бледность, взгляд у него был очень странный. Кажется, тогда я закричала и побежала вызывать “скорую помощь”.

“Скорая” приехала довольно быстро, но почему-то там было очень много людей, и среди них — два русских парня. Они очень долго меня расспрашивали, кто Сережа такой, куда его везти (всегда в самый важный момент попадаются люди, которые не читали тебя. — В. П.). Я пыталась им объяснить, что уже договорилась с одним доктором и просила отвезти Сережу к

нему. Они все задавали и задавали мне какие-то вопросы, а Сережа все ждал, и никто не оказывал ему никакой медицинской помощи. В результате его посадили в специальное кресло и повезли, а я даже не знала, поедут ли они в обычную больницу или к моему врачу Я выбежала на улицу и увидела, что Сереже очень плохо. Меня к нему не пустили. Но я так рвалась, что одна девушка-полицейская разрешила мне поехать за ними в полицейской машине. Мы доехали до больницы, и я стала ждать».

Петр Вайль вспоминает, что он был последним, с кем Довлатов в ту ночь разговаривал по телефону. Его речь, всегда изысканная и чеканная, даже в запоях, тут вдруг стала сбиваться, путаться. И Петя Вайль, направляясь утром на радио, уже знал, что первая новость, которую он сообщит слушателям, будет такая: «Сегодня ночью умер писатель Сергей Довлатов».

И вот последние воспоминания Алевтины:

«Вышел врач — это был симпатичный человек, наверное, еврей по национальности. Он сказал, что, к сожалению, ничего не помогло. Наверное, он действительно пытался спасти Сережу, но было уже поздно. Он слишком долго ждал помощи, и врачи упустили момент. Если бы я снова встретила этих людей, которые с ним ехали, если бы я их узнала, мне кажется, я убила бы их. Где они сейчас? Лечат ли они или еще что-то делают? Я с самого начала увидела, что они не собираются помогать, а все только допытываются, почему Сережа, живущий в Квинсе, вызывают "скорую" в Бруклин. Я думаю, его могли бы спасти, и врач, который был с ним в эти спасительные минуты, мне сказал то же самое. Накануне с ним случился инфаркт. Оказывается, сильная боль в животе может быть связана с предынфарктным состоянием. После разговора с врачом я попросила полицейского, чтобы он позвонил моим детям. В больницу приехали моя дочь с мужем, кто-то из них позвонил Лене…»

…Вот одно из «завещаний» Довлатова — написанное им незадолго до смерти письмо Тамаре Зибуновой:

«Еще раз напоминаю, что в течение 90-го и, тем более, 91 года Юнна Мориц будет переводить тебе какие-то деньги, половину которых ты оставь себе, а вторую половину, если не трудно, раздели между Борей и Валерием (Грубиным).

Обнимаю Вас,

Сергей».

…Помню, как я ранним утром, вышел на коктебельский пляж, смотрел на тихое перламутровое море. Потом вдруг на пустынном пляже, в дальнем его конце, появился еще один человек… Я разглядел Сергея Чупринина… Он увидел меня и почему-то направился сюда, долго шел, гремя галькой — видимо,

хотел что-то сообщить.

— По «Свободе» сказали, что сегодня ночью умер Сергей Довлатов.

…Значит — не увиделись. А вот-вот должны были увидеться!.. В октябре, когда я все-таки оказался в Нью-Йорке, там все говорили про Довлатова. Жалели, рассказывали всяческие байки. Мол, даже официанты с него денег не брали — так все любили его! Говорили гордо: «С русских писателей денег не берем!»

Довлатов победил!

…Еще добавим «для оптимизма» — Довлатов, чуя безысходность, подготовился к финишу скрупулезно и тщательно, расписал подробно все дела, сложил окончательно все, что стоило издавать, написал, как издавать, и что нужно навсегда выбросить, чтобы не портить картину. И многие его «проекты» были воплощены после смерти, но в точности по его указаниям — рука его протянулась «за черту», он еще действовал, диктовал еще долго после своей кончины. Он успел расплатиться со многими своим долгами, особенно тщательно — с литературными, успел отблагодарить тех, кто сыграл решающую роль в его судьбе. Со своим литературным наставником Израилем Моисеевичем Меттером в конце своей жизни он вел самую активную переписку: первое его письмо Меггеру — 13 августа 1989 года, последнее — 8 июня 1990-го. «Отчитывается» он именно перед ним — и отдает свой главный «жизненный долг» именно ему. Более серьезных литературных фигур из тех, кому его исповедь важна и интересна, он не нашел — и написал Меттеру:

«Вы были из тех людей, в общем-то немногих, благодаря которым я почувствовал себя несколько увереннее, чего я по гроб жизни не забуду ни Вам, ни Виктору Семеновичу Бакинскому, ни покойному Г.С.Гору. Я рад, что мы с вами дожили до странных времен, и вы теперь можете напечатать свои лучшие вещи. Кое-что мы уже с восхищением прочли. И еще, тысячекратно я рассказывал знакомым американцам, что был лично знаком с единственным человеком, который открыто выразил свое сочувствие Михаилу Зощенко в чрезвычайно неподходящий для этого момент. Вы — один из немногих писателей, кто умудрялся зарабатывать литературой, будучи не только порядочным, но и смелым человеком.

Я персонально гением себя никогда не считал, но мне казалось, что я частица какого-то гениального подземного движения, представитель какой-то могучей в целом волны. еще бы — Вахтин, Марамзин, Володя Губин. И я где-то сбоку.

Буду направлять вам по книжке с каждым следующим гостем

(назревают Гордин и Валерий Попов).

Спасибо вам за добрые слова насчет “Филиала”. Повесть эта писалась для одной здешней газеты, на лавры рассчитана не была, тем более спасибо.

Фазиля Искандера я тоже очень люблю. Битова признаю, даже уважаю, конечно — Ерофеев (Венедикт), а из ленинградцев среднего возраста мы все тут любим Валерия Попова… из новых москвичей мне нравится Пьецух.

< … >

Живем, в основном, в семье. Кроме того, есть все же отношения с американцами (редакторы, агенты, переводчики, знакомые писатели). Это отношения без крика, без водки, но всегда пунктуальные, всегда доброжелательные, категорически исключающие вранье и предательство.

…Если вам попадется 4 номер октября, посмотрите там повесть “Иностранка” — наша жисть.

У меня совершенно разрушена печень, и два года назад я чуть не умер. Однако у меня вышла книжка в Германии, в мае она же выйдет по-английски. На очереди Польша, Венгрия, и английская (британская) версия.

Все 11 лет в Америке мне дико везло с литературой. Именно везло. Говорю без всякого кокетства: мне повезло в том смысле, что Бродский захотел мне помочь, а он человек совершенно непредсказуемый. Мне повезло с переводчиком, с агентом — у меня общий агент с Найполом, Беккетом, Салманом Рушди и Алленом Гинсбергом. Мои сочинения легко переводить. А между тем Зощенко, наш любимый писатель, до сих пор толком не переведен на английский, а у меня здесь вышло 12 книжек по-русски и 5 по-английски.

В результате двумя вещами я горжусь из того, что произошло со мной на Западе:

1 — тем, что мы в сорок лет родили сына.

2 — тем, что я на литературные заработки купил, представьте себе, дом в Катскильских горах: полгектара земли, и на ней «хижина дяди Тома». Вся эта история ввергла меня в долговую яму.

А мой Вам совет — напишите замечательную книгу о чувстве чести… Вы, наверное, единственный ныне здравствующий господин, у которого есть внутреннее право на такую книжку. Извините за непрошеные советы».

…Этот купленный им дом в Катскильских горах, которым он так гордился, как главным доказательством своего материального успеха, отчасти его и погубил. Лена и Катя как раз в дни его гибели находились там… а вдруг они смогли бы что-то изменить?

Впрочем, поздно гадать.

Владимир Уфлянд, старый его друг, пришел на могилу:

«Кладбище, на котором похоронен Сережа, можно увидеть из окна дома, в котором он жил. Его могила — самая прекрасная из всех, какие мне когда-либо приходилось видеть. На надгробной плите выгравирован его автопортрет — черная линия с усиками… Довлатов несомненно был человек невероятного обаяния, и талант его был так же широк и разнообразен, как и его натура. Конечно, грешно различать смерти, одну хулить, а другую славить, тем более пока сам через это не прошел, — но все же не могу не выговорить “грешную” фразу: смерть Довлатова была последним и самым грандиозным его “сочинением” — он не умер заурядно, “при нотариусе и враче” — он, в нашем сознании, погиб как богатырь, в отчаянной битве с самым страшным врагом человека — Зеленым Змием. И этим он еще умножил свою славу… как Пушкин, безрассудно идущий на дуэль — который смерти, конечно, тоже не хотел — но погиб героически, чем приумножил нашу к нему любовь».

Под конец этой главы — замечательное стихотворение Юнны Мориц, дружившей с Довлатовым и, как все мы, любившей его:

Огромный Сережа в панаме
Идет сквозь тропический зной.
Панама сверкает над нами
И машет своей белизной.

Он хочет холодного пива,
Коньяк тошнотворен в жару.
Он праздников хочет, прорыва
Сквозь пошлых кошмаров муру.

Долги ему жизнь отравляют,
И нету поместья в заклад.
И плохо себе представляют
Друзья его внутренний ад.

Качаются в ритме баллады
Улыбка его и судьба.
Панамкою цвета прохлады
Он пот утирает со лба.

И всяк его шутке смеется,
И женщины млеют при нем,
И сердце его разорвется,
Лишь в пятницу, в августе, днем.

А нынче суббота июля.
Он молод, красив, знаменит.
Нью-Йорк, как большая кастрюля.
Под крышкой панамы звенит.

Эпилог. После смерти начинается история

Слава пришла сразу — словно, как всегда по своей подлой привычке, только смерти и ждала. Первая большая книга Довлатова в России — «Заповедник» — была подписана в печать на пятый день после его смерти!

В те годы торговля книгами (как и другим товаром) шла вручную, с лотков — и вскоре уже не было книжного лотка без его книги. Помню, с какой завистью услышал я разговор двух книжных жучков: «Что, Серега еще остался у нас?» Даже фамилия не называлась — все ясно и так.

Вскоре Андрей Арьев, самый старый, надежный и. я бы сказал, самый полезный друг Довлатова, его «литературный секундант», тщательно подготовил и выпустил в издательстве «Лимбус-пресс» трехтомник Довлатова, самое, на мой взгляд, лучшее его издание — замечательно, дурашливо и точно, в довлатовском стиле, оформленное «митьком» Апександром Флоренским. Митьки — младшие довлатовские «братушки». Позже вышел четвертый том — «Малоизвестный Довлатов», его рассказы, статьи о литературе, письма, воспоминания довлатовских Друзей, кое-чем дополняющие «чеканный профиль».

Тираж трехтомника — уже невероятный для тех лет — 100 тысяч экземпляров! Я говорю «уже», потому что раньше, когда единая система распространения книг объединяла все города, такого тиража — и даже тиражей много больших, — достигали и некоторые из нас. Но как раз в девяностые Книготорг рухнул, и с той поры подобные тиражи — только у Довлатова. Он заменил собою всех нас.

Есть ощущение, что те 100 тысяч повторялись потом еще не раз — белые эти обложки с накаляканными Флоренским черными силуэтами попадаются мне едва ли не во всех домах. Однако Лена, вдова Довлатова, жалуется, что не получила и той малости, на которую рассчитывала. Книги Довлатова, в самых разных видах, все выходят и выходят. А Лена, насколько я знаю, живет все в той же квартире (не на вилле, как должно было быть при такой популярности Довлатова) и зарабатывает по-прежнему, нажимая на клавиши. Буквочка — цент.

О Довлатове написана уже масса исследований, в том числе и научных, и заканчивая книгу, я с ужасом думаю о том, какую длинную придется составлять библиографию. Но, нет, читал я не все… Вот пытаюсь хотя бы страницу прочесть в сверхсложном исследовании итальянской довлатоведши, вышедшем по-русски, где она настойчиво и очень сложно связывает Довлатова с

Пиранделло. Не могу никак уловить (уловил бы, интересно, Довлатов?) какая между ними связь? Видимо, самая простая: кандидатская ее диссертация была о Пиранделло, а докторская — о Довлатове. Сопротивляться этому он уже не может.

Все-таки Божья милость существует: дочки Довлатова, которые его почти и не видели или не видели вовсе, выросли красивыми и умными, и Довлатовым гордятся. Асина дочь Маша стала специалистом по рекламе в Голливуде, и говорят, за один сочиненный ею слоган зарабатывает больше, чем отец ее заработал за всю жизнь. Таллинская дочь Саша работает в Москве, в журнальном и издательском деле. Она первая (насколько я знаю), подарила Довлатову внука Мишу — которого он, увы, не увидел. Дочь Катя — та вообще стала ангелом-хранителем отца, занимается его делами очень активно, возглавляет Довлатовский фонд, вместе с мамой Леной организует конференции и переиздания. В 2003 году я видел их обеих в Москве, на презентации изданной их усилиями книги — «Речь без повода», сборник газетных статей и выступлений.

В 2004 году они опять пригласили меня в Москву, на празднование 60-летия Довлатова. Молодые артисты с упоением исполняли довлатовские вещи, среди них были такие знаменитости, как Цекало и Вырыпаев. Выступали многие знавшие Довлатова — даже «пылкий Шлипенбах»!

Но главное — довлатовщина жива, она с нами, и теперь уже не исчезнет никогда. Вспоминаю вечер памяти Довлатова в огромном белом зале (сами понимаете, заполненном до отказа) петербургского, тогда еще не сгоревшего. Дома писателей. В том самом зале, где в далеком 1968 году выступал юный Довлатов в замечательной компании, что привело к знаменитому скандалу. И вот — апофеоз, все чинно и серьезно. Выступали приехавшие из Америки Генис и Вайль, Скульская из Таллина, местные — Азадовский, Вольф, Лурье… Вел вечер, конечно же, Андрей Арьев. К микрофону мы все рвались страстно, нам хотелось сказать очень важное. Люди все были толковые, опытные, говорить умели с чувством, зал переживал. Но восторг пришел лишь тогда, когда микрофон взял самый старый довлатовский друг (и персонаж) Валерий Грубин. Он говорил страстно, горячо, долго… Но что интересно — в выступлении его нельзя было разобрать ни одного слова! Зал сначала вежливо терпел, потом пошли отдельные смешки — и вдохновленный этим Грубин говорил еще и еще! Хохот был уже всеобщим. Люди утирали глаза. Грубин вроде бы договорил все — но, видя столь бешеный успех своей речи, с веселым отчаянием махнул рукой: ладно уж, расскажу еще! От счастья все в зале падали со стульев. Довлатовщина жива и будет

с нами всегда.

А еще говорят, что советская власть погубила Довлатова! На самом деле — это он ее схоронил и поставил ей самый лучший памятник.

Последний раз я (как и многие другие) видел Лену и Катю на открытии мемориальной доски Довлатова на его доме на Рубинштейна. Вторая, кстати, уже мемориальная доска человеку из нашей компании — первым стал Иосиф Бродский… Доска была замечательная, с Сережиным автопортретом. Губернатор Валентина Матвиенко в своей речи сказала, что Довлатов сейчас самый читаемый русский писатель. Что абсолютно верно: многие в толпе были с довлатовскими книжками, и среди них, к счастью, — много молодых.

Основные даты жизни и творчества С.Д.Довлатова

1941 3 сентября — родился в эвакуации в Уфе в семье Доната Исааковича Мечика и Норы Сергеевны Довлатовой.

1944 — семья Довлатова вернулась в Ленинград и поселилась в коммунальной квартире на улице Рубинштейна.

1949— отец ушел к новой жене Людмиле, ставшей вскоре матерью сводной сестры Сергея Ксении (Ксаны).

1958 — окончив школу, Довлатов пытался поступить на факультет журналистики Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова. Потерпев неудачу, устроился работать в типографию.

1959 — поступил на филологический факультет ЛГУ.

1960 — женился на Асе Пекуровской.

1961 — отчислен из университета за неуспеваемость.

1962, июль — призван в армию и отправлен в систему охраны исправительно-трудовых лагерей в Коми АССР.

1965, весна — демобилизация.

Осень — поступление на факультет журналистики ЛГУ. Первые публикации в журнале «Костер». Знакомство со второй женой, Еленой.

1966, 6 июня — у Сергея и Елены родилась дочь Катя.

1969 — после развода с А. Пекуровской оформил брак с Еленой Довлатовой.

1970 — у Сергея и А. Пекуровской родилась дочь Маша.

1972, сентябрь — переезд в Таллин.

1973 — начало романа с журналисткой Тамарой Зибуновой.

А. Пекуровская с дочерью Машей эмигрирует в США.

1975, март — возвращается из Таллина в Ленинград.

8 сентября — у Довлатова и Тамары Зибуновой родилась дочь Александра.

1976–1977 — сезонная работа экскурсоводом в Пушкинских Горах.

1978, весна — в издательстве «Ардис» вышла первая книга Довлатова — «Невидимая книга».

Апрель — отъезд в США жены Довлатова Елены и дочери Кати.

18 июля — арестован милицией и посажен на 15 суток.

24 августа — улетает с матерью Норой Сергеевной в Вену.

1979, 22 февраля — отправляется из Вены в Нью-Йорк. 1979–1981 — работа в газете «Новый американец».

1981 — вышла книга «Компромисс».

1982 — вышла книга «Зона. Записки надзирателя».

1983 — вышла книга «Заповедник».

1984, 23 февраля — у Довлатова и его жены Елены родился сын Коля (Николас Доули).

1985 — вышла книга «Ремесло».

1986 — вышли повести «Чемодан» и «Иностранка».

1987 — вышла книга «Представление».

1990, весна — вышла первая книга Довлатова на родине — «Заповедник» (Ленинград, изд-во «Васильевский остров»).

24 августа — умер в машине «скорой помощи» по дороге в госпиталь.

26 августа — похоронен в Квинсе на кладбище «Маунт-Хеброн».

Краткая библиография

Генис А. Довлатов и окрестности (филологический роман). М., 1999.

Довлатов С.Д. Последняя книга. СПб., 2001.

Довлатов С.Д. Речь без повода, или Колонки редактора. М., 2006.

Довлатов С.Д. Сквозь джунгли безумной жизни. Письма к родным и друзьям. СПб., 2003.

Довлатов С.Д. Собрание сочинений: В 3 т. СПб., 1995.

Довлатов С.Д. Собрание сочинений: В 4 т. СПб., 2005.

Ковалова А., Лурье Л. Довлатов. СПб., 2009.

Малоизвестный Довлатов. Сборник. СПб., 1995.

О Довлатове. Статьи, рецензии, воспоминания. Тверь, 2001.

Пекуровская А. Когда случалось петь С.Д. и мне. СПб., 2001.

Рейн Е. Мне скучно без Довлатова. Новые сцены из жизни московской богемы. СПб., 1997.

Сальмон П. Механизмы юмора. О творчестве Сергея Довлатова. М., 2008.

Сергей Довлатов — Игорь Ефимов (эпистолярный роман). М., 2001.

Сергей Довлатов: творчество, личность, судьба / Сост. А. Ю. Арьев. СПб., 1999.

Скульская Е. Перекрестная рифма (письма Сергея Довлатова) // Звезда. 1994. № 3.

Соловьев В., Клепикова Е. Довлатов вверх ногами. М., 2001.

Сухих И. Сергей Довлатов: время, место, судьба. СПб., 1996.

Штерн Л. Довлатов, добрый мой приятель. СПб., 2005.